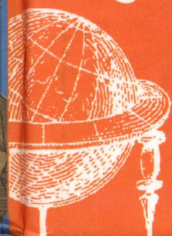


ДЖУЛИЯ  
ЛОВЕЛЛ  
ВЕЛИКАЯ  
КИТАЙСКАЯ  
СТЕНА



*Историческая библиотека*



ДЖУЛИЯ  
ЛОВЕЛЛ

ВЕЛИКАЯ  
КИТАЙСКАЯ  
СТЕНА





ДЖУЛИЯ  
ЛОВЕЛЛ





ДЖУЛИЯ  
ЛОВЕЛЛ

ВЕЛИКАЯ  
КИТАЙСКАЯ  
СТЕНА

  
ИЗДАТЕЛЬСТВО  
МОСКВА

УДК 94(510)  
ББК 63.3(5Кит)  
Л68



Julia Lovell  
THE GREAT WALL

*Перевод с английского А. Юрьева*

*Серийное оформление С. Власова*

*Компьютерный дизайн М. Хафизова*

Печатается с разрешения издательства Atlantic Books UK  
и литературного агентства Synopsis.

**Ловелл, Дж.**

Л68 Великая Китайская стена / Джулия Ловелл; пер. с англ. А. Юрьева. — М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2008. — 442, [4] с.: 12 л. ил.

ISBN 978-5-17-049408-8 (ООО «Изд-во АСТ»)(С.: Ист.библ.(новая))

ISBN 978-5-9713-9131-9 (ООО Изд-во «АСТ МОСКВА»)

ISBN 978-5-17-054851-4 (ООО «Изд-во АСТ»)(С.: Ист.библ.(84))

ISBN 978-5-9713-9132-6 (ООО Изд-во «АСТ МОСКВА»)

Великая Китайская стена...

Согласно легендам, она была построена 2200 лет назад.

За нею веками скрывалась от европейцев Поднебесная Империя — таинственная, древняя страна высочайшей культуры и огромной мощи, считавшая себя единственным оплотом истинной цивилизации.

Что же это — древний и средневековый Китай?

Родина высокой литературы и живописи, прекрасной музыки и несравненных боевых искусств?

Страна безжалостных тиранов, самую печальную славу среди которых снискал гениальный и чудовищно жестокий император Цинь Ши-хуанди?

Почему периоды бурного расцвета Китая снова и снова перемежались периодами голода и бед, иноземных нашествий, кровавых мятежей и гражданских войн?

Каковы уроки пестрой и неоднозначной истории Поднебесной?

И усвоил ли Китай эти уроки прошлого?..

УДК 94(510)  
ББК 63.3(5Кит)

© Julia Lovell, 2006

© ООО Издательство «АСТ МОСКВА», 2008



*Посвящается моим родителям*





## Выражение признательности

Величайшую благодарность необходимо выразить редакторской команде «Атлантик букс», и прежде всего Тоби Мунди и Ангусу Маккиннону за идею данной книги и терпеливую поддержку в процессе ее написания; затем опять же Ангусу за его безжалостную, скрупулезную редакцию рукописи. Я также очень благодарна Кларе Фармер и Бонни Чианг за умелое руководство процессом производства и за участие и внимание, вложенные ими в эту книгу; и Лесли Левен, в высшей степени зоркому литературному редактору. Я глубоко благодарна также моим агентам, Тоби Иди и Джессике Вуллард, за постоянную помощь и поддержку.

В ключевые моменты меня щедро консультировали ученые и преподаватели, и прежде всего Салли Черч, указавшая мне на упущения по китайской старине, предложившая карты и источники и написавшая фантастически детализированные и конструктивные критические замечания по законченной рукописи, избавив ее, таким образом, от многочисленных ошибок. Франс Вуд также поразительно педантично и внимательно вычитала книгу, за что я ей очень признательна. Джо Макдермот, Рель Стеркс и Ганс ван де Вен терпеливо отбивали потоки моих вопросов по фактуре и источникам, а Чарлз Эйлмер, выдающийся работник Китай-

ского отдела Библиотеки Кембриджского университета, неизменно поражал меня своими энциклопедическими знаниями по библиографии любой интересовавшей меня эпохе китайской истории. Рут Скарр и Хана Доусон оказали мне неоценимую помощь и поддержку по эпохе Просвещения. Большое спасибо также Чи Лай Тан за помощь в поэтических переводах. Все оставшиеся ошибки и недочеты, естественно, на моей совести.

Книга была написана во время проведения исследовательских работ в Куинс-колледже, Кембридж. В течение более двух с половиной лет я с пользой вдыхала спокойную, способствующую исследовательской работе атмосферу этого колледжа.

Но самый большой долг, без всякого сомнения, у меня остается перед семьей: мужем, Робертом Макфарлэйном, за его скрупулезное вычитывание и бесконечное терпение в вылавливании синтаксических погрешностей и неправильного использования метафор (все, что осталось в тексте, исключительно моя вина), и мамой, Телмой Ловелл, за ее усердное редактирование рукописи. И мои родители, и родители мужа великодушно тратили свое время на уход за детьми, чтобы дать мне возможность писать. А если говорить шире, мой труд никогда не был бы закончен без постоянной поддержки и ободрения — варианты которых слишком многочисленны, чтобы их перечислять, — со стороны моих мужа, родителей, брата, сестры и родителей мужа. Я так благодарна им, что едва ли смогу выразить свою благодарность словами.

*Дж. Л.*



## Примечание о латинской записи и фонетической транскрипции

По всему тексту для латинской записи я использовала систему пинъин за исключением написания некоторых имен, более известных за пределами Китая в другом виде, — например Чан Кайши (на пинъине Цзян Цзешу).

В системе пинъин транслитерация звуков китайского языка в основном соответствует английской, но есть и исключения.

### Гласные буквы и звуки:

*a* (когда она одиночная и следует за большинством одиночных согласных, за исключением *t*): *a* как в *after*; рус. *a*

*ai*: *eye*; рус. *ай*

*ao*: *ow* как в *sow*; рус. *ао*

*e*: *uh*; рус. *э*

*ei*: *ay* как в *may*; рус. *эй*

*en*: *en* как в *harpen*; рус. *энь*

*eng*: *ung* как в *lung*; рус. *эн*

*i* (когда она одиночная и следует за большинством одиночных согласных): *e* как в *she*; рус. *и*

*i* (когда она одиночная и следует за *c, ch, s, sh, zh, z*): *er* как в *writer*; рус. *ы*

ia: *yah*; рус. я  
ian: *yen*; рус. янь  
ie: *yeah*; рус. е  
iu: *yo* как в *yo-yo*; рус. ю  
o: о как в *stork*; рус. о  
ong: *oong*; рус. ун  
ou: о как в *so*; рус. оу  
и (когда она одиночная и следует за большинством одиночных согласных): *oo* как в *loot*; рус. — у  
и (когда она следует за j, q, x, y): *ü* как в нем. *ü*; рус. юй  
ua: *wah*; рус. уа  
uai: *why*; рус. уай  
uan: *wu-an*; рус. уань  
uang: *wu-ang*; рус. уан  
ui: *way*; рус. уй  
uo: *u-woah*; рус. уо  
uan: *yen*; рус. янь  
yi: *ee* как в *feed*; рус. и

### Согласные буквы

c: *ts* как в *bits*; рус. ц  
g: *g* как в *give*; рус. г  
q: чуть более придыхательный вариант *ch* как в *choose*;  
рус. ч  
x: чуть более свистящий вариант *sh* как в *sheep*; рус. с  
z: *ds* как в *woods*; рус. цз  
zh: *j* как в *jump*; рус. чж

## Примечание об именах

Обычно китайские императоры в течение одной жизни и после нее имели по крайней мере три имени: имя, данное при рождении; имя, по которому обозначался период их правления, когда они восходили на престол; и посмертное, храмовое, имя. Так, прежде чем стать императором, основатель династии Мин носил имя Чжу Юаньчжан. Период его правления известен как Хуньу («подавляющая военная сила»), а после смерти он получил имя Тайцзу («великий предок»).

В целом же китайские имена непросто запомнить, и чтобы не путать читателя, я постаралась сократить количество имен, используемых для обозначения одного лица. Там, где персонаж упоминается после восхождения на трон, я использую имя, под которым он известен как император, например император У («воинственный» император) государства Хань. В главах, посвященных династиям Суй, Тан и Мин, когда ряд правителей упоминаются до получения статуса императора, я сначала использую их личные имена, потом перехожу к именам, под которыми они или периоды их правления известны как императоры.

В главах по династии Мин при упоминании конкретного императора ради простоты я называю его прямо по пери-

оду его правления. Например, Чжу Юаньчжана после провозглашения императором по всем правилам следовало бы называть «император Хунъю», а не просто «Хунъю». В большинстве случаев я сократила его имя до «Хунъю», во избежание употребления более длинного и более громоздкого имени.

При упоминании трех наиболее известных императоров династии Цин я, опять же из соображений простоты, прямо называю их так, как они наиболее известны в западной науке, хоть имена их являются девизами правлений, а не личными именами: Канси, Юнчжэн и Цяньлун.

Наконец, в китайских именах сначала идет фамилия, затем уже имя. Так, в случае Чжу Юаньчжана Чжу является фамилией, а Юаньчжан — именем.

Хотя Chinggis (Чингис) считается более правильной латинской транскрипцией, чем Genghis Khan (Чингисхан), здесь я использовала второй вариант, ведь именно под этим именем он известен наиболее широко.



## Встреление

### *Кто сотворил Великую Китайскую стену?*

26 сентября 1792 года король Георг III отправил в Китай первую британскую торговую миссию. Она состояла из семисот человек и включала дипломатов, предпринимателей, военных, ученых, художников, часовых дел мастера, садовника, пятерых немецких музыкантов, двух китайских монахов из Неаполя и пилота воздушного шара. Разместившись на трех крупных кораблях, они прихватили с собой наиболее впечатляющие плоды научного прогресса на Западе — подзорные трубы, часы, барометры, пневматические ружья и, естественно, воздушный шар. Все эти вещи должны были поразить воображение китайского императора Цяньлуна и заинтересовать его в торговле с Западом, убедив, что он сам и триста тринадцать миллионов его подданных очень нуждаются в британских технических диковинках.

В течение последних десяти лет Британия имела значительный торговый дефицит с Китаем. В то время как китайцев вполне устраивало обслуживание растущего пристрастия Британии к чаю, они не хотели взамен ничего, кроме солидных объемов серебра. Горстка британских торговцев — со-

трудников Ост-Индской компании, — получивших разрешение работать в Китае, была заперта в городе Кантон, подале от политической столицы, Пекина. Там их жизнь ограничивалась кишевшими крысами складами и жилищами. Им запрещалось контактировать с китайцами и вести дела на родном языке, их принуждали торговать через посредничество местных чиновников, развлекавшихся взиманием со своих гостей огромных таможенных пошлин. Каждая ступенька в экономической иерархии Китая, казалось, существовала для надувательства иностранцев — от главы морской таможни провинции до местного лавочника, спаивавшего иностранных моряков смертельно крепким спиртным, как отмечалось в «Дневнике лорда Макартни во время его посольства к императору Цяньлуну в 1793—1794 гг.», чтобы «выкачать из них все наличные деньги». В условиях, когда доходы Ост-Индской компании в Китае не могли покрыть расходы на управление Индией, а британские любители чая загоняли торговые показатели в зону дефицита платежного баланса, Азия быстро превращалась в место для отмыывания британских денег.

Именно при данных потенциально разрушительных обстоятельствах Генри Дандэс, министр внутренних дел и бывший президент Ост-Индской компании, обратился к лорду Макартни, опытному и хитрому дипломату, с просьбой возглавить посольство в Китай. Макартни выставил условия, при которых он согласится с предложением: пятнадцать тысяч фунтов за каждый год, проведенный за пределами Британии, и титул графа. В обмен, указал Дандэс, Макартни будет проповедовать принципы свободной торговли, открывать новые порты и рынки для Британии в Китае, создаст постоянное посольство в Пекине и займется промышленным и военным шпионажем. Сделка состоялась.

В июне 1793 года, после девяти проведенных в море месяцев и остановок в Рио-де-Жанейро и на Мадейре для пополнения корабельных винных запасов, британская миссия

достигла острова Макао, португальского анклава у южного берега Китая, где из-за тропической влажности все здания покрылись зеленой плесенью. Следующие четыре месяца британцы и их громадный груз ползли вдоль побережья для встречи с императором в его северной столице, Пекине. За ними неотступно наблюдало бдительное имперское чиновничество, проявляя чудеса гостеприимства — всего на один день британцам выдавалось двести штук разной домашней птицы — и при этом умудряясь избегать содействия посольству в любых существенных для него вопросах. Когда в конце концов паломничество в Пекин завершилось, британцам объявили — император сможет принять их лишь еще севернее, в своей летней резиденции — прохладном горном Джебеле.

Когда, почти через год после отплытия из Портсмута, британцы в сопровождении оркестра, наряженного во взятые напрокат зеленые с золотом шутовские костюмы — ими прежде, по крайней мере однажды, воспользовалось французское посольство, — предстали наконец перед небесным императором по случаю высочайшего дня рождения и вручили украшенную драгоценными камнями шкатулку с письменными предложениями Георга III, тот принял их довольно сдержанно. Возможно, император прочел чересчур много невероятных сплетен о британских подарках в китайской прессе, заявлявшей, что британцы привезли карликов ростом в фут и слона размером с кошку, и его не очень впечатлили представленные в действительности подзорные трубы, планетарии и экипажи. Подарки, собранные Динуидди, астрономом посольства, в летнем дворце в Пекине, по оценке Цяньлуна, можно было использовать лишь в качестве детской забавы. Единственной реакцией, которую вызвала линза Паркера, стал взрыв веселья, когда некий игривый евнух получил ожог, засунув под нее палец. Экипаж на пружинных рессорах, привезенный британцами в надежде открыть дверь для экспорта, немедленно сочли неприемлемым для

использования императором: Цяньлун «не потерпит, чтобы кто-то сидел выше его, да к тому же повернувшись к нему спиной».

Цяньлун дал официальный ответ на британские предложения в специальном эдикте, который вручили Макартни 3 октября, хотя составлен он был еще 30 июля, более чем за шесть недель до встречи британцев с императором и вручения ему подарков. Другими словами, приговор миссии вынесли задолго до того, как она добралась до цели путешествия. Цяньлун ясно дал британцам понять, что «никогда не ценил хитроумных изобретений и не имеет ни малейшей заинтересованности в продукции вашей страны». Его слова оказались правдивыми: семьдесятю годами позже, когда британские и французские солдаты разрушили Летний императорский дворец в пригороде Пекина, подарки Макартни были обнаружены нетронутыми и сваленными в конюшню. Похоже, именно члены посольства по большей части пользовались своими техническими диковинками во время пребывания в Китае: Макартни путешествовал в Джехол в британском экипаже, а Динуидди испытывал подзорную трубу на дальность и четкость изображения, наводя ее на прогулочные лодки и едва прикрытые прелести певичек в Сучжоу, городе каналов на восточном побережье Китая.

Бедные британцы! Рассчитывая войти в доверие к китайцам, они терпели многое: мучительные часы в китайском театре, насмешки во время публичных банкетов из-за неумения пользоваться палочками для еды, — и все же посольство провалилось по каждой из намеченных целей. Серьезной преградой стал язык. После того как китайские монахи из Неаполя, изначально взятые в качестве переводчиков, испугавшись кары со стороны императорского двора за самовольное оставление Китая, сбежали с корабля в Макао, единственным из сопровождающих лиц, кто хоть немного мог объясняться на китайском языке — почерпнутом у сбежавших монахов, — был двенадцатилетний Томас Стаунтон, сын



заместителя Макартни, Джорджа Стаунтона. Создавшееся положение поставило посольство фактически в полную зависимость от переводческих усилий португальских и французских миссионеров, подвизавшихся при китайском дворе, которых Макартни сначала нашел «неискренними и лукавыми», а затем «неумными интриганами». Солидный список подарков, предложенных императору, благодаря их усилиям превратился в тарабарщину. Например, термин «планетарий» был просто-напросто транскрибирован фонетически, затем пояснен императору на цветистом классическом китайском языке как «географические и астрономические музыкальные часы».

Но главным камнем преткновения стал дипломатический этикет. Китай в период поздней Цин закоסнел в традиционном китайском видении международных отношений, в соответствии с которым все иностранцы являлись отсталыми варварами, не способными ничего или почти ничего предложить китайской цивилизации, а посему правильным поведением их при императорском дворе может быть лишь почтительное подчинение.

В соответствии с идеалистическими китайскими дипломатическими договорами, насчитывающими более полутора тысяч лет, иностранцам (по крайней мере теоретически) разрешалось посещать Китай только в качестве ничтожных вассалов, несущих дань, а не политически равноправных субъектов и уж точно не представителей «самой могущественной державы на земном шаре», какими Макартни и британцы самонадеянно видели себя. Вместо министерства иностранных дел Цинский Китай имел департамент приемов (даней), руководствовавшийся сложным перечнем положений, регулировавших частоту, продолжительность, глубину и число поклонов, которые требовались от посланников с данью. Китайцы и британцы так и не смогли договориться об условиях торговли, так как не сумели договориться даже об условиях взаимного существования. Назвать китайско-

британскую коллизию 1793 года столкновением цивилизаций трудно: ни у одной из сторон не нашлось общих дипломатических оснований даже для того, чтобы хотя бы почувствовать запах конфликтной ситуации.

Будучи прагматичным дипломатом, но оставаясь еще и гордым британцем, Макартни потратил многие недели на пререкания по вопросам дипломатического протокола. Особые споры вызывал его отказ выполнять коутоу, обязательное изъявление почтения императору: тоекратное преклонение коленей, каждое из которых включало в себя тройной поклон с касанием головой земли. Макартни выразил готовность приподнять шляпу, опуститься на одно колено и даже поцеловать императору руку (испуганные китайские чиновники быстро дали понять — о третьем варианте не может быть и речи), но отказывался исполнять коутоу, если только какой-нибудь китайский чиновник, равный ему по рангу, встанет на колени перед портретом Георга III. Последнее предложение являлось даже более неприемлемым, чем целование руки: подданные Цяньлуна, правителя «всей Поднебесной» (тянься, традиционный китайский термин для обозначения Китая), не могли принять равной власти другого суверена. Идея о том, что Китай — центр цивилизованного мира, к которому все остальные обязаны питать вассальную преданность, наиболее прочной нитью проходит через всю историю Китая. Даже сегодня, через сто шестьдесят лет после того, как «опиумные войны» положили начало процессу принуждения Китая к отказу от даннической системы и присоединению к современной международной торговле и дипломатии, отдельные китайские историки все еще не могут поверить, что Макартни так и не исполнил перед императором коутоу.

Китайцы начали давить на Макартни, вынуждая его согласиться на поклоны, в августе, за шесть полных недель до встречи британцев с Цяньлуном, и постепенно усиливали давление.

Стратегия уговоров, задействованная китайцами, включала в себя различные средства — от искусных иносказаний до прямого воздействия на желудок. В середине августа чиновники заметили послу, что китайская одежда лучше европейской «в том смысле, что та стесняет и мешают... коленам и поклонам... Поэтому они предвидели для нас большие неудобства от наших пряжек на коленях и подвязок и намекали нам, что для нас было бы лучше освободиться от них перед тем, как отправиться ко двору». К началу сентября, не видя перемен в непримиримой позиции британцев, император лично приказал урезать британцам рацион питания, стремясь «убедить» их согласиться с имперским ритуалом. Когда Макартни и мандарины не спорили по главной теме: должны ли британцы исполнять перед императором коутоу, — они непрерывно пикировались по вопросу, как рассматривать подношения Цяньлуна — как «подарки» или как «дань». Макартни настаивал — это подарки от посла дипломатически равного субъекта. Не менее твердо Цяньлун стоял на том, что Макартни всего лишь подчиненное «лицо, назначенное для передачи дани».

Но даже если бы британцы уступили требованиям китайского протокола, далеко не ясно, смогли бы они получить от Цяньлуна нечто большее, чем им удалось (а именно: несколько кусков нефрита необычной формы, ящики с фарфором и отрезки материи, частью оказавшиеся ранее уже использованными предметами из подношений корейских, мусульманских и бирманских вассалов). Два года спустя Китай посетил намного более сговорчивое голландское посольство. Его члены исполнили коутоу сразу же, словно по сигналу шляпой или, скорее, париком (голландский посол Ван Браам вызвал у китайцев взрыв смеха, когда у него свалился парик во время исполнения коутоу перед императором на обочине обледеневшей дороги). И хотя вызывающе непоколебимые британцы, по словам ревизора миссии Джона Барроу, получили в Пекине пристанище, «больше под-

ходившее для свиней, чем для человеческих существ», податливых голландцев разместили ничуть не лучше: их поселили в конюшне вместе с упряжными лошадьми. Да, действительно британскому посольству урезали рацион, когда споры о коутоу накалились до предела, но по крайней мере их никогда не оскорбляли, давая мясо на уже явно обглоданных костях, как то случалось с голландцами. Видимо, им доставались объедки с императорского стола. Голландцы исполняли коутоу в тридцати отдельных случаях, часто во внеурочное время и при низких температурах, и при этом, злорадно отмечал Барроу, «не получили... ничего примечательного», за исключением нескольких кошечков, плохонького шелка и грубой материи, напоминающей ту, что известна морякам под названием «флагдук». Хуже всего то, что скучавшие китайские чиновники, похоже, цинично пользовались готовностью голландцев исполнять коутоу всему связанному с императором, заставляя визитеров кланяться в обмен на несколько печений, горсть изюма или объединенную баранью ногу, объявляя их дарами, присланными лично императором.

После столь очевидного дипломатического провала несколько не удивительно, что в воспоминаниях о поездке члены британского посольства не особенно лестно отзываются о Китае. В «Путешествиях по Китаю», написанных Барроу — впоследствии основателем Королевского географического общества, — звучит типично капризный тон британца, недовольного заграницей. Китайские постановки «затянуты и вульгарны», китайская музыка — «соединение резких звуков», китайская акробатика разочаровывает. «Какой-то мальчишка влезает на шест или ствол бамбука в тридцать или сорок футов высотой, исполняет несколько скачков и балансирует на верхушке в нескольких позах, — передает он комментарий скряги Макартни, — но его выступление не идет ни в какое сравнение с похожими штучками, которые я часто наблюдал в Индии». А что касается санитарных удобств, то

«во всем Китае нет ни одного ватерклозета, а также ни одного приличного места для уединения». Единодушное одобрение британцев вызвала лишь Великая стена.

Макартни и сопровождавшие его лица воспользовались долгим пребыванием в Китае для путешествий по стране. Отправившись в своем опрятном английском экипаже на встречу с императором в Джехол, Макартни останавливался у прохода Губэйкоу, находящегося к северо-востоку от Пекина, с целью поближе взглянуть на стену. Эта местность с Великой стеной настолько живописна, что даже высокомерные британцы заполняют свои дневники прилагательными превосходной степени: стены и башни извиваются по хребтам покрытых облаками гор, заросших зелеными кустарниками летом (как увидел Макартни) и запорошенных снегом зимой. Подъехав к пролому в сооружении, Макартни отметил: оно построено из «голубоватого по цвету кирпича», двадцати шести футов в высоту, примерно пяти футов в ширину, и укреплено квадратными башнями, стоящими с интервалами от ста пятидесяти до двухсот футов. В целом он полностью исписал две страницы своего дневника (как он выглядит сегодня в современном опубликованном варианте), тщательно отмечая глубину закладки фундамента стены, просчитывая количество рядов кирпича, толщину слоя раствора и т.д. «Она продолжает идти зигзагами, часто по самым крутым, высоким и скалистым горам, как я то наблюдал в ряде мест, а в длину достигает тысячи пятисот миль». Пораженный увиденным, Макартни объявил все это «самым удивительным творением рук человеческих». Его спутник, Барроу, которому явно практически нечем было заняться, упражнял свой мозг умозрительными и непроверенными сравнениями, стремясь подчеркнуть грандиозность сооружения. Количество камня в стене, утверждал Барроу, эквивалентно ушедшему на «все жилые постройки в Англии и Шотландии»:

«В эти расчеты не включены массивные выступающие башни из камня и кирпича. Они одни — если предположить, что они продолжатся по всей длине на расстоянии выстрела из лука друг от друга — должны содержать столько же каменной и кирпичной кладки, как весь Лондон. Чтобы помочь по-другому осознать массу вещества в столь удивительном продукте, можно заметить — его более чем достаточно, чтобы обстроить линию, образованную двумя обращениями земли, двумя стенами, каждая из которых составит шесть футов высотой и два фута толщиной!»

Другой член свиты, лейтенант Генри Уильям Пэриш, занимал себя рисованием столь же странных, сколь и романтических изображений стены, лежащей до самого горизонта на пышных холмах гирляндами, которые прерываются живописными руинами башен, — их каменные грани выглядят надлежаше ветхими. Все британские туристы без малейшего колебания единодушно оценивали возраст виденной ими стены в две тысячи лет. Обращая внимание на наличие в ней небольших бойниц, явно предназначенных для установки на стене огнестрельного оружия, они дивились тому, как рано китайцы начали использовать порох, «так как все их письменные источники сходятся в том, что данная стена построена более чем за два столетия до Рождества Христова». «В давние времена, когда она строилась, — в заключение пустился в размышления Макартни, — Китай, видимо, был не только очень могущественной империей, но и очень мудрым и эффективным государством или по крайней мере обладал достаточным предвидением и заботой о грядущих поколениях, так как создал в одночасье то, что тогда считалось гарантией постоянной безопасности для них от будущего вторжения...»

Визит Макартни стал исключительно важным эпизодом в современной истории и Китая, и Великой стены. Его впечатления и влияние помогли сложить то мнение о стене, ко-

торое по-прежнему, несмотря на свою ошибочность, широко распространено и сегодня. Макартни столкнулся и познакомился с двумя Великими стенами: физической — из кирпича и раствора — версией, известной теперь миллионам благодарных туристов, которая была построена в XVI—XVII веках, и психологической стеной, которую китайское государство возвело вокруг себя, не желая допустить иностранного влияния и рассчитывая контролировать находящийся внутри китайский народ. Его восхищение физической Китайской стеной вместе с разочарованием в психологической стене станут в девятнадцатом столетии типичными для западных политиков, торговцев и искателей приключений, стремившихся иметь дело с Китаем. Макартни и его спутники помогли начать возведение Великой Китайской стены в том виде, в каком мы сегодня ее видим.

Поскольку, пренебрежительное отношение китайской империи к идее торговли с Западом за полвека после визита Макартни в своем звучании практически не претерпело изменений, возмущение Запада невидимой стеной выплеснулось в дипломатию канонерок: «опиумные войны» 1840—1842 годов. К 1800 году британцы решили, будто открыли отличный способ справиться со своим дефицитом в чайной торговле и идеальный продукт, который поможет Китаю найти применение всему своему британскому серебру: индийский опиум. Китайское же правительство решило по-другому, запретив опиум в 1829 году, а когда контрабанда зелья стала усиливаться, направило в Кантон своего уполномоченного, Линь Цзэсюя, чтобы положить конец нелегальной торговле. Поскольку ни китайские, ни британские торговцы не обратили никакого внимания на его приказ уничтожить склады опиума, он начал действовать сам и спустил в море годовой запас опиума. Британцы ответили обстрелом Кантона. Тогда была объявлена война. Через сорок семь лет после неудачной попытки Макартни сэра Томаса Стаунтона, сын его заместителя — в 1793 году двенадцати-

летний мальчик, чьи способности в китайском языке настолько умилили императора, что он лично подарил ему желтый шелковый кошелек со своего пояса, а 1840 году член парламента от Портсмута, — взял слово в парламенте и высказался за то, чтобы силой вскрыть ворота Китая для торговли. «Опиумная война, — говорил он, — абсолютно оправданна, а в существующих условиях и необходима».

Китайский император из-за своей надменности не стал активно готовиться к войне, твердо веря: если европейцев «лишить китайского чая и ревеня на несколько дней, то у них случится запор и потеря зрения, которые поставят под угрозу их жизни». Однако, хотя война на три года прервала чайную торговлю, британцы остались в достаточно добром здравии, чтобы бомбардировками вынудить южный Китай к уступкам и выторговать у китайцев двадцать семь миллионов серебряных долларов и Гонконг. «Опиумная война» стала прелюдией к продолжившимся в девятнадцатом столетии актам агрессии против Китая во имя свободной торговли и открытости: разграбление Пекина французскими и английскими солдатами, аннексия северных районов Китая русскими, прирезка к Гонконгу новых территорий.

Британская дипломатия канонерок вскрыла невидимую Китайскую стену для непрерывного потока визитеров; те, в свою очередь, породили целый поток отчетов о путешествиях с наивно-романтическими гимнами физической стене. К началу следующего века западные эксперты окончательно нарекли стену Великой. Они называли ее «самым удивительным чудом света», возведенным (экстраполируя отрывочные упоминания в китайской истории II века до н.э.) примерно в 210 году до н.э. Ши-хуанди Китая, защитившим Китай от гуннов и повернувшим их на разграбление Рима. Западный восторг сделал ненужной проверку исторических фактов о стене: достаточно было просто допустить, как сделали Макартни и его спутники, что стена в ее современном виде построена тысячи лет назад и является символом ци-



визованности, мощи и раннего технологического развития Китая, что она чрезвычайно эффективна в отражении внешних врагов, что ее единообразная кирпично-растворная конструкция на протяжении тысяч километров устанавливала северную границу Китая и т.д. и т.п. В то же время невидимую Великую стену, окружавшую китайцев и призванную отгораживать их от Макартни с его барометрами, назвали причиной изоляционистского застоя империи, символом отсутствия интереса у деспотичного, запертого на суше Китая к морской торговле и завоеваниям, неспособности идти в ногу с историческим прогрессом, как его понимали западные колониальные державы. В период между восемнадцатым и двадцатым столетиями колоссальная физическая реальность стены соединилась с ее мощной наглядной символичностью, превратив Великую стену в западном представлении в целостный типический образ Китая.

Мифотворчество о Великой стене продолжало развиваться в еще более экстравагантных формах и в XX веке. В 1932 году, за несколько десятилетий до наступления эры освоения космоса, миллионер-карикатурист, писатель и синофил Роберт Рипли пустил в широкий оборот утверждение — впервые умозрительно выдвинутое в 1893 году, — что стена является единственным творением рук человеческих, видимым с Луны. И хотя данное предположение подтвердил Нил Армстронг, позже в журнале «Джиографик мэгэзин» было показано: наблюдавшаяся им картинка — лишь скопление облаков. Тем не менее это мнение дожило до XXI века, его бесконечно цитируют китайские патриоты, жадные до изюминки журналисты, путеводители и авторы школьных учебников. Джозеф Нидэм в своем монументальном труде по истории науки и инженерного искусства Китая «Наука и цивилизация в Китае» (начата в 1950-х годах) солидно двинул всю идею вперед, когда отметил: стена «считается единственным творением человека, которое могло быть замечено марсианскими астрономами», какими бы они ни были.

Новый толчок пропаганде Великой стены дал в 1935 году Мао Цзэдун, бросивший клич своим коммунистам-революционерам (в то время загнанным правым правительством в изолированный от остального мира уголок северо-западного Китая): «Вы не настоящие мужчины, если не всходили на Великую стену», — который теперь можно увидеть на футболках, шляпах от солнца и других сувенирных безделицах, продаваемых на туристских пятачках у стены. Потрясающие и зачастую недоступные для проверки статистические данные на каждом повороте изумляют сегодня тех, кто приехал посмотреть на стену и погулять по ней: что она тянется на шесть тысяч километров, что сохранившиеся на сегодня участки стены могли бы соединить Нью-Йорк и Лос-Анджелес, что кирпичами, использованными для ее постройки, без труда можно опоясать земной шар, если из них сложить стену высотой в пять метров и толщиной в метр, — и пошло-поехало. В 1972 году, во время экскурсии на стену в ходе носившей прорывной характер миссии в Китайскую Народную Республику, Ричард Никсон провозгласил (для западной аудитории, пребывавшей в восторге от зрелища, как непреклонный антикоммунист, президент Америки братается с лидерами за «бамбуковым занавесом»): «Это великая стена, и построить ее должен был великий народ». Не удовлетворившись этим, коммунистические журналисты от себя впоследствии дополнили его восторженное высказывание: «Это Великая стена, и только великий народ с великим прошлым мог иметь великую стену, а такой великий народ с такой великой стеной обязательно будет иметь великое будущее». В период расцвета туризма на стену после смерти Мао за Никсоном последовали миллионы людей, тоже единодушно усматривая величие в небывалом китайском архитектурном аттракционе (фактически единственными иностранцами в современной истории, которых не покорили чары стены, стали члены футбольной команды «Уэст Бромвич Альбион». Эта команда представляла первый англий-

ский профессиональный клуб, посетивший Китай в 1978 году после его открытия для Запада. Они отклонили предложение об экскурсионной поездке на север: «Увидев одну стену, — объяснили они, — вы увидели их все»).

Столетиями впечатлительные визитеры с Запада настолько увлекались восхождением на стену, изумленно подсчитывая, какое количество собственных столичных городов они могли бы построить из нее, или споря о том, видят ли ее инопланетяне, что не задумались об одном несоответствии: вплоть до последних десятилетий самих китайцев по большей части не интересовало их великое творение. Макартни мимоходом отметил, что, когда он с сопровождавшими его лицами усердно считал кирпичи в стене, их гиды-мандарины «выглядели довольно раздосадованными и раздраженными продолжительностью нашей остановки. Их поражало наше любопытство... Ван и Чжоу, хоть они и проходили мимо раз двадцать, лишь один раз посещали ее, и мало кто из присутствовавших мандаринов вообще бывал на ней».

Безразличие китайцев стало трансформироваться во все более живой интерес лишь примерно семьдесят лет назад и в жестко прикладных целях удовлетворения ясно осознанных потребностей современного Китая: запастись символом прошлого исторического величия Китая, чтобы пронести восприятие национальной самооценки через лишения двадцатого столетия, через его неудачные революции, гражданские войны, иностранные вторжения, голод и удручающе повсеместную нищету. Получив сигнал — главным образом от западных почитателей стены, — современное китайское отношение к Великой стене стало основываться на сходном, восторженно-беззаботном, подходе к исторической точности. Китайцы нового и новейшего времени, пережив в прошедшие столетия частые угрозы внутренних политических потрясений и иностранной агрессии, легкомысленно ухватились за убедительный в своей наглядности символ Великой стены в северо-восточном Китае. Они увидели в ее вла-

стном физическом присутствии рядом со старой китайской границей воплощение рано обретенного древним Китаем осознания себя развитой цивилизацией, необоримого, устойчивого стремления китайцев обособляться и защищать — в устойчивых границах — эту самую культуру от покушений врагов. В «Великой стене», изданной в 1994 году китайской энциклопедии, в краткой вводной статье на английском языке сказано: «Великолепная и крепкая телом и духом, она символизирует великую силу китайской нации. Любой иностранный захватчик будет разбит наголову, столкнувшись с этой великой силой [sic]».

Для большинства китайцев древность и прикладное значение стены являются не исторической гипотезой, нуждающейся в проверке и исследовании, а скорее истиной, которую нужно принять и чтить. Посещение участков Великой стены, доступных в туристских пунктах к северу и северо-востоку от Пекина, может оказаться обескураживающе неисторичным. Если спросить, когда и как именно один из этих участков безупречно отреставрированной кирпичной стены, безукоризненной за исключением отдельных клякс коммунистического раствора, был построен, обычный контролер билетов посмотрит на вопрошающего с сожалением и недоверием — вообразив, вероятно, что он или она стараются показаться смешными, — прежде чем равнодушно пересказать знакомую двухтысячелетнюю историю о первом императоре. До первого китайского полета в космос в 2003 году китайские школьные учебники сжились с мифом, что стена является одним из двух рукотворных сооружений (второе — голландская морская дамба), видных с Луны. Только после того как Ян Ливэй, побывавший в экспедиции в 2003 году космонавт, по возвращении, смущаясь, объявил, что не сумел разглядеть ни зубчика, китайское министерство образования робко занялось вымарыванием допущенной ошибки как «помехи реальным знаниям, приобретаемым учениками начальной школы».

Несмотря на кратковременную уступку основанной на фактах научности, стена — в своем современном костюме национальной эмблемы — в целом настолько отдалилась от собственной достоверной исторической реальности, что теперь служит готовым символом какой угодно черты китайской нации или даже человечества в целом, требующей иллюстрации в каждый данный момент. «Великая стена обладает характером китайской нации, — выдвинул гипотезу один китайский ученый. — Она также включает в себе общую природу всех человеческих существ». «Великая стена, — заявил другой теоретик стены, — должна пониматься не только как препятствие, но также как река, соединяющая разные этносы и дающая им общее небо и место встреч». Ло Чжэвэнь, вице-президент Китайского общества Великой стены, превратил стену в изначальный многоцелевой исторический талисман, заявив, что она одновременно является продуктом феодального общества и вдохновляющим фактором «для движения китайского народа вперед по пути строительства социализма с китайской спецификой»; что она создала первое единое, централизованное китайское государство и помогла построить многонациональный Китай. В глазах шустрых современных китайских мыслителей стена имеет и, однозначно, национальный, и, несомненно, всемирный характер; утверждает и самодостаточность, и интернационализм; служила опорой феодализма, а в настоящее время воодушевляет социализм; отражала захватчиков и устанавливала дружбу со всей степью; определила границу единственного в своем роде монолитного Китая и превратила его в соединение разных культур. Забудьте слово «Великая»: «Суперстена» ближе к нужной отметке. Великая стена, отбрасывая всякую историческую казуистику, без зазрения совести заявляет один из интерпретаторов, «является мировым чудом. Я не занимаюсь саморекламой только потому, что я — китаец. Размышление и здравый смысл подскажут любому человеку в любой стране, что в этом и заключается суть дела».

До известной степени сие легкомысленное, напыщенное заявление можно понять: стена, несомненно, является впечатляющим достижением — особенно если учесть отсутствие у ее строителей современной техники. Она протянулась на несколько тысяч километров с востока на запад по труднодоступной, порой суровой, местности: по заросшим кустарником горам; продуваемым ветрами коричневым равнинам; рыхлым, неопределенного цвета холмам; песчаным оазисам и тяжелым климатическим зонам северного Китая и Внутренней Монголии. Исторически дурная слава врагов, против которых она была построена — особенно монгольских орд Чингисхана, — еще больше усилила драматизм, окутывающий калейдоскоп картинок местности, по которой проходит Великая стена. Однако стенная лихорадка последних одного или двух столетий приняла на веру слишком много пропаганды и стерла огромные полосы бесславного прошлого. В целом восторженное внимание, уделяемое стене туристами, политиками, патриотами и марсианскими астрономами, не более чем краткий, нехарактерный, мифологизированный миг в тысячелетней истории Китая. В течение большей части тех двух тысяч лет, которые она существует в том или ином виде на севере Китая, стену по очереди считали неуместной, игнорировали, критиковали, высмеивали и самовольно бросали: и физически — как оборонительное сооружение, и фигурально — как идею.

Первый великий миф о Великой стене подчеркивает ее оригинальность, многозначительно указывая на единое древнее сооружение с последовательно и непрерывно датированным прошлым. В пику популярности и славе, которыми пользуется стена в последнее время, ссылки на китайский термин, ныне повсеместно переводимый как «Великая стена», чанчэн, в старинных источниках редки и недостоверны. Изначально использовавшийся в I веке до н.э. при упоминании стен, построенных в двух предыдущих столетиях, термин этот редко появляется между концом династии Хань

(206 год до н.э. — 220 год) и началом династии Мин (1368—1644 годы). Рубежные стены вместо этого обозначались сбивающим с толку разнообразием терминов: юань (крепостной вал), сай (кордон), чжан (преграда), бяньчжэнь или бяньцян (пограничный гарнизон или пограничная стена). Впечатляющей каменной Великой стене к северу от Пекина, сегодня ежегодно посещаемой миллионами туристов, вовсе не тысячи лет. Ей примерно пятьсот лет, и она появилась в результате строительных усилий династии Мин. Большая часть даже столь сравнительно юного укрепления сейчас заброшена и практически недоступна для обычных туристов. Несколько чистеньких и выставленных, как в витрине, проходов в стене — к примеру, Бадалин, находящийся в двух часах езды на автобусе от столицы, — восстановлены и приведены в порядок трудами коммунистов во второй половине двадцатого столетия. Хотя еще в первом тысячелетии до н.э. многие царства и династии строили стены на севере Китая и в Монголии, большая часть их нынче исчезла, оставив после себя нечто напоминающее остатки сооружений из песка, которые пробиваются из рыхлой лессовой почвы северо-западного Китая, или покрытые мхом насыпи, прорастающие из земли словно покрытые волосами рубцы. Местами, на самых северных участках, где каменная, с клоками травы пустыня зимой замерзает, стена сейчас настолько низка, что если бы она слегка не выступала из-под наметенного с одной стороны пропыленного снега, то ее практически не было бы видно. В течение всей тысячелетней писаной истории Китая эти преграды редко обозначались как чанчэн. Таким образом, нет единой Великой стены, существует лишь много сравнительно малых стен.

Второе современное заблуждение относительно Китайской стены и стен вообще заключается в следующем: считается, будто они обозначают жесткий рубеж между государствами и культурами, а часто и между цивилизацией и варварством. Любовь римлян и древних китайцев к возведению

жестких рубежей может способствовать возникновению ошибочного мнения, что в прошлом многие иностранные государства имели тщательно демаркированные границы. Однако история китайского стеностроительства не дает ясного объяснения назначению рубежей из кирпича и раствора, оставивших китайцев внутри, а варваров-северян — снаружи. Хотя и существовали глубокие различия между, например, китайцами и монгольскими кочевниками, обитавшими к северу от Великой стены, неверно полагать, что пограничные стены абсолютно и наглухо отделяли культуру риса, шелка и поэзии, с одной стороны, от культуры кумыса, шкур и войн — с другой. Китайскую империю часто рассматривают как надменно-недоступную и не подпускавшую к себе, сильную чувством собственного самоуверенного превосходства, слабую с точки зрения открытости и иностранных влияний. Такая точка зрения совершенно упускает важность иностранного фактора в китайской истории: в течение продолжительных периодов истории Китая им правили либо императоры и военачальники, влюбленные в быт северных степей — конница, юрты, одежда, поло, — либо северные племена или выходцы из них. Рубежи и линия строительства стен перемещались с каждой новой династией: многие правители Китая, не являвшиеся китайцами, сами строили укрепления как защиту от других северян, как только устанавливали контроль над Китаем, в процессе чего китаизировались.

Третье современное — и вполне естественное — заблуждение по поводу Великой стены, это то, что она Великая и всегда была такой. Оно коренится, как и многое другое, в лингвистической неточности. Совершенно очевидно, китайские рубежные стены приобрели кое-что при переводе: чанчэн, китайский термин (лишь изредка использовавшийся до двадцатого столетия), интерпретированный в английском языке как «великая стена», буквально означает всего лишь «длинная стена» — не слишком уничижительно, надо ска-



зять, но лишено помпезного звучания. Оно легло в основу совершенно безосновательных — в манере Никсона — допущений, будто Великая стена должна иметь великое прошлое, а также великий народ, будущее и все остальное. С точностью до наоборот: за всю двухтысячелетнюю историю строительства китайских стен оно не символизировало силу и авторитет государства. Зачастую оно было принято в качестве оборонительной пограничной стратегии после того, как все прочие способы общения с варварами — дипломатия, торговля, карательные военные экспедиции — становились исчерпаны или сочтены неподходящими. Стеностроительство было знаком военной слабости, дипломатической неудачи и политической беспомощности, а также несостоятельной политикой, приведшей к краху нескольких некогда жизнеспособных династий (китайское выражение «сидеть на стене» дословно переводится как «оседлать стену»). Строительство стены считалось в целом непопулярным выбором, так как он ассоциировался с поражением и политическим крахом, с кратковременностью существования императорских домов вроде жестокого Цинь (221—206 годы до н.э.) — первый режим, который возвел более или менее протяженную преграду в северном Китае, — или Суй (581—618 годы). И еще Великая стена просто не работала как препятствие, защищающее Китай от набегов варваров. С тех пор как стены впервые построили на рубежах Китая, они дали лишь временное преимущество над дерзкими налетчиками и мародерами.

Когда Чингисхан и его монгольские орды в XIII веке начали покорение Китая, рубежные стены оказались ничтожным препятствием. Великая стена не защитила наиболее активных строителей стен, династию Мин, от их самых опасных противников, маньчжуров северо-востока, которые стали править Китаем в качестве династии Цин с 1644 года. Завоеватели могли обходить очаги сильного сопротивления, пока не находили слабые места или прерывы, или — что тре-

бовало меньших усилий — подкупать китайских чиновников, чтобы те открывали ворота фортов Великой стены. Когда маньчжуры в 1644 году решили совершить последний бросок на Пекин, через Великую стену их провел переметнувшийся к ним китайский генерал. Как якобы сказал Чингисхан, «крепость стен зависит от храбрости тех, кто их защищает».

Я намерена подняться над современными мифами о Великой стене и узнать кое-что относительно ее исторической действительности, уйти от застарелой неточности проникнутого благоговейным трепетом названия «Великая стена», которым бездумно называли китайские пограничные оборонительные сооружения западные специалисты начиная с семнадцатого столетия. Здесь я буду временно воздерживаться от использования данного термина, пока в одной из последующих глав книги его не пустят в оборот иностранные наблюдатели, посетившие Китай в начале Нового времени. До этого момента, описывая и подразделяя пограничные укрепления, построенные каждой последующей династией, я пыталась пользоваться в книге названиями, применявшимися в источниках того или близкого времени. Где чанчэн, современный китайский термин для «Великой стены», появляется в старинном контексте, без более поздних ноток западного стенопоклонства, я использовала буквальным, без всяких фантазий переводом — «Длинная стена».

То, что менее чем славное прошлое китайской стены оказалось скрытым более поздним историческим романтизмом, неудивительно. Возможно, пограничные стены изначально требовали на постройку так много денег и времени, и те, кого впоследствии назначали ответственными за их содержание, зачастую находили невозможным ругать их как источник стратегически бессмысленных трат (если, конечно, они не ассоциировались с широко ненавидимыми идеологиями и политическими режимами, как Берлинская стена). Апологеты «линии Мажино» — чрезвычайно сложной системы ук-

репленных подземных бункеров и туннелей вдоль бельгийской границы, ставшей одним из величайших фиаско двадцатого столетия в области оборонительной политики, — с гордостью указывают: даже несмотря на то что чрезмерная концентрация ресурсов на «линии» сделала Францию уязвимой для вторжения в других местах, даже несмотря на то что немцы легко обошли «линию», войдя во Францию через Бельгию, Голландию и Арденны, даже несмотря на то что в результате Франция была разгромлена и оккупирована, «линия» так и не была взята силой, а оборонявшие ее войска сдались сами (хоть и при угрозе окружения войсками нацистов). Даже если она и не смогла защитить Францию, даже если она не выполнила задачу, ради которой существовала, продолжает логика апологетов, «линия Мажино» сумела кое-что сделать прекрасно — защитить себя саму. Точно так же память об исторических провалах Великой стены — продажные стражи ворот, проломы, позволявшие кочевникам легко проникать за стену, тот факт, что отдельные ее участки еще находились в процессе строительства, даже когда Пекин вот-вот должен был оказаться в руках маньчжур в 1644 году, — тщательно заглушена современными панёгириками ее протяженности, толщине и общему величию. Внешний облик, может показаться, берется в расчет больше, чем суть.

Наша готовность поддаваться пропаганде Великой стены проистекает также из нашего собственного исторического контекста. На современном Западе, где завоевания и вторжения сегодня, к счастью, дело тысячелетнего прошлого, строительство стен кажется старомодной, диковинной идеей, пригодной для частного и домашнего применения — скажем, за исключением дренажных систем и дамб — и больше ни для чего. Нам нравится думать, будто наш век — век глобализации, который определяют не преграды и барьеры, а свободные потоки: транспортные, торговые, финансовые и информационные — через пористые государственные грани-

цы. Наши сражения теперь редко ведутся на чем-то столь архаичном, как земля или оборонительные сооружения. Наши правительства, похоже, считают более целесообразным вести войны с воздуха или на расстоянии: в их распоряжении бомбы с лазерным наведением или крылатые ракеты, управляемые издалека. Если не считать недавнее известное вторжение в Ирак, для западных держав направление наземных войск в зоны конфликтов является последним средством, потенциально ведущим к потере голосов избирателей. Стены и преграды являются памятниками утраченного мира, существовавшего до 1989 года, когда жизнь текла достаточно медленно и приземленно, чтобы могли применяться статические стены, когда хватало институциональных суперидеологий (капитализм, коммунизм, германский экспансионизм), чтобы требовалось возведение четких барьеров. В любом случае история вдоволь поиздевалась над правительствами или отдельными лицами, оказавшимися настолько глупыми, чтобы строить оборонительные стены в XX веке: вспомните еще раз об унижительном обходе немцами «линии Мажино» в 1940 году или о разрушении при всеобщем ликовании Берлинской стены пятьдесят лет спустя.

И теперь, когда никакие государственные границы — за исключением аномалий вроде Северной Кореи — не мешают всеобщему распространению культуры, кока-колы и «Найк» (или «Майк», как пишется это название китайскими пиратами), явной разделяющей линии между варварством и цивилизацией больше, похоже, не существует и более нет необходимости строить стены, пытаюсь отделять тех, кто умеет вести себя нормально, от тех, кто не умеет. Снисходительность и желание смотреть на Великую Китайскую стену сквозь розовые очки, а также готовность не замечать ее очевидной несостоятельности проистекают из осознания того, что оборонительные стены представляют собой не более чем пережиток прошлого, годный на сувениры туристический объект, не имеющий никакого значения для совре-

менности. Стены заставляют нас думать о старом мире, разделенном замками, рвами, караульнями у ворот, подъемными мостами. Само собой очевидно: сегодня вряд ли найдется наивный человек, готовый тратить деньги на строительство чего-то столь массивного, как обнесенные стенами границы.

Человечеству между тем никак не надоест бороться за земли, и где бы ни возник территориальный спор, начинают появляться стены. На протяжении истории китайцы, возможно, были одержимы стенами больше других народов, однако порыв строить стены явно присущ всему человечеству — ему поддавались все древние цивилизации: Рим, Египет, Ассирия. И это тот импульс, который фактически пережил XX век, завершение «холодной войны» и мнимый «конец истории». В 1980 году в Марокко начали строить и охранять более двух тысяч километров песчаной стены в самом сердце Западной Сахары, пытаясь обеспечить безопасность на бывшей испанской территории, которую страна прибрала к рукам во время краха колониальной империи, последовавшего за смертью Франко в 1975 году. С 2002 года Израиль строит «оборонительную» стену — «призванную не допустить проникновения террористов, оружия и взрывчатых веществ в Государство Израиль» — между оккупированными территориями и основной территорией Израиля. Называть ее просто стеной — преувеличение. Это не стена в обычном смысле, из камня или кирпича, а преграда, которая тянется на несколько сотен километров, ее ширина в среднем составляет семьдесят метров, стена построена в основном из бетона с включением участков колючей проволоки, изгородей под током, рвов, следовых полос, патрулируемых танками проходов, буферных и запретных зон по обеим сторонам.

Кроме напоминания о том, что стены повсеместно остаются любимым занятием строителей империй, эти два современных барьера проливают свет на часто забываемую цель стеностроительства: нападение, а не оборона. Стены

принято считать внутренней защитной мерой в противоположность внешней агрессивной стратегии походов и набегов. В значительной мере китайцы гордятся Великой стеной, исходя из следующего допущения: как военная стратегия она высокоморальна, так как имела оборонительное, а не агрессивное назначение. Она является отражением в целом миролюбивой, неконфронтационной, неимпериалистической и нестяжательской природы Китая (вплоть до сегодняшнего дня китайское самосознание преувеличенно накачено идеей о том, будто внешняя политика Китая неизменно является исключительно оборонительной, нацеленной против агрессий, а не инициирует их; оккупация им независимого Тибета в 1950 году всего лишь одна из многих фигур умолчания). «Поскольку китайский народ миролюбив по природе, — рассуждал один из китайских ученых, — в течение тысяч лет династии одна за другой являли миру чудо Великой стены».

Назначение стен, однако, полностью зависит от того, где их строят. Отгораживание стенами постоянно населенных территорий, таких как города или сельскохозяйственные земли, от, скажем, набегов скотоводов-кочевников, несомненно, является оборонительным замыслом. Но ведь и Марокко, и Израиль построили свои стены вдали от собственных территорий, что сделало их совершенно бессмысленными с точки зрения обороны: марокканская стена находится в сердце Сахары, а девяносто процентов израильской ограды алчно сворачивает с «зеленой линии» границы между Израилем и оккупированными территориями, вгрызаясь в палестинские земли. По завершении строительства ожидается, что стена отрежет пятнадцать процентов территории Западного берега реки Иордан и двести тысяч палестинцев от основного скопления палестинских поселений на Западном берегу. Неудивительно тогда, что обе стены осуждаются населением районов, на которые они покушаются, и международными правозащитными организациями как стены «ок-

купации», «позора и мучений». Смысл рубежных стен древнего Китая тоже можно пересмотреть в этом свете: последние интерпретации назначения Великой стены настаивают на том, будто она была призвана защитить миролюбивых китайских земледельцев и их цивилизованные города от свирепых грабителей-варваров. Однако стены, построенные еще в первом тысячелетии до н.э., далеко заползают в монгольские степи и соляные пустыни северо-западного Китая, на сотни километров от обрабатываемых земель. Они выглядят не столько как защита территории, сколько как средство ее отхватить, и предназначены для того, чтобы позволить китайцам управлять народами, чей образ жизни отличается от их собственного, а также контролировать доходные торговые пути.

Пограничная зона между северным Китаем и тем, что лежало за ней — Маньчжурией, Монголией, пустынями Синьцзяна, — часто служила ареной агрессивного китайского империализма, и взгляд сквозь тысячелетия китайской пограничной политики решительно подрывает возвышенную теорию о том, будто Великая стена является монументом китайскому миролюбивому духу и принципу «живи сам и дай жить другим». Во времена большинства династий и на протяжении почти всей истории языком китайской пограничной политики и пограничного управления являлся грубый язык воинствующей ксенофобии и чувства культурного превосходства: пограничным чиновникам даются такие титулы, как «Военачальник, Который Сокрушает Презренных», а их цитадели называются «Башня Для Сдерживания Севера» или «Форт Для Удержания Границы». Изначальное наименование одного из проходов на северо-западе, «Форт, Где Убивают Варваров» (Шахубао), в конечном счете, даже по стандартам императорского Китая, было сочтено неполиткорректным, и иероглиф «ху», означавший «варвары», заменили в названии однозвучным иероглифом, означавшим «тигр». Даже на кровельной черепице, найденной непода-

леку от северной границы Китая, обнаружена надпись, однозначно извещавшая проходивших мимо людей о том, что «все иноземцы покоряются».

Тем не менее, хотя китайские рубежные стены исторически не были всем тем, что приписывают Великой стене, и хотя в основе своей современные льстивые сочинения о Великой стене скрывают многое из запутанного прошлого Китая, стену и идеологию, лежащую за ней, не следует сбрасывать со счетов, словно некую не относящуюся к истории вещь. Как стратегия, пережившая более двух тысячелетий, китайская пограничная стена является монументальной метафорой для прочтения Китая и его истории, для характеристики культуры и мировоззрения, которым удалось очаровать и ассимилировать почти всех соседей и завоевателей. На первых страницах книги Яна Бурумы «Плохие элементы» (его одиссеи по китайскому продемократическому движению) автор немедленно хватается за Великую стену, желая проиллюстрировать «проблему Китая»: стойкую озабоченность его правителей контролем «над закрытой, замкнутой, авторитарной вселенной, обнесенной стенами царства посередине мира». В глазах Бурумы Великая стена с ее двойной задачей — защиты и подавления — символизирует политическую культуру замкнутости и высокомерного культурного изоляционизма, лежащую в основе тысячелетней китайской автократии и продолжающую поддерживать нынешнее коммунистическое правительство и противостоять идее демократии на том основании, будто открытая, демократическая система принесет хаос и разлад в жесткую китайскую традиционность. У большинства стран, указывает он, есть свои современные национальные архитектурные эмблемы, проецирующие вовне образ, с которым они хотят ассоциироваться в представлении международного сообщества: символ Франции — Эйфелева башня; Великобритании — парламент, монумент демократии. У Китая не случайно есть его Великая стена, разорительно дорогая ограда, построенная

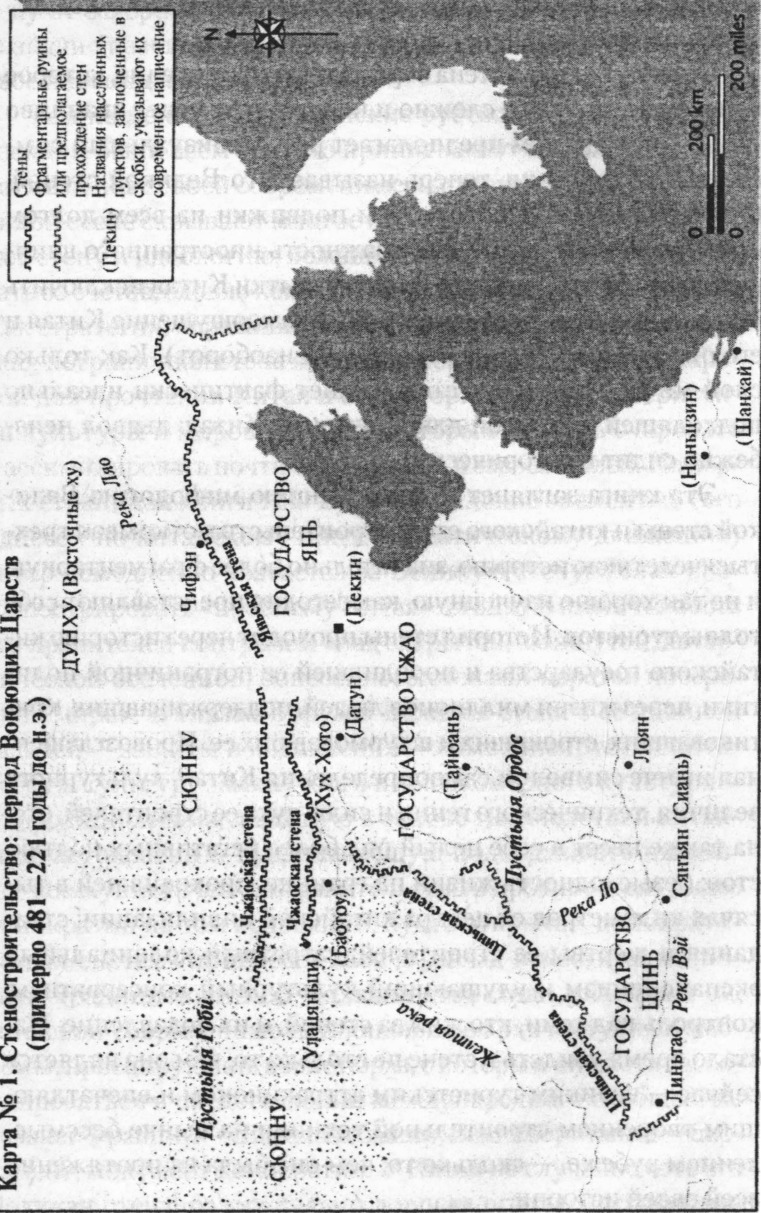


не допускать и подавлять — а теперь объявленная чудом национального наследия.

Однако Великая стена отражает мировоззрение, которое одновременно более сложно и подвижно и менее чванливо торжествующе, чем предполагает резкий визуальный символизм сооружения, теперь называемого Великой стеной. Она обнаруживает повороты и подвижки на всем долгом протяжении истории Китая, важность иностранного влияния, несмотря на периодические попытки Китая исключить его, и кроме того, предлагает окно в самоощущение Китая и его отношение к внешнему миру (и наоборот). Как только слой мифа будет снят, стена станет фактически идеально подходящей эмблемой для прочтения Китая: дьявол неизбежно сидит в исторических деталях.

Эта книга заглянет за современную мифологию Великой стены и китайского стеностроительства, открывая трехтысячелетнюю историю, значительно более фрагментарную и не так хорошо изученную, как сегодня представляют себе толпы туристов. История стены проходит через историю китайского государства и породившей ее пограничной политики, через жизни миллионов людей, поддерживавших, критиковавших, строивших и штурмовавших ее. Провозглашенная нынче символом самоопределения Китая, культурного величия, технического гения и силы духа ее строителей, стена также несет в себе целый ряд более негативных подтекстов: безысходность жизни на границе, проходившей в тысячах километров от центра китайской цивилизации; страдания и жертвы ее строителей; затратный колониальный экспансионизм и удушающий культурный консерватизм; контроль над теми, кто жил за стеной, и их подавление. Настало время увидеть в стене не столько то, чем она является сейчас — великим туристским аттракционом и впечатляющим творением строительной техники на нынче бессмысленном рубеже, — сколько то, чем она была на протяжении всей своей истории.

**Карта № 1. Стеностроительство: период Воюющих Царств  
(примерно 481—221 годы до н.э.)**



## Глава первая

### *Почему стены?*

«Стены, стены и снова стены формируют костяк всякого китайского города», — писал в 1930-х годах шведский историк искусства Освальд Сирен.

В книге Джозефа Нидэма «Наука и цивилизация в Китае» содержится следующее наблюдение:

«Они опоясывают его, они делят его на участки и кварталы, они больше любого другого строения несут на себе отпечаток основных черт китайских общин... нет такой вещи, как город без стены. Это было бы так же невообразимо, как дом без крыши... Едва ли в северном Китае найдется деревня любого возраста или размера, где не обнаружилось бы хоть глинобитной стены или развалин стены».

Любовь китайцев к опоясывающим стенам глубоко вписана в сам язык. Самые ранние версии (примерно 1200 год до н.э.) иероглифов, обозначающих «поселение» и «оборона», изображали окруженные стеной компаунды; оба понятия немислимы без ограждения со всех четырех сторон. Позднее для обозначения понятий «город» и «стена» в классическом китайском языке использовалось одно и то же слово: *cheng*. Иероглиф, означающий «столичный город» (про-

износится цзин), первоначально изображал караульное помещение над городскими воротами.

Стеностроительство и письменность переплелись между собой, чтобы охарактеризовать китайскую цивилизацию и физически, и образно с того самого момента, как она возникла, разделяя и различая народы и поселения Китая от их менее оседлых, менее образованных соседей с севера. Чтобы понять тысячелетний порыв китайцев строить стены, понять суть конфликта, породившего стену, нам необходимо проследить истоки этих двух несравнимо разных, географически граничивших друг с другом культур: культуры земледельцев, уверенных в своей образованности, окруженных стенами Китая, и культуры пастушеских кочевых племен Монгольской степи.

Примерно пятнадцать лет назад, как только коммунистическая партия Китая занялась своими наиболее актуальными задачами после разгрома поборников демократии на площади Тяньаньмэнь — уборкой с улиц тел гражданских лиц, составлением списков разыскиваемых лиц, проведением облав на тех активистов, которые не смогли выбраться из страны, — она обратилась мыслью к политическому перевоспитанию. Раз уж, высказали правильную догадку руководители партии, дула Народно-освободительной армии были повернуты на сам народ, то одних коммунистических принципов будет недостаточно, чтобы убедить китайцев в легитимности автократичного социалистического правления. В поисках новой государственной религии, вокруг которой могла бы сплотиться страна, партия натолкнулась на довольно старомодную версию некоей старомодной идеи: ксенофобский национализм, подогреваемый злым подозрением, что Запад настроен, как настойчиво внушали китайским массам, сдерживать подъем Китая.

Стремясь убедить своих граждан — в 1989—1991 годах видевших, как исчезают коммунистические государства в

Европе, — что открытая, по западному образцу демократия в корне не подходит однопартийному социалистическому Китаю, коммунисты путем энергичной кампании патриотического воспитания, развернутой по всей стране, принялись доказывать — положение государства в Китае уникально, он пока не готов к демократии. Китайская история, или особый взгляд на историю, быстро стала одним из самых важных средств в обойме партийной патриотической пропаганды. Утверждалось, будто коммунисты просто являются наследниками проверенной и испытанной модели единого, авторитарного китайского государства, предположительно возникшего пять тысяч лет назад — время, примерно соответствующее периоду, приписываемому правлению Желтого императора, мифологического предка-основателя Китая, который, как считается, управлял государством в начале третьего тысячелетия до н.э. (в 1994 году один из членов политбюро продемонстрировал уважительную веру в своего легендарного предшественника, возложив цветы и посадив дерево на мемориальной церемонии в его честь). Играя на давнем, хоть и смутном, чувстве гордости китайской общности по поводу древности своего государства, коммунистическая кампания патриотического воспитания трансформировала идею, что в полной мере сформировавшееся китайское государство появилось тысячи лет назад, в шаблон, неустанно вдалбливаемый агентами политбюро, некоторыми учеными-приспособленцами и ленивыми туристическими гидами, чтобы заставить любого слушателя, китайца или иностранца, поверить — так в Китае всегда было и всегда будет (пока коммунисты не скажут другое).

И вопреки всей пропаганде это неправда. Не только потому, что, как вполне возможно, Желтый император был придуман группой жаждавших власти аристократов в 450 году до н.э. На самом деле есть серьезные основания считать, что китайское государство возникло всего сто лет назад, когда, оказавшись насильно вброшенными в современ-

ную систему международных отношений, которую Запад создал по своему подобию, видя, как иностранные державы вторгаются в их страну, разрываемую внутренними беспорядками, как ее тянут назад реакционная, загнивающая династия и закосневшая двухтысячелетняя образовательная и этическая система, не желавшие иметь ничего общего с западной наукой и современным миром китайские мыслители и политики ухватились за идею национального возрождения с целью спасти страну от угрозы надвигавшегося коллапса. До того китайцы даже не имели единого общего определения для обозначения Китая — во все времена страну обычно называли по имени правящей в данный момент династии. Будучи бесспорно мощной и пережившей тысячелетия, идея китайской империи была намного менее определенной и размытой, чем позволяет — со своими учебниками, музеями и предками в шкафах — жесткая конструкция современного национализма, концепция, выкристаллизовавшаяся в медленном процессе общественной, экономической, политической и культурной эволюции, начавшемся примерно десять тысяч лет назад. Непрерывность существования одного, единого, с пяти тысячелетней историей Китая является фантазией XX века.

Однако благодаря археологическим находкам прошлого столетия мы можем по крайней мере изобразить хронологическую линию доисторической культурной деятельности и нововведений, из которых в конечном счете возникнет узнаваемая китайская империя. Обработка земли — важнейшая основа китайского образа жизни — началась в северных провинциях страны примерно в восьмом тысячелетии до н.э. Сегодняшним визитерам непросто представить себе сухие желтые равнины Шэньси и Шаньси в качестве места, пригодного для начинающих фермеров. Однако малолесные и легкообрабатываемые лессовые почвы северного Китая, которые снабжала водой Желтая река в своем нижнем течении, способствовали появлению примитивного земледелия

еще десять тысяч лет назад, во времена, когда южный Китай оставался царством буйных джунглей.

Сдвиг к сельскому хозяйству направил китайское общество по более определенному эволюционному пути. Долгосрочное гарантированное земледелие зависело от масштабной ирригации, требовавшей, в свою очередь, еще более развитых форм общественной и политической организации. Неудивительно тогда, что одним из любимых в Китае древних легендарных героев — все они почитаемы за дарение доисторическому Китаю ключевых технических, политических или культурных новинок (огонь, письменность, медицина и тому подобное) — является Юй, самородок инженер-ирригатор и строитель паводковых каналов, живший, как считается, примерно в начале второго тысячелетия до н.э. К 2000 году до н.э. земледельцы в северном Китае оставляли после себя свидетельства все более сложной цивилизации: претенциозные и экстравагантные бронзовые сосуды, колокола и оружие, гадальные кости, следы крупномасштабного строительства и могильники. Это было уже в высшей степени ритуализированное общество, способное организовать труд для крупных общественных проектов, таких как строительство и добыча ископаемых.

Китайская цивилизация в письменных источниках появляется только в XIII веке до н.э., как стало известно благодаря Ван Ижуну, эпиграфисту и гражданскому чиновнику XIX века, чей зоркий глаз сделал одно из самых сенсационных открытий в современной китайской археологии. В 1899 году, когда в Пекине бушевала эпидемия малярии, одним, по общему мнению, из наиболее эффективных и популярных средств, продававшихся вразнос перепуганным, болеющим жителям, считался отвар из выкопанных из земли костей дракона. Учитывая нехватку главного ингредиента этого лекарства в Пекине, фармацевты, торопившиеся создать запасы для удовлетворения растущих потребностей, подсовывали клиентам коровьи лопатки и черепаши пан-

цири в качестве разделанных костей дракона, готовых к измельчению. Когда некий родственник принес домой одну из таких костей, Ван Ижун обнаружил на ее поверхности таинственные царапины, а приглядевшись, увидел в них древние китайские иероглифы. Не теряя времени, он скупил у фармацевта весь запас и таким образом спас от уничтожения старейшие из известных вариантов китайского письма. Далее надписанные кости привели к месту их находки в Аньяне, городе в центральном Китае, где крестьяне с коммерческой жилкой выкопали их из земли и продали аптекарям. Крестьяне тоже обнаружили на них царапины, но опасаясь, что они снизят ценность костей как лекарства, многие царапины стерли; кости, на которые случайно наткнулся Ван, оказались счастливым исключением.

Коровьи лопатки и панцири черепах из Аньяна — старейшая из них датировалась примерно 1200 годом до н.э. — стали известны как гадальные кости, использовавшиеся для получения пророчеств в эпоху Шан, первой исторически достоверной династии, правившей частями Китая (между примерно 1700 и 1025 годами до н.э.). Правитель Шан формулировал положительное или отрицательное предположение, на которое хотел получить ответ «да» или «нет» (например «Сегодня дождя не будет»), кости нагревали, и трещины, возникавшие от жара, изучались и толковались шаманами, причем изначальное предположение, а иногда и прогнозы с ответами наносились на кость. Вместе с другими открытиями в Аньяне — фигурной бронзой, могильниками, предметами из нефрита — гадальные кости позволили взглянуть на общество, существовавшее три с половиной тысячи лет назад, чьи основные заботы и верования с тех пор формировали китайское общество.

Хотя царство Шан с географической точки зрения мало напоминало страну, сегодня известную как Китай (политический центр Шан располагался в Хэнани и Шаньдуне — центральный и северо-восточный Китай), однако сходство



культурных, политических и общественных черт значительно. Общество в Шан, будучи централизованным, стратифицированным и земледельческим по характеру, управлялось единым правителем, который через свой административный аппарат отбирал у подданных сельскохозяйственные излишки и направлял их на масштабные общественные работы, такие как строительство царских могил и участие в военных кампаниях. Это была культура, в высшей степени подчиненная ритуалам, постоянно требовавшая одобрения предков и небесных сил через посредство жертвоприношений и гаданий. Одна из гадальных костей, описывая результат беременности одной из супругов правителя, сообщает (как и многие в Китае сегодня, в Шан предпочитали мальчиков девочкам): «У нее прошли роды. Они были по-настоящему нехороши. Родилась девочка». В Шан даже ели, как в современном Китае, рис отдельно от мяса и овощей.

Но важнее всего, Шан использовали то же самое письмо, что и более поздние китайцы. Трудность нанесения иероглифов на кости диктовала эллиптическую лаконичность выражения, определявшую литературный китайский язык до 1921 года, когда речистый простонародный язык заменил строгий классический китайский в качестве письменного языка. Трудно переоценить важность общей системы письма в постепенном — в течение тысячелетий — возникновении китайской идентичности: хоть в Китае и в мировой китайской диаспоре говорят на сотнях совершенно отличных друг от друга диалектах, все пользуются на письме одними и теми же иероглифами. Дайте грамотным китайцам с противоположных концов страны или земного шара ручку или кисть, и они смогут общаться. И сегодня китайцы, принадлежащие к самым широким социальным слоям — ученые, бармены, дворники и таксисты, — объединяются агрессивной гордостью за свою трехтысячелетнюю традицию письма, у которой нет современных аналогий в большинстве западных стран, и пренебрежительно сравнивают «простые, искусст-

венные языки Запада» с безграничной утонченностью и сложностью письменного китайского языка.

Конечно, многое должно было поменяться в Китае в последующие три тысячи лет — в том числе династии и границы. В 1025 году до н.э., менее чем через два столетия после появления первой сохранившейся гадальной кости, государство Шан было покорено династией Чжоу, царским домом, который станет номинально претендовать на лояльность — вплоть до 256 года до н.э. — нескольких царств к северу от реки Янцзы, чью культуру можно вполне определить как китайскую. Но базовые элементы китайской цивилизации — элементы, которые Конфуций, выдающийся китайский философ, положит в основу собственного политического и общественного мировоззрения более чем через пятьсот лет, — уже были в наличии: узы патриархального обычая и политической организации, обеспечивающиеся огромной ритуальной силой письменного китайского языка.

И как только возникли и стали преемственно развиваться китайские культура и общество, появилось и стеностроительство: внутри и вне деревень, поселков и городов. Сегодня любовь китайцев к стенам уже не так бросается в глаза случайным наблюдателям, как некогда. XX век, век революций, войн и коммунизма, обратил сотни километров китайских стен просто в горы камня. Одним из самых вопиющих примеров намеренного разрушения стала замена Мао Цзэдуном в 1950-х годах старой городской стены Пекина на кольцевую дорогу. Однако ранние китайские поселения представляли собой скопление стен, а самую древнюю из них, датируемую третьим тысячелетием до н.э., обнаружили во время раскопок в районе Луншань, провинция Шаньдун, в северо-восточном Китае. Самая впечатляющая из сохранившихся со второго тысячелетия до н.э. стен (примерно 1500 год до н.э.) опоясывает шанский город Ао — северную часть современного Чжэнчжоу в Хэнани — на протяжении семи километров, и в отдельных местах все еще достигает девяти

метров в высоту. Именно в эти два тысячелетия была освоена фундаментальная техника китайского стеностроительства, использовавшаяся и в эпоху расцвета строительства стен при династии Мин: трамбовка. Сбивался короб из досок или делалась кирпичная кладка в качестве внешней оболочки, внутрь насыпалась обыкновенная земля, составлявшая основу стены. Поскольку сооружения возводились из местного материала, то стены из утрамбованной земли имели преимущество в скорости и дешевизне строительства — очень важный момент для цивилизации, которой придется строить столько стен.

Пока люди, жившие в северном Китае, занимаясьписанием иероглифов, почитая предков и строя стены, постепенно становились китайцами, северные пределы их царства недвижимо граничили с землями — сегодняшними Центральной Азией, Монголией и северной Маньчжурией, — где климат не способствовал интенсивному земледелию или жесткой общественной организации. Именно эти районы произвели на свет кочевые племена — их в Китае и на Западе в разные времена называли жун, ди, сюнну, монголами, маньчжурами и гуннами. Они буйствовали на рубежах Китая и служили причиной стеностроительства в течение следующих двух с половиной тысячелетий.

Однако до конца второго тысячелетия до н.э. различия в образе жизни между северным Китаем и районами, лежавшими дальше к северу, вероятно, не были столь драматичными, так как земли часто почти незаметно переходили из лессовой равнины в степи и пустыни. До того китайские пограничные районы видели не ужасные орды воинов-кочевников, а мирные, относительно оседлые племена, жившие тем, что понемногу обрабатывали землю и разводили скот. К северо-западу, за плодородным — местами — Туркестаном (нынешние Ганьсу и Синьцзян), за высокими, покрытыми мощными ледниками горами Тяньшань, Китай под-

ходил к пустыням и степям Джунгарии и Таримского бассейна, в оазисах которых примитивные, но оседлые пастухи приручали животных. К северо-востоку реки нижней Маньчжурии допускали сельское хозяйство китайского типа, пока пахотные земли не переходили дальше к северу в степи, более подходящие для охоты и рыболовства. Прямо на север от современного Пекина гряда лесистых гор представляла собой отчетливую линию между собственно Китаем, пустыней Гоби и Монголией, причем экология последних была далеко не такой смешанной, как в пограничных зонах на дальнем востоке и дальнем западе. Но в западной части центра северного Китая территория плавно переходила в степь через Ордос, район, очерченный и орошенный северной петлей Желтой реки, которая допускала и оседлый земледельческий, и кочевой скотоводческий уклады жизни.

Однако примерно в 1500 году до н.э. климатические изменения иссушили просторы Монгольского плато (два миллиона семьсот тысяч квадратных километров), превратив их в травянистые степи пустыни Гоби. Это, в совокупности с общей тенденцией к усилению разделения способов производства, решительно сдвинуло там фокус жизни с оседлости и земледелия к скотоводству и кочевничеству, создав разрыв шириной в целый мир со строго управляемым, плотно заселенным и возделанным северным Китаем. Неспособные прокормить себя непосредственно с плохо орошаемых угодий, монголы занялись пастбищным хозяйством (особенно коневодством и овцеводством) и охотой. Такие перемены требовали дополнительной мобильности ввиду сезонного истощения пастбищ и особого искусства управления лошадью, чтобы следить за пасущимися на свободе животными. Кочевые обитатели степей ездили на коренастых выносливых лошадях Пржевальского, вооруженные небольшими легкими луками, являвшимися идеальным оружием для использования в седле, и жили главным образом за счет своих стад. Они искусно готовили еду, шили одежду и мастерили

необходимые в быту вещи, но были некоторые вещи — в основном зерно, металл и желанные предметы роскоши, например шелк, — которые можно было получить только у южных, китайских соседей либо по согласию (торговля), либо силой (набеги и грабеж).

В начале первого тысячелетия до н.э. мирное равновесие между двумя способами существования — оседлым земледелием и кочевым скотоводством — начало все более раскачиваться. Главной ареной конфронтации (а в грядущие столетия и стеностроительства) между оседлыми и кочевыми народами стал Ордос, зажатый между собственно степью и равнинами Китая. Данный район исследовал американский географ по имени Джордж Б. Кресси в 1920-х годах, в десятилетие царившего в Китае хаоса. Его наезды совпали с расцветом местных милитаристов, с периодом, когда тамошняя власть и подчиненность меняли направление так же легко, как пески пустынь, которые он наносил на карту. Работу Кресси неоднократно тормозили бродячие солдаты, как-то раз ему даже пришлось убежать от преследования банды из двухсот человек (несмотря на его собственный эскорт из тридцати шести конников). Однако во время более мирных интерлюдий Кресси смог обнаружить, что большая часть района представляет собой «сухую, безлюдную равнину... негостеприимную пустыню» с температурными пиками (летом до ста градусов по Фаренгейту, а зимой до минус сорока), покрытую «движущимися песками, которые удерживаются то тут, то там низкорослым кустарником или похожей на проволоку травой... где природа почти ничего не предлагает человеку и очень скупно уступает ему это почти ничего». Кресси находил, что почти повсюду «поверхность Ордоса... состоит из подвижных песков... желтовато-коричневатого цвета... При движении песка в воздух поднимается громадное количество мелких частиц», наполняя воздух характерной «желтой дымкой», переносимой из Ордоса и рассыпающейся по прилегающим районам «словно из гигант-

ского сита». Из пятидесяти восьми летних дней, проведенных в Ордосе, Кресси только пять раз видел дождь. Но в любом случае, сообщал он, «воздух может испытывать такую жажду, что любой дождь испаряется, не долетая до земли». Но в других местах, отмечал Кресси, особенно в низменных бассейнах и там, где вода подходит близко к поверхности, «естественная растительность... покрывает практически всю землю. Низкорастущие травы дают кое-какую пищу для животных и делают этот район более пригодным и для кочевников, и для земледельцев». Ордос, стратегически важный именно из-за своего пограничного положения между двумя типами общества, а также из-за имеющихся здесь земель, пригодных и для скотоводства, и для земледелия, предоставлял, таким образом, экономическую основу господства над степью либо со стороны кочевников, либо со стороны китайцев.

Первые крупные стычки, упоминающиеся в китайских источниках, датируются XIX веком до н.э. В стихотворной форме сообщается о том, как северное племя, сяньюнь, совершило нападение в самом сердце владений Чжоу на расположенную в северо-западном Китае столицу (немного восточнее нынешнего Сианя):

В шестом месяце кругом царили переполох и волнение.  
Стояли в готовности боевые колесницы...  
Сяньюнь были в огромном числе,  
Нельзя было терять времени.  
Правитель приказал идти в поход,  
Чтобы спасти земли царства.

В ходе одной из кампаний армия Чжоу «нанесла сяньюнь решительное поражение / И снискала великий почет... / Мы гнали сяньюнь / До самой Великой равнины». Но не было и ощущения долговременной безопасности: «У нас не будет времени на отдых / Из-за сяньюнь... Да, мы всегда должны быть начеку, — предостерегает стихотворение, —

сяньюнь неистовы в атаке». Скорость, приписанная нападению врага, заставляет предположить: скорее всего это первое в истории появление стремительных конных воинов-кочевников, которые будут тревожить границы Китая все следующие тысячелетия. Что вдруг произошло в отношениях, которые, по крайней мере теоретически, следующие три тысячи лет могли регулироваться мирно, посредством торговли и дипломатии, а не разорительными войнами и стенами?

Так как китайцы всегда были более прилежны в записях, чем кочевники, именно их версия событий подтверждает точку зрения о конфронтации между оседлым и кочевым населением. В китайских источниках кочевников всегда изображают в виде алчных, агрессивных орд, устраивающих страшные набеги на миролюбивых китайцев. Китайские источники полны ругательных описаний хищных варваров-кочевников с севера: «птицы и звери», «волки, не заслуживающие снисхождения»; нелюди, «жадные до наживы, у них человеческие лица, но звериные сердца». Живут они в «болотах и соляных пустынях, непригодных для людей». Вера китайцев в то, что их соседи некитайцы не лучше зверей, глубоко проникла в письменный язык: иероглифы, обозначающие племена к северу (ди) и югу (мань) от центральной лессовой равнины, содержат графемы, изображающие соответственно собак и червей. Северные племена, презрительно сообщается в одном из китайских комментариев VII века до н.э., лишены музыкального слуха, не различают цветов и являются коварными злодеями — другими словами, полные варвары.

Китайцы вовсе не одиноки в своем ужасе перед кочевниками. С тех пор как скифы, стремительные разрушители Ассирийской империи, в начале первого тысячелетия до н.э. потрясли до основания классический мир, Западная Европа, как и китайцы, не жалела сил для демонизации конных «варваров» на собственных границах: гуннов («их можно легко назвать самыми ужасными из всех воинов» — Амми-

ан Марцеллин, примерно 390 год); аваров (их «жизнь — война» — Теодорос Синкелл, примерно 626 год), венгерских татар («которые живут скорее как дикие звери, чем человеческие существа» — аббат Регино, примерно 889 год). Естественно, пожары и грабежи, устроенные в XIII веке Чингисханом по всей Азии и Европе, самым знаменитым кочевником во всемирной истории, едва ли можно назвать хорошей рекламой миролюбия обитателей монгольских степей. К тому же определенная тенденция к агрессии неотделима от кочевого, неоседлого, связанного со скитаниями образа жизни. И в самом деле, за многие века война и военная дисциплина стали столь важной составляющей существования кочевых племен Внутренней Азии, что ни в тюркских, ни в монгольском языках нет самостоятельных, оригинальных терминов для обозначения солдата, войны или мира (для сравнения: в распоряжении авторов старинных китайских записей имелось семь различных определений для обозначения пограничных набегов).

Как бы там ни было, мы не должны буквально принимать китайские характеристики их северных соседей как ненасытно жестоких варваров-захватчиков. Китайские предубеждения против северян прямо происходят из категорически китаецентристского мировоззрения, возникшего, как и идея самого Китая, во втором-первом тысячелетиях до н.э. Как преподносит китайская географическая традиция, Китай — весь мир целиком, каким он был известен его обитателям, — делился на концентрические зоны: внутренние управлялись непосредственно китайским правителем, внешние заняли подчиненные варвары. Хотя идея, что Китай занимает центр цивилизованного мира, полностью выкристаллизовалась и была официально принята только в период династии Хань (206 год до н.э. — 220 год), еще в эпоху Шан китайское государство начало изобретать дипломатический протокол, определявший международные связи Китая вплоть до XIX века: данническую систему, выставляв-



шую все внешние зоны объектами вассальной зависимости, обязанными почитать китайского правителя. Представление о том, будто мир вертится вокруг Китая, сохраняется и сегодня в китайском языке, где слово, обозначающее Китай, Чжунго, буквально переводится как «Серединное царство».

Высококультурное чувство собственного достоинства Китая вылилось в естественную тенденцию смотреть на не-китайские северные племена как на политически и социально недоразвитые, как на не совсем людей и, уж конечно, как на недостойных быть торговыми партнерами или объектами дипломатии. И если китайские правители слишком презрительно относились к кочевникам, чтобы задумываться о соглашениях или торговле с ними, то кочевникам не оставалось выбора, кроме как брать нужные им вещи путем набегов.

Кроме того, имеется достаточно материала для предположения, что до первого тысячелетия до н.э. китайские государства не только с пренебрежением относились к северным соседям и что обитатели приграничных территорий скорее были жертвами китайской агрессии, чем агрессорами. Примерно до 1000 года до н.э. археологические находки, касавшиеся народов, проживавших вокруг зоны Великой стены, не кажутся особо воинственными. Археологи обнаружили следы вполне развитой скотоводческой, овцеводческой культуры, оставившей после себя расписную керамику, ритуальные сосуды и нефритовые вещи. В могилах, раскопанных в Центральной Азии, нет оружия: жизнь явно не диктовала необходимости снабжать умершего оружием для прохода в другой мир. Во времена Шан северные варвары, похоже, больше страдали от рук китайцев, чем наоборот. Шан вели непрерывную войну на границе, некитайцев они называли «цян», охотились на них, брали в плен и использовали для человеческих жертвоприношений (до пяти-сот человек за один раз) и в качестве рабов.

Китай имеет значительно более впечатляющую историю завоеваний и экспансии, чем его кочевые соседи. Со своей изначальной территории в нынешнем северном Китае ки-

тайское государство расширилось, колонизируя поросший джунглями юг страны. История большей части территорий южнее реки Янцзы между первым тысячелетием до н.э. и первым тысячелетием н.э. является историей колонизации туземных районов ханьскими китайцами, пришедшими из северных провинций страны. У кочевых племен, в отличие от китайцев, не так часто появлялись амбиции к завоеваниям. Те военачальники-кочевники, которые становились правителями целых частей Китая, были скорее исключением, чем правилом. Захват Китая самыми печально известными из них, монголами под руководством Чингисхана и его потомками, скорее, следствие чрезмерно раздутой по масштабам экспедиции с целью грабежа, чем рассчитанный империалистический замысел.

Но кто бы ни был главным агрессором — северные племена, жадные до китайских товаров, или китайцы, алчущие иностранных вассалов, — ясно: китайские правители и их армии не могли ни победить северян военными средствами, ни предложить компромиссы или переговоры. Итак, в IX веке до н.э., как следует из стихотворения, написанного двумя столетиями позже, китайцы впервые обратились к политике, которая будет оставаться успокаивающим, хоть и контрпродуктивным — последним на следующие две тысячи лет — средством: строительству стен.

Правитель приказал [своему генералу] Нань Чжуну  
Идти и построить стену в том районе.  
Как велико было число его колесниц!  
Как прекрасны были его знамена с драконами,  
черепашками и змеями!

Сын Неба приказал нам  
Построить стену в том северном районе,  
Охвачен благоговейным трепетом был Нань Чжун;  
Сяньюнь уж точно будут уничтожены!

Воинственная речь, но также замечательны последние слова: хотя царство Чжоу номинально существовало до 256

года до н.э., непрерывные опустошительные набеги с севера (племен сяньюнь, жун, ди) заставили правителей Чжоу покинуть их северо-западную столицу в 771 году до н.э. и, в сущности, примерно в то же время стали причиной краха Чжоу как реально правящего дома. Захватчикам помогла глупость правителя Чжоу, временами развлекавшего себя и любимую супругу зажиганием огней на столичных сигнальных башнях (построенных для того, чтобы созывать в столицу знать в случае нападения варваров) и веселившегося при виде их испуганных лиц, когда те прибежали во дворец и не находили поблизости ни одного варвара. Когда варвары в конце концов действительно пришли, военачальники, конечно же, не обратили внимания на огни на сигнальных башнях, а — полагая, что это очередной розыгрыш, — остались дома и, несомненно, ворчали по поводу чувства юмора правителя, пока столица подвергалась разграблению. Печальный урок первого комплекса укреплений остался пустым звуком для китайцев, продолживших строить еще большие по размерам, еще более дорогие, но в конечном счете совершенно бесполезные стены все последующие две тысячи лет.

После заката Чжоу китайская империя раскололась на несколько малых государств, самые крупные из которых — Цинь к западу, Вэй, Чжао и Янь к северу и северо-востоку и Чу к югу — соперничали между собой за верховенство все время вплоть до и в течение эпохи Воюющих Царств (481—221 годы до н.э.), названной так из-за того, что царства находились между собой в состоянии практически перманентной войны. Когда китайские государства не воевали между собой, то боролись с растущими в числе нападениями северных соседей. Самым серьезным из них оказался едва не повлекший гибель царства Вэй в 660 году до н.э. удар со стороны племени ди, когда была почти полностью уничтожена вся вэйская армия, столица подверглась опустошению, а в живых остались лишь семьсот тридцать жителей. Китайцы

отвечали яростно и жестоко (как-то много северян-некитайцев было забито насмерть медными черпаками), ослабляя ди и жун и честными, и нечестными методами: ложными капитуляциями, раздуванием интриг между некитайскими советниками и правителями и нарушением соглашений в удобный для себя момент.

Однако китайцы в конечном счете стали жертвами собственных успехов. Хотя и будучи беспокойными, племена ди и жун — в основном, как теперь полагают, занимавшиеся сельским пастушеством и жившие в горах — составляли плотно населенный барьер (в современных Шаньси, Шэньси и Хэбэе) между северным Китаем и Монголией, отделявший Китай от располагавшихся еще севернее чисто кочевых племен. Уничтожение китайцами ди и жун примерно в середине тысячелетия устранило эту буферную зону и привело китайцев к непосредственному контакту с конными воинами собственно монгольских степей как раз тогда, когда уклад жизни в степях становился еще более кочевым и воинственным. В VII веке до н.э. центральноазиатских воинов начали хоронить с их конями и оружием. В одной из могил археологи обнаружили бронзовый наконечник стрелы, все еще торчавший в колене скелета.

Стратегические императивы, возникшие в связи с новым соседством кочевников — для обозначения которых в китайских источниках в 457 году до н.э. появился новый термин, «ху», — имели два главных следствия для образа жизни китайцев: включение военных приемов кочевников (и самих воинов-кочевников) в китайскую технику ведения войны и строительство таких больших стен, каких в Китае до сих пор не видели.

В 307 году до н.э. — в разгар эпохи Воюющих Царств — правитель северного государства Чжао, Улин, при своем дворе завел спор о моде: следует ли верхнюю одежду застегивать налево или вниз до середины? За этим, казалось бы, незначительным и безобидным вопросом стиля стояла

проблема огромной политической и культурной значимости. Правитель Улин планировал заменить традиционные китайские халаты на куртки кочевников с боковыми застежками, а китайских аристократов на колесницах — конными лучниками. В обсуждавшейся перемене одежды заключалась революция в мировоззрении: признание военного превосходства кочевников и необходимости бороться с ними на их условиях. «Я предлагаю, — объявил правитель Улин, — перенять верховую одежду кочевников ху и буду учить мой народ стрелять из лука с седла, — и как заговорит мир!»

Консервативные в культурном отношении советники правителя яростно выступали против отказа от высоких основ китайской культуры: «Я слышал, как Серединные царства называли обителью мудрости и учености, — поучал дядя правителя, — местом, где создано все необходимое для жизни, где царствуют праведники и мудрецы, гуманизм и справедливость... Но теперь правитель намерен отринуть все это и облачиться в иностранную одежду. Пусть он как следует подумает, так как он меняет то, чему учили наши древние, сворачивает с пути прежних времен, идет против помыслов своего народа, обижает ученых, прекращая при этом быть частью Серединных царств». Тем не менее прагматизм, а также политическая и военная необходимость победили: как указывал хитрый советник правителя, Фэй И, «кто много сомневается, тот мало добивается». Чжао окружали опасные противники: государство Янь и варвары ху на севере, Цинь на западе. Конные лучники, втолковывал Улин своему родственнику, важны для того, чтобы отвратить нападение и поражение: «Мой дядя раздувает комара отхода от традиций в одежде, однако не видит слона унижений своей страны». Отбившись таким образом от критиков, правитель «затем, одевшись в одежду варваров, повел своих всадников против ху... вышел на просторы их земель и открыл тысячи ли территорий».

Как бы это ни было неприятно и унижительно, признание культурных и военных реалий северных границ и при-

способление к ним стало важнейшим фактором существования китайских государств. Несмотря на возражения традиционалистов, стремительные конные лучники вскоре вытеснили военное использование колесниц старой чжаоской аристократии. И именно те государства, которые быстрее других воспринимали новшества, оказывались победителями в войнах между царствами, сотрясавших вторую половину тысячелетия. Нововведения Чжао настолько успешно скопировало северо-западное государство Цинь, что ему примерно в 260 году до н.э. фактически удалось сокрушить Чжао. Уничтожение государства Чжао, наиболее опасного политического соперника Цинь, в 221 году до н.э. открыло дорогу к завоеванию остального Китая, к объединению, ставшему прообразом политического единства Китая, существующему по сей день.

Пример культурного прагматизма правителя Улина не заставил китайские государства отказаться от более традиционного для китайцев решения пограничных проблем: строительства стен. С середины VII века до н.э. государства Цинь, Вэй, Чжао, Янь, Чу и Ци начали возводить по всему Китаю сеть стен — некоторые в самом сердце основной территории — для противостояния внешней угрозе как со стороны других царств, так и со стороны степи. Стеностроительство стало настолько общепринятым, что даже сами северяне-некитайцы начали следовать старой и изящной китайской моде: через какое-то время после 453 года до н.э. варвары ицзю из района Ордоса построили двойную стену в качестве защиты от самых северных китайских государств, и против Цинь в особенности.

Однако нас здесь больше всего интересуют стены, построенные для защиты северной границы: циньская, чжаоская и яньская стены возникли примерно в один и тот же исторический период — в конце IV века до н.э. Циньская стена возводилась в условиях неистовства постельной дипломатии и сплошного лицемерия. Во время правления

Чжаосяна (306—251 годы до н.э.) вдовствующая царица Сюань соблазнила правителя варваров ицзю и родила от него двух сыновей. Не обремененная сентиментальностью, она позднее «обманула и умертвила его во Дворце Сладких Источников и в конечном итоге собрала армию и отправила ее в поход на разграбление земель ицзю». Этот раунд завоеваний Цинь принес им территорию, протянувшуюся от Ганьсу на дальнем северо-западе до восточной части района Ордоса, находящегося в петле Желтой реки. Стремясь защитить новые приобретения, царство Цинь «строило длинные стены для обороны против варваров».

Во время царствования правителя Чжао (311—279 годы до н.э.) государство Янь расширилось на северо-восток, в направлении района, который будет известен как Маньчжурия, отбросило восточных ху на «тысячу ли» и «построило длинную стену... чтобы защититься от кочевников». Царство Чжао под руководством любителя кавалерии, правителя Улина (325—299 годы до н.э.), тоже построило двойной, почти параллельный комплект стен: короткое укрепление северо-западнее Пекина, затем чуть более протяженную стену — севернее, — вклинивающуюся в Монголию.

Технология при строительстве этих ранних стен не сильно изменилась со времен применения метода трамбовки земли, выработанного во втором и третьем тысячелетиях до н.э. Хоть и не будучи столь прочными, как сооружения из кирпича, некоторые из этих стен фрагментами дожили до сегодняшнего дня: в Хэнани непритязательные укрепления из плотно уложенного камня и земли указывают пограничную линию, отделявшую большое южное государство Чу от северных соседей; в Шаньдуне прерывистая линия обломков змеится по каменистым холмам; в Шаньси лишь запущенные земляные валы — местами шести метров высотой и восьми метров шириной, — поросшие низкорослыми деревьями и травой, остались от стены, возведенной царством Вэй в тщетной попытке защититься от агрессивного Цинь. Раз-

валины чжаоской стены, поднимающиеся вдоль одной из дорог во Внутренней Монголии, на первый взгляд едва выделяются на местном рельефе, только при внимательном рассмотрении видны плотные слои их искусственной кладки. Усмотреть яньскую стену — современный Хэбэй — в траве по обоим скатам, которые давным-давно считаются внешней стороной земляных укреплений, может оказаться не менее сложной задачей. Эти стены, где только возможно, использовали естественный рельеф местности — обрывы, ущелья и узкие овраги. Одной из вероятных причин того, что остатки, скажем, циньской стены, которая тянется на тысячу семьсот пятьдесят пять километров через северо-западный Китай до Внутренней Монголии, настолько фрагментарны, является то, что они никогда не составляли непрерывную линию: в горной местности, обеспечивавшей защитникам естественные преимущества, единственными нужными из рукотворных сооружений могли быть редкие наблюдательные посты или короткие отрезки стены для блокирования перевалов. Линия циньской стены повторяет рельеф района, ее изгибы и повороты продиктованы необходимостью удерживать высоты, которые легче оборонять. Там, где местность была более плоской и небогатой естественными преградами и где требовалось особое искусство, чтобы задерживать противника, строились укрепления из земли и камня, по возможности на покатой местности, с целью поднять внутреннюю сторону над внешней. И равномерно, и неравномерно расположенные насыпи — от трех до четырех на каждом километре — обнаружены разбросанными вдоль сохранившихся стен: вероятно, это бывшие платформы, башни и наблюдательные посты. Внутри стены археологи нашли каменные выгородки, чья площадь порой доходила до десяти тысяч метров — скорее всего это цитадели и форты, — а также следы проходивших поблизости дорог, наводящие на мысль о массивном военном присутствии и об организационных усилиях по обеспечению людьми и провизией тысячи километров стен периода Воюющих Царств.



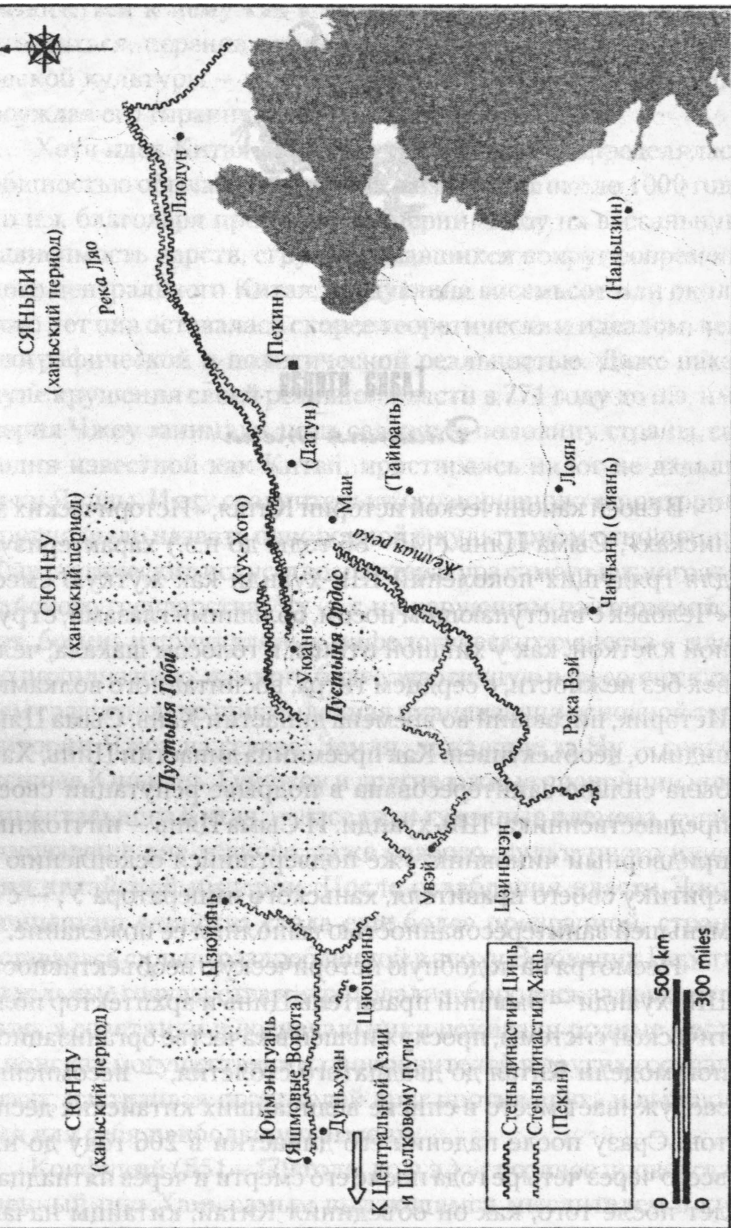
Учитывая, как заявляют источники, что основным мотивом стеностроительства являлась «охрана» или «защита от варваров», любопытно то, насколько далеко эти северные стены отстоят от обрабатываемых земель и как близко к собственно степи — в некоторых случаях они далеко вклиниваются в территорию современной Монголии (к югу от рубежа, отмеченного яньскими стенами, например, археологи нашли явно некитайские предметы — конскую сбрую, украшенные в зверином стиле пластины, — которые принадлежали ранним культурам пастухов-кочевников, обнаруженным в северном Китае и Монголии). Действительно, расположение стен оставляет ощущение, будто предназначались они не для защиты Китая. Вероятнее всего, с их помощью занимали зарубежные территории, сгоняли кочевое население с его земли и облегчали размещение военных постов, призванных контролировать перемещение людей по данным районам. Правитель Улин, первым начавший применение кавалерии, невольно поставил китайцев в зависимость от кочевников в плане получения конского состава. Единственным путем избежать унижительной зависимости от торговли с презренными северянами предположительно оставался захват их районов производства и контроль над ними.

Ничто из этого не ставит кочевников в положение невинных жертв в тысячелетней конфронтации между Китаем и степью, но все же по крайней мере предлагает нам вновь немного подумать над тем, как тысячелетиями их демонизировали и в Китае, и на Западе. Традиционно китайцы всегда выступают потерпевшей стороной, которую терроризируют злые гунны, живущие за линией Великой стены. Но если первые рубежные стены, предвестники более двух тысяч лет вражды и строительства стен между Китаем и степью, предназначались для экспансии, а не для защиты Китая, они выявляют прежде игнорировавшийся факт в истории стены: агрессивный, жадный китайский империализм. Вышесказанное, конечно, не означает, что мы должны оп-

равдывать две тысячи лет набегов кочевников как упражнение для преодоления колониальной травмы. От этого Чингисхан не становится вызывающим сколько-нибудь большее сочувствие историческим персонажем или желанным соседом, но упрощенная картинка китайской пропаганды, впервые нарисованная в первом тысячелетии до н.э., на которой невинные китайские земледельцы защищаются от жадных грабителей-кочевников, меняется. Еще это показывает, что стены не всегда бывают оборонительными: постройте их в центре вновь покоренной и оккупированной территории, и они станут опорой для экспансионизма и колониализма.

Какими бы ни были политические и военные мотивы строительства стен в эпоху Воюющих Царств, они в скором времени показали всю свою стратегическую бесполезность практически для всех государств, их возводивших. Если, с одной стороны, стеностроительство приводилось в движение китайским империализмом, а не просто оборонительными соображениями, то чистый дипломатический результат состоялся в сплочении раздробленных кочевых племен в единую противостоящую силу — сюнну, — которая будет тревожить северные границы Китая следующие пять или шесть веков. Если, с другой стороны, стены *действительно были* оборонительными по своей природе, то их несостоятельность еще более очевидна. Как грядущие столетия будут раз за разом демонстрировать, рубежные стены оказались ничтожной преградой для захватнических, полуварварских орд с севера — а конкретно в данный исторический момент для армий северо-западного государства Цинь, которые на своем пути к объединению Китая в 221 году до н.э. под управлением Цинь Ши-хуанди (259—210 годы до н.э.) преодолевали, обходили или проламывали любой из оборонительных рубежей между государствами. Однако граница, установленная этими рубежами, определила зону конфронтации, в ходе которой в грядущие два тысячелетия будут строиться стены и вестись пограничные сражения.

Карта № 2. Стеностроительство: династии Цинь и Хань (221 г. до н.э. — 220 г.)





## Глава вторая

### *Олишная стена*

В своей канонической истории Китая, «Исторических записках», Сыма Цянь (145—86 годы до н.э.) характеризует для грядущих поколений Ши-хуанди как жуткую смесь: «Человек с выступающим носом, большими глазами, с грудной клеткой, как у хищной птицы, и голосом шакала; человек без нежности, с сердцем тигра, воспитанного волками». Историк, писавший во времена династии Хань, Сыма Цянь, видимо, необъективен. Как преемница династии Цинь, Хань была сильно заинтересована в подрыве репутации своего предшественника, Ши-хуанди. И Сыма Цянь — ничтожный придворный чиновник, уже подвергшийся оскотлению за критику своего правителя, ханьского императора У, — с меньшей заинтересованностью выполнил ее пожелание.

Несмотря на подобную историческую необъективность, Ши-хуанди — бывший правитель Цинь и архитектор политической системы, прослужившей в качестве организационной модели Китая до двадцатого столетия, — несомненно, заслуживает место в списке величайших китайских деспотов. Сразу после падения его династии в 206 году до н.э., всего через четыре года после его смерти и через пятнадцать лет после того, как он объединил Китай, китайцы начали

относиться к нему как к родителю, которого приходится стесняться, переняв от него главные черты своей политической культуры — включая Длинную стену, — и при этом осуждая его тиранические наклонности.

Хотя идея Китая как культурного целого определялась общностью обычаев и ритуалов, возникших около 1000 года до н.э. благодаря претензии империи Чжоу на вассальную зависимость царств, сгруппировавшихся вокруг современного центрального Китая, следующие восемьсот или около того лет она оставалась скорее теоретическим идеалом, чем географической и политической реальностью. Даже накануне крушения своей реальной власти в 771 году до н.э. империя Чжоу занимала лишь северную половину страны, сегодня известной как Китай, простираясь на юг не дальше реки Янцзы. И эту сравнительно ограниченную территорию трудно было назвать однородной в культурном отношении. Фантастическое искусство и литература самого южного китайского государства, Чу — с их чарующим пантеоном богов, богинь и причудливых мифологических существ — явило цивилизацию, намного более экзотичную и феерическую, чем сравнительно приземленная цивилизация основной территории Чжоу на севере. Земли, лежавшие за Чу — современные Юньнань, Гуйчжоу и другие южные провинции континентального Китая, — населяли туземные племена, существовавшие вне всякого, даже слабого, культурного влияния китайской империи. После ослабления власти Чжоу концепция единства стала еще более призрачной, страна оставалась сильно раздробленной в эпоху Воюющих Царств: отдельные государства интриговали и боролись за верховенство, а советники и военачальники покидали родные места в поисках могущественных покровителей в других государствах, настраивая правителей друг против друга и выискивая для себя наибольшую выгоду.

Конфуций (551—479 годы до н.э.) — позднее провозглашенный при Хань самым выдающимся мыслителем в ки-

тайской империи — был в значительной мере человеком своей эпохи (ранний период эпохи Воюющих Царств). Хотя его философия призывала к политическому единению, его карьера — череда переездов из государства в государство в поисках политической должности, которую он, по его мнению, заслуживал, — добросовестно воспроизводила разобщенность, царившую в то время. Ностальгируя по давно утраченной мифической идее единого Китая и добродетели, взлелеянной династией Чжоу, Конфуций надеялся положить конец конфронтации и раздробленности своей эпохи путем возрождения морали. Если каждый будет поступать (конфуцианство едва ли признает существование женщины как общественного субъекта) гуманно и доброжелательно, полагал он, страна будет мирно объединена. Общественной нормой, делавшей предписания Конфуция применимыми, было правильное исполнение ритуала, который в широком смысле расписывал все формы публичного и личного поведения: отбивание поклонов, траур по родителям, ношение правильного цвета отворотов, исполнение правильного вида музыки, поклонение правильной горе, наем правильного количества танцовщиц и так далее и тому подобное. Великое популяризирующее новаторство Конфуция состояло в том, что он перенес свою политическую философию на легкоусвояемую, понятную аналогию с отношениями в семье. Конфуций ставил знак равенства между отношениями отцов и сыновей и отношениями между правителем и подданными. Добродетельные отцы и сыновья, развивал он свою логику, становятся добродетельными правителями и подданными; добродетельные правители и подчиненные вернут Китай к нужному состоянию мирного, процветающего государства. Ухаживай за своим домашним садом, учил он, и страна будет процветать; выполняй как положено свою общественную роль, и все остальное гармонично встанет на свои места.

При жизни Конфуция его план объединения Китая эпохи Воюющих Царств — мира беспринципных правителей,

амбициозных корыстолюбцев, безжалостных военачальников и интриганов-министров — путем обучения сыновей послушанию, регулирования цвета отворотов и подсчета танцовщиц ни к чему не привел. За всю жизнь так и не сумев убедить ни одного правителя назначить его на влиятельный министерский пост, позволивший бы ему реализовать свои идеи на практике, он умер бедняком, без должности и забытый всеми, кроме собственных учеников. Вместо этого потребовались неустанные усилия шакала-коршуна-тиграволка с «варварской» северо-западной границы — Ши-хуанди, — чтобы сложить фрагменты китайского государства: того, кто не побоялся уничтожить сотни тысяч людей по пути к императорскому трону. И когда он достиг своей цели, Китай в основном приобрел свои очертания — и внутри и вовне. Циньский император унифицировал политические институты Китая, соединил разные концы страны сетью дорог, дал этимологическую основу, из которой позже были выведены западные названия его империи (*China, Chine* и т.д.), и построил первую единую Длинную стену.

До завоевания всего китайского мира государство Цинь находилось примерно в границах современной северо-западной провинции Шаньси. Гранича с племенами жун и ди на западе и севере, оно подвергалось сильному влиянию со стороны некитайских соседей. Позднее циньские правители постарались выдать своему прошлому строго китайские метрики, заявив, будто основатель государства был рожден внучкой далекого потомка Желтого императора, после того как она проглотила яйцо черной птицы. Менее романтическая, но более достоверная версия ранней истории Цинь говорит: основатель династии являлся вождем племени, специализировавшегося на варварском искусстве коневодства, которому правитель Чжоу в 897 году до н.э. даровал крошечный удел, чтобы разводить для него коней. В 256 году до н.э. его дар обернулся исторической ошибкой огромного масштаба,

когда династия Цинь разгромила и поглотила хиреющий дом Чжоу.

В течение всей дообъединительной истории государство Цинь отстраивало свою политическую и военную машину в войнах и интригах с жун и ди и в результате превратилось в глазах менее удачливых из воюющих государств в определенно варварское и «некитайское». «В Цинь те же обычаи, что и у жун и ди, — сообщал один из представителей знати царства Вэй своему правителю в 266 году до н.э. — В нем ничего не известно о традиционных манерах, правильных взаимоотношениях и добродетельном поведении». Хуже того: люди там даже не исполняли цивилизованную музыку — по учению Конфуция, важная составляющая базовых правил добропорядочности. «Удары руками по глиняным кувшинам, притопывание... и хлопанье по бедрам с пением и криками «У-у! У-у!», — брюзжал Ли Сы, будущий канцлер империи Цинь, — такой в действительности была музыка государства Цинь». Вместо того чтобы совершенствоваться в утонченных искусствах китайцев, династия Цинь предпочла специализироваться в мастерстве боевых глупостей. Государь У, правивший за несколько поколений до Ши-хуанди, умер в 307 году до н.э. от повреждений, полученных во время состязания по поднятию трехногих бронзовых сосудов. Сыма Цянь лаконично упоминает: за двадцать пять лет, предшествовавших восхождению Ши-хуанди на циньский трон в 247 году до н.э., армии Цинь уничтожили в войне до семисот пятидесяти шести тысяч солдат и мирных жителей других царств. Приведенные им потери за 364—234 годы до н.э. составляют поразительную цифру в полтора миллиона человек, в настоящее время являющуюся предметом споров среди историков.

В течение всей своей жизни Ши-хуанди демонстрировал склонность к варварству, которую не могли объяснить даже его дикари-предки. В дополнение к громадным жертвам в ходе его дообъединительных военных кампаний Ши-



хуанди сгноил сотни тысяч китайцев на монументальных общественных стройках: дорог, каналов, дворцовых комплексов, стен. Примерно семьсот тысяч осужденных к принудительным работам согнали только на строительство его мавзолея и могилы (к нему он приступил, став правителем Цинь, будучи в возрасте тринадцати лет, а для завершения строительства потребовалось почти сорок лет). Многие из этих несчастных были убиты, как только работы завершились, с целью сохранить в тайне место и содержимое могилы. В самом деле, ликвидацию строителей осуществили столь тщательно, что указание на расположение мавзолея отсутствовало в исторических анналах до тех пор, пока группка китайских крестьян в 1974 году, копая колодцы в тридцати километрах к востоку от современного города Сиань, не извлекла из земли несколько глиняных рук и ног. В ходе дальнейших изысканий были обнаружены три огромные полосы — крупнейшая составляла двенадцать с половиной тысяч квадратных метров, — в каждой из которых находились тысячи поломанных фигур солдат, лошадей и колесниц: известные сегодня на весь мир терракотовые воины.

С самых давних времен китайцы представляли загробное существование по многим важным параметрам похожим на земную жизнь. Они всегда старались по возможности сделать так, чтобы их хоронили вместе с вещами (либо с реальными, либо с макетами), которые они считали для себя полезными в этой жизни и потому ожидали, что они понадобятся и в следующей. Количество солдат (по оценкам, восемь тысяч; не все фрагменты пока собраны воедино), которых Ши-хуанди пожелал взять с собой, красноречиво говорит о многочисленной охране, окружавшей его при жизни, и о масштабах его планов по строительству империи. Кроме того, полости с терракотовыми воинами — всего лишь внешние, буферные помещения мавзолея. Саму же могилу, обещающую явить несметные сокровища, еще никогда полностью не открывали (археологи хотят быть уверенными,

что техника консервации позволит защитить скрытое внутри, ведь оказавшись открытыми для доступа воздуха, оригинальные яркие краски, которыми были раскрашены терракотовые воины, поблекли в считанные минуты). Нашим главным гидом в отношении содержимого могилы является Сыма Цянь, описывающий ее как снабженную хитроумными ловушками пещеру Аладдина, замкнутую в бронзовые стены и полную редких и ценных диковинок. «Были созданы и механически циркулировали заполненные ртутью водные артерии империи, Янцзы и Желтая реки и даже сам великий океан... Лампы были заправлены китовым маслом, чтобы они могли гореть всегда, не потухая». Наконец, в качестве меры безопасности мастерам «было приказано установить самострелы с механическим спуском, чтобы поразить всякого незваного гостя».

Когда Ши-хуанди не строил, он разрушал — и столь же масштабно. После завершения завоеваний он разоружил всю империю и переплавил все конфискованное оружие в бронзовые колокола и статуи. Однако актом вандализма, положившим реальное основание его будущей репутации злодея, стало сожжение книг и избиение ученых. Впав в ярость в ответ на просьбу к императору некоего конфуцианского ученого воссоздать правителей и наследственные уделы и, таким образом, демонтировать недавно объединенную централизованную Циньскую империю, император приказал сжечь все имеющиеся экземпляры конфуцианской классики истории, поэзии, философии и «казнить на базаре» всякого, кто обсуждал эти работы. Единственными книгами, уцелевшими после яростной интеллектуальной чистки, оказались манускрипты по «медицине, гаданиям и овощеводству».

Политическим орудием, позволившим Ши-хуанди дать волю своей мании контролировать все и вся, был легизм, рационалистическая, утилитаристская школа философии, обосновавшая основные характеристики более позднего государственного строительства в Китае: централизованная

бюрократия и унифицированная система правосудия. В отличие от Конфуция, считавшего, будто люди в основе своей добродетельны и редко нуждаются в том, чтобы их убеждали являть врожденную доброжелательность, легисты стояли на том, что люди по сути своей злонамеренны и могут содержаться в рамках только посредством законов. Вдохновителем легизма следует считать главного министра государства Цинь по имени Шан Ян, жившего в IV веке до н.э. и сделавшего так, чтобы каждую семью включили в реестр (облегчив тем самым сбор налогов, набор на воинскую службу и тяжкие работы) и поставили под надзор централизованно назначаемого судьи. Все население поделили на группы по десять и пять человек, при этом каждый член каждой группы должен был докладывать о преступной деятельности других членов. В свою очередь, за проступки следовало жестокое наказание, «применимое в равной степени к великим и могущественным». Всякий, кто не сообщит о преступлении, совершенном членом его или ее группы, «будет перерублен надвое в поясе». Сам Шан Ян кончил плохо, став жертвой собственного успеха: после того как закон беспристрастно применили к наставнику престолонаследника, мстительный наследник, придя к власти, подверг усердного главного министра самому жестокому из придуманных Шан Яном наказаний: его разорвали колесницами. Однако налоговые сборы и мобилизация (польза от реформ Шан Яна) помогли обеспечить армию, давшую династии Цинь возможность сокрушить ее соперников среди Воюющих Царств.

Объединив китайский мир, Ши-хуанди распространил бюрократическую формулу Шан Яна на всю империю. Несмотря на плохие отзывы, полученные Ши-хуанди от более поздних историков (его публичному имиджу не помогли несколько известных почитателей, в число которых входил Мао Цзэдун, нанесший, вероятно, самый огромный ущерб из всех правивших Китаем диктаторов), он действительно заложил основу современного единого бюрократического

китайского государства, введя стандартные деньги, меры весов, расстояний, законы и письменность, установив безжалостный полицейский контроль и подчинив крестьянство правительству. Если бы современным китайским политикам пришлось сравнить систему Цинь с их собственной, сходство, видимо, было бы обнаружить легче, чем различия. И конечно, современные китайцы счастливы гордиться еще одним вкладом Цинь в историю Китая: чанчэн, Длинной рубежной стеной, чьим строительством руководил великий циньский военачальник Мэн Тянь.

Судьба Мэн Тяня и его родственников мужского пола являла собой типичную для их времени историю успеха. Дед Мэн Тяня был одним из многих талантливых воинов и советников, которые, подобно Конфуцию, оставили родное государство, чтобы получше устроиться на службе у другого (в данном случае он переехал из Ци в Цинь). Семья умелого и безжалостного воина Мэна стала боевым псом Цинь, набрасываясь на всех, на кого приказывали наброситься — на государства Чжао, Хань, Вэй и Чу, — пока, явно не терзаясь муками преданности государству своих предков, Мэн Тянь не сокрушил царство Ци в 221 году до н.э., в год объединения империи Цинь. Раз Мэн Тянь более чем успешно прошел последний тест на лояльность, циньский император решил доверить ему самую трудную миссию: строительство рубежной стены.

Но прежде чем Ши-хуанди мог дать волю своей великой страсти — вовлечению огромных масс китайцев в масштабные проекты по строительству империи, — он позволил себе развлечься вторым своим любимым делом: разрушением. Как гласит надпись, датированная 215 годом до н.э., император начал со стен старых государств:

«Он разрушил внутренние и внешние стены городов.  
Он прорубал дамбы на реках.  
Он сравнивал с землей бастионы в горах».

Сметая стены предшественников, циньский император принялся за организацию строительства собственной стены. В записи, относящейся к 214 году до н.э., Сыма Цянь сообщает:

«После того как Цинь объединила мир, Мэн Тяня послали командовать трехсоттысячным войском, чтобы вытеснить жун и ди на севере. Он отобрал у них территорию к югу от [Желтой] реки и построил Длинную стену, устраивая в ней проходы и пропускные пункты, приспособляясь к рельефу местности. Она начиналась в Линьтао и доходила до Ляодуна, протянувшись на расстояние более десяти тысяч ли».

Ясно, что это было серьезное дело: масштабная военная экспедиция, за которой последовало строительство более четырех тысяч километров стены в экстремальных климатических условиях и часто в недоступной местности — от песчаных холмов дальнего северо-западного Китая в Линьтао (современная провинция Ганьсу), за и над петлей Желтой реки вокруг Ордоса, переходя в сухие, холодные, непригодные к земледелию степи Внутренней Монголии, до северо-восточного района Ляодун, неподалеку от Маньчжурии, где продолжительные суровые зимы едва ли отличаются климатом от монгольских степей, граничащих с ней на западе. Делая процесс строительства еще более трудным, Внутренняя Монголия и северные рубежи северных провинций Китая, Шэньси и Шаньси, угнездившиеся внутри петли Желтой реки, проходят по гористой местности на высоте двух и трех тысяч метров над уровнем моря. Соединяя все это массивное сооружение с расположенным южнее центром императорской власти, дальше к югу проложили Прямую Дорогу, тянувшуюся примерно восемьсот километров от Внутренней Монголии, пересекая Желтую реку, почти до столицы Цинь в Сяньяне, неподалеку от современного Сианя. Это была наиболее впечатлявшая часть огромной сети дорог, построенной императором Цинь руками толп мобилизован-

ных рабочих, которая по протяженности составляла более шести тысяч восьмисот километров — больше, чем шесть тысяч километров, которыми Гиббон оценивал длину дорог, построенных римлянами.

Какое отношение между тем имеет это ошеломляющее строительное достижение к сооружению, известному сегодня как Великая стена? Когда Макартни и его миссия приехали к (минской) стене в конце XVIII века, они автоматически решили — стена, которую они видят перед собой в ее современном виде, и есть легендарное двухтысячелетнее творение императора Цинь. Во время длительного расцвета популярности стены в XIX и XX веках китайские и западные историки, серьезные ученые и популяризаторы, продолжали хором повторять эту версию истории. «Стена является творением Цинь [sic]», — объявлял Уильям Гейл, написавший в 1909 году странный отчет об одиссее вдоль Великой стены. В серии карикатур 1932 года Роберт Рипли — иллюстратор-журналист, поведавший миру, будто Великая стена видна с Луны, — восторженно поддерживал ту же линию: «Один И Единственный! Ши-хуанди Китая — Тот, Кто Построил Великую стену!» Современные китайцы перед лицом жестокой материальной нищеты утешают себя тем, что превращают долгую историю своей страны в источник духовного богатства, и с радостью присоединяются к мысли о том, что их предки построили самую протяженную, самую старую и самую великую стену — из всех. В 1986 году газета «Чайна дейли» — англоязычный орган коммунистической партии — протрубила: «Стена длиной в шесть тысяч километров была построена более двух с половиной тысяч лет назад, протянувшись от прохода в приморском городе Шаньхайгуань в северо-восточном Китае до прохода Цзяюйгуань в северо-западном Китае». Мы знаем: сооружение, облицованное камнем и кирпичом, ныне известное как Великая стена, возвели в Минскую династию. Могли ли представители

династии Мин просто реконструировать или подлатать стену, уже существовавшую почти две тысячи лет?

В изложении Сыма Цянем деятельности императора Цинь есть ряд мест, не совсем соответствующих опрятно-неизменному взгляду на историю. Самая большая трудность связана с географией. Дуга стены, описываемая Сыма Цянем, проходит намного севернее линии нынешней Великой стены, которая окаймляет скорее основание, чем верхнюю часть петли Желтой реки. Цзяюйгуань (проход Приятной Долины), самый западный проход, упомянутый в «Чайна дейли», бесспорно, построен в эпоху династии Мин, правившей с 1372 года, на границе Китайского Туркестана, среди сухих серо-желтых песков возле западной границы между Ганьсу и Синьцзяном. По свидетельству Сыма Цяня, однако, западная оконечность циньской стены находилась в Ланьтао, рядом с современным Ланьчжоу, в пределах восточной части Ганьсу. Китайские строители не заходили так далеко на запад, до Цзяюйгуаня, по крайней мере еще сто лет.

Вторая проблема с отчетом Сыма Цяня заключается в том, каким нарочито легким выглядит в нем все строительство циньской стены. Побывайте на Великой стене сегодня, и одного взгляда на ее галереи из кирпича и камня, обнимающие вершины высоких, вздымающихся к небу гор, достаточно, чтобы возникло несколько элементарных логических вопросов: как получали и доставляли материалы — землю, камень, кирпич? Как рабочим удавалось укладывать их на покрытых кустарником горных хребтах? По фундаментальным вопросам стеностроительства Сыма Цянь хранит полное молчание.

Такие несообразности предполагают два вывода. Во-первых, учитывая географическое несовпадение стен Цинь и Мин и отсутствие описаний производства камня и перемещения строительных блоков, циньская стена, видимо, мало напоминала версию из камня и кирпича, восстановленную сегодня к северу от Пекина. Скорее всего ее соорудили из

утрамбованной земли, как стены, отделявшие друг от друга Воюющие Царства, большую часть материала для которых можно было взять прямо на месте. Народное китайское название древних северных стен — «земляной дракон» — наводит на мысль о материалах, изначально использовавшихся при их строительстве. Несколько сотен километров руин стены во Внутренней Монголии — порой в три метра у основания и редко выше трех с половиной метров в высоту, — которые археологи уверенно относят к эпохе Цинь, являются практичной комбинацией утрамбованной земли и камня. По-видимому, все зависело от того, что попадалось под руку более двух тысяч лет назад. Сохранившаяся секция стены южнее, в Нинся, сегодня почти не похожа на рукотворную, представляя собой мшистый хребет, выдающийся из земли подобно вздувшейся вене.

Во-вторых, несмотря на любовь императора Цинь к разрушению старого, чтобы на его месте построить новое, стена вдоль северной границы едва ли была полностью его творением. Вполне возможно, местами она построена на прежних укреплениях: частях стены Янь, шедшей от Монголии на северо-восток к Маньчжурии, и, вероятно, на циньской стене на западе, к югу от Желтой реки. Последние археологические изыскания свидетельствуют: хотя стена Мэн Тяня выходила за старые Чжаоские укрепления на север, за петлю Желтой реки, линия стены Циньской империи совпадает с начальным пунктом более старой циньской стены в Ганьсу и с полосой в восточной Монголии и северо-восточном Китае, вдоль которой были найдены археологические реликвии эпохи Янь. Эти стены лишь местами были рукотворными и использовали, где только представлялось возможным, естественные преграды рельефа местности. Стеностроительство скорее было нацелено на создание при помощи отрезков стен или крепостей единой линии от ущелья к ущелью, от пропасти к пропасти, чем на возведение со-



вершенно новой непрерывной линии обороны. На это указывает очередной отрывок из Сыма Цяня:

«[Мэн Тянь] взял под контроль все земли к югу от Желтой реки и построил пограничную оборонительную линию вдоль реки, основав сорок четыре обнесенных стеной районных города, стоявших на реке, и населив их осужденными на принудительные работы, перевезенными на границу для нужд гарнизонов... Таким образом, он воспользовался при создании пограничной оборонительной линии естественными горными преградами, устраивая насыпи на равнинах и возводя бастионы и военные сооружения там, где это было необходимо».

Если данные объяснения скорости и простоты возведения стены не удовлетворят придирчивого читателя, нам придется вернуться к преданиям, тысячелетиями складывавшимся вокруг строительства циньской стены: император владел либо волшебным кнутом, либо лопатой, либо конем, благодаря чему Длинная стена просто в двадцать четыре часа возникла из ничего. Всякий сбивающий с толку поворот стены объясняется исторической догадкой, будто император и его конь не туда свернули во время пылевой бури. Другое убедительное, часто приводимое объяснение, как императору удалось хитро разрешить строительные проблемы стены, заключается в том, что особенно крупный дракон, случайно пролетавший над Китаем, притомился, неудачно шлепнулся о землю и обернулся Длинной стеной.

Но если мы не будем принимать мифические объяснения местоположения стены, то следовало бы задуматься, почему Ши-хуанди выбрал именно те районы для строительства стены. Ведь северные части района Ордоса расположены далеко от пахотных земель собственно Китая. Более поздняя, минская версия Великой стены имеет более очевидную стратегическую важность, проходя через аграрную базу петли Желтой реки и нависая с севера над столицей, Пекином.

Если сравнивать, то циньская стена во многих местах проходит слишком далеко от пахотных земель и главных городов, чтобы иметь непосредственное значение для обороны китайских земледельцев.

Суеверие — вот объяснение выбора императора. При всем легистском рационализме своего режима Ши-хуанди был великим приверженцем оккультизма. Одержимый мыслями о смерти, он тратил огромные деньги на посылку алхимиков для поисков эликсиров бессмертия и волшебных грибов — и, конечно, казнил их, когда они неизбежно возвращались без ожидаемых снадобий для продления жизни. Еще он добросовестно прислушивался к пророчествам, и в 215 году до н.э. его напугала надпись на гадальной кости, предсказавшей — «тем, кто разрушит Цинь, будет ху». Решив, что «ху» означает варваров-кочевников ху, император немедленно отправил своего военачальника, Мэн Тяня, с войсками прогнать северные племена из Ордоса и построить стены.

Другое достоверное объяснение — циньская стена имела тот же стратегический смысл, что и построенные в этом районе стены Воюющих Царств: Цинь намеревалась не столько защитить китайцев от нападений кочевников, сколько сохранить наступательные позиции против северян-некитайцев, создавая передовые опорные пункты, с которых можно было бы вести дальнейшие захватнические кампании. В IV—III столетиях до н.э. северные племена на границе находились в тяжелом положении, оказавшись выбитыми из Ордоса далеко в глубь Монголии и Маньчжурии армиями отдельных царств. Кажется маловероятным, что после этих следовавших одно за другим поражений варвары ху могли быстро оправиться, превратившись в угрозу для новой империи Цинь.

Последняя возможная причина отдаленного расположения циньских стен — вероятная, если принять во внимание все известное нам о Ши-хуанди, — тоталитаризм это чистой

воды: стена играла роль циньского ГУЛАГа, огромного, взятого с потолка строительного проекта, предназначенного для использования солдат, демобилизованных после большой операции по объединению Китая, и тысяч осужденных за критику режима Цинь. В 213 году до н.э., например, император сослал «тех судебных чиновников, которые председательствовали в уголовных судах, но не соблюдали законность, и заставил их строить Великую стену». Год спустя Ши-хуанди выслал своего старшего сына, Фусу, охранять северную границу, после того как он высказался перед отцом по поводу суровости его правления.

Хоть и не имея почти никакого реального отношения к современной Великой стене, циньская стена породила самые ранние предания о страданиях и жертвах, связанных со стеностроительством. До тех пор пока отчаявшиеся патриоты двадцатого столетия не восприняли Великую стену в качестве национального символа, эти легенды господствовали и определяли отношение народа к стене, подпитывая традиции, которые демонизировали стены в массовом сознании как образ тиранического гнета и превращали границу в унылое, заброшенное кладбище простых китайцев. Даже если скорость построения циньской стены не является показателем того, что строительство было сопряжено с такими же транспортными и строительными трудностями, как если бы это была посещаемая туристами сегодня стена, какой она выглядит к северу от Пекина, песни и мифы, подобные ниже приводимой оде циньского периода, рассказывают, как безжалостно она поглощала подневольный труд, и увековечивают память о количестве погибших во время ее строительства:

Если у вас есть сын, не растите его.  
Если у вас есть дочь, кормите ее сушеным мясом.  
Разве вы не видите, что Длинная стена  
Покоится на костях.

Возникнув из культуры, превозносившей сыновей, как то делается в Китае, короткое четверостишие ярко отражает чувство беспомощного отчаяния, порожденного бездонным аппетитом стены на мобилизованных работников: зачем вскармливать сына? Только для того, чтобы он погиб при строительстве стены?! Другой миф относительно возведения стены рассказывает, как император создал девять солнц, бесконечно продлив рабочий день и тем самым ускорив строительство (к счастью строителей, как далее повествует предание, к ним на помощь пришел добрый дух, скрыв восемь солнц таким же количеством волшебных гор, которые впоследствии соединились, образовав Длинную стену).

Вероятно, самой известной из легендарных жертв стены является Мэнцзян, преданная жена, отправившаяся к северо-восточному окончанию стены, Шаньхайгуань, куда ее мужа насильно послали на работы, чтобы отнести ему теплую одежду на зиму (в одной из версий легенды говорится, будто мужа Мэнцзян оторвали от нее в их брачную ночь). Однако, добравшись до места, она обнаружила, что он уже умер от холода и истощения. От ее рыданий стена открылась и показала его кости вместе с останками тысяч других рабочих. Она перехоронила их, а затем — чистая и добродетельная китайская вдова — бросилась в море. В другом варианте говорится: распутный циньский император, случайно проезжавший мимо с инспекцией, так увлекся ею, что попытался сделать своей наложницей, но она избежала его ухаживаний, убив себя. Говорят, четыре скалы, выступающие из моря у Шаньхайгуаня, нынешней восточной оконечности Великой стены, являются ее могилой.

Один из самых ранних туристов, посетивших стену, Сыма Цянь, не стал смягчать слов, осуждая жертвы, которые Мэн Тянь заставил принести строителей:

«Я съездил на северную границу и вернулся по Прямой Дороге. Во время путешествия я видел Длинную стену и ук-

репления, построенные Мэн Тянем для Цинь, прорубающие горы и запруживающие долины, чтобы открыть Прямую Дорогу. Его в самом деле не заботили невзгоды простонародья. Когда царство Цинь разгромило феодальных правителей, сердца и мысли мира еще не успокоились, а раны не затянулись, однако Мэн Тянь как знаменитый военачальник не стал энергично убеждать, не уменьшал бремени, лежавшего на населении, не пестовал стариков, не жалел сирот и не трудился над восстановлением гармонии среди простых людей, но вместо этого по прихоти императора приступил к строительству».

Всеобщее возмущение по поводу безжалостной мобилизации на рабский труд — о чем легенда о Мэнцзян ярко повествует вот уже тысячелетия, — необходимой для реализации государственных проектов, таких как стена, в конечном счете обернулось крушением царства Цинь. Оно соединилось с тремя другими классическими составляющими заката китайских династий — беспомощными узурпаторами, злокозненными евнухами и утратой талантливых и преданных военачальников на прикрытых стеной северных границах.

В 210 году до н.э. Ши-хуанди отправился в свой последний из многих императорских инспекционных туров. Поскольку его здоровье начало ухудшаться, страстное желание найти эликсир бессмертия становилось сильнее. В 219 году до н.э. он приказал ученому по имени Сюй Фу отправиться в море с несколькими тысячами мальчиков и девочек на поиски сказочных островов, где живут бессмертные. Когда император наконец повстречал Сюй Фу на восточном побережье Китая, сообразительному алхимику каким-то образом удалось убедить императора, что его экспедиция без всякого труда привезла бы эликсир с острова бессмертных, если бы их постоянно не тревожили огромные акулы. Поверив, император лично какое-то время стоял на страже на берегу, стреляя наугад в ужасных чудовищ из самострела. Вскоре после этого, еще находясь в поездке, он умер.

Ху, вызвавший крушение Цинь, оказался не северным варваром ху, а тем, кто был гораздо ближе к дому: слабым и психически неуравновешенным вторым сыном императора, Хухаем, по несчастному стечению обстоятельств сопровождавшим его в последней поездке вместе со своим наставником, амбициозным и коварным евнухом Чжао Гао. Истинный наследник, Фусу, бывший любимый сын императора, по-прежнему вместе с Мэн Тянем охранял северную границу. Воспользовавшись присутствием в нужном месте и в нужное время, Чжао Гао и Хухай сохранили в тайне известие о смерти императора до тех пор, пока не перебили одного за другим всех своих политических противников. Первым делом они уничтожили приказ умершего императора, адресованный Фусу, чтобы тот вернулся и взошел на трон, и заменили его на сфабрикованный указ, требовавший, чтобы Фусу и Мэн Тянь совершили самоубийство за попытку опорочить его правление. Фусу немедленно подчинился; Мэн Тянь, не в силах поверить, что господин, которому он верно служил, требует его смерти, медлил, обдумывая ситуацию, пока нехарактерный для него страх, что его Длинная стена не соответствует фэн шую, не толкнул его на самоубийство. «Мой проступок действительно заслуживает смерти, — размышлял он. — От Ланьтао до Ляодуна я строил стены и копал рвы на протяжении более десяти тысяч ли; возможно ли, чтобы я не перерезал где-то по пути вен земли?» Затем он, последняя и, возможно, самая заслуживающая того жертва циньской стены, проглотил яд.

Придя к власти, Чжао Гао и Хухай принялись энергично продолжать самые жестокие начинания Ши-хуанди, выдавливая из населения налоги и используя подневольный труд для завершения работ по строительству огромного царского дворца, заложенного в Сяньяне, и обширной системы дорог. По рекомендации Чжао Гао Хухай, с радостью перебив представителей знати, удалился во внутренний дворец, окунулся в празднества, развлекался с наложницами и акт-

рисами, оставив дела правления (или, точнее, сведения счетов с врагами) своему внуку-наставнику. Сумев полностью изолировать второго императора, Чжао Гао довел бывшего господина до безумия и самоубийства, прежде чем его самого зарезал Цзыин, старший сын Хухая.

Однако решительный Цзыин правил всего сорок шесть дней. Пока верхний эшелон власти Цинь распался, бремя мобилизации, налогов и жестокие наказания — основа циньского легистского государства — понуждали все большее число людей к занятию разбоем. Несколько столетий спустя один из ханьских чиновников прямо указывал на пограничную политику как на причину бунтов, описывая тяготы не только солдат на передовой, но также и гражданского населения, пытающегося удовлетворить потребности погрязших в неумеренной коррупции поставок:

«Войска находились в дикой местности без крыши над головой в течение более чем десяти лет, и бесчисленное число людей умерло... Начиная движение от побережья, партии пищевых продуктов по пути следования до Желтой реки уменьшались со ста девяноста двух тысяч пек [декалитров] до десяти. Мужчины ускоряли сев, но не могли удовлетворить потребность армии в пище; женщины пряли, но не могли удовлетворить потребность в палатках. Люди устали, были бедны и не способны кормить... слабых, чьи трупы валялись вдоль дорог. Из-за всего этого царство Поднебесной начинало бунтовать».

Через год после смерти Ши-хуанди Чэнь Шэ, бывший наемный рабочий, из-за сильного дождя не успел вовремя перевезти свой груз, состоявший из девятисот осужденных, на поселение, за что легисты наказывали смертью. «Сейчас, — размышлял он, — побег означает смерть и заговор тоже означает смерть. Если сравнить эти две смерти, то лучше умереть, создавая какое-нибудь государство». Так, предпочитая быть повешенным за овцу, а не за ягненка, он под-

нял мятеж, к которому присоединился Лю Бан, будущий основатель династии Хань, и разгромил Цинь.

В одной из легенд об этих низвергавших династии мятежах рассказывается: мятежники вооружились, взломав мавзолей Ши-хуанди, и прежде чем разграбить погребальные помещения, разобрали оружие из рук терракотовых воинов. История вполне правдива: когда терракотовые фигуры обнаружили в 1970-х годах, было похоже, что их разбили в куски некие погромщики. Если так и было, то это должно рассматриваться как одна из величайших насмешек истории: армия, созданная Ши-хуанди и так дорого обошедшаяся его народу, вместо того чтобы защищать его в сомнительном путешествии в другую жизнь, вооружила мятежников, уничтоживших его династию.

Итак, империя Цинь рухнула, а вместе с ней и китайский контроль над районами севернее Желтой реки. В неразберихе, сопровождавшей падение Цинь, китайские рекруты бросили границу, и северные варвары снова заняли свои утраченные территории, сделав циньскую стену бессмысленной как оборонительное сооружение. Сыма Цянь писал:

«После смерти Мэн Тяня феодальные правители подняли мятеж против Цинь, ввергнув Китай в эпоху раздоров и беспорядка. Все осужденные, которых династия Цинь сослала на северную границу, чтобы заселить этот район, вернулись домой. Теперь, когда давление на сюнну ослабло, снова стали проникать к югу от изгиба Желтой реки, пока не расположились вдоль старой границы Китая».

Именно в этот момент истории китайских рубежных стен в Ордосе и Внутренней Монголии появляется новая пограничная сила: сюнну, политически единая и эффективно руководимая армия воинов-кочевников, способная досаждать Китаю больше, чем любое из разрозненных северных степных племен в предшествующее тысячелетие.



Почти сразу после падения Цинь, когда морализирующее конфуцианство заменило прагматичный легизм в качестве общей политико-теоретической основы китайского государства, династия стала олицетворением тирании, ее история — и ее стена — предметным уроком того, как не нужно управлять Китаем. В остро критическом эссе, озаглавленном «Ошибки Цинь», ханьский ученый Цзя И (201—160 годы до н.э.) развивал следующую идею: государство Цинь развалилось, так как «не сумело продемонстрировать гуманность и добродетельность или понять существующую разницу между военной и консолидирующей силами». Император Цинь «верил в душе, что при мощи столицы за проходами и металлическими стенами, протянувшимися на тысячу миль, он заложил власть для своих потомков на десять тысяч поколений». В глазах более поздних китайских политических мыслителей и историков крах Цинь являлся идеальной иллюстрацией главного заблуждения сего абсолютного правителя, будто сила — огромные армии, страшные законы и длинные стены — без добродетели способна отстоять империю.

Не то чтобы это как-то остерегло ханжей Хань и фактически все другие династии после нее проводить ту же самую пограничную политику: как только становилось возможным, а зачастую когда этого себе и позволить было никак нельзя, они строили длинные, дорогие и в конечном счете столь же ненадежные стены.



### Глава третья

#### *Ханьские стены: Plus ça change*

Примерно в 209 году до н.э. Тоумань, шаньюй, или межплеменной вождь монгольских сюнну, столкнулся с дилеммой наследования. Отдавая предпочтение младшему сыну перед законным наследником, Маодунем, он хотел устранить старшего сына и поставить у власти своего любимца. Явно не желая слышать ни о каких не по-родственному жестких мерах вроде убийства, он решил отослать Маодуня в соседнее племя юэчжи в качестве заложника, а затем напал на них в надежде, что соседи в отместку убьют его сына. Как оказалось, к несчастью для Тоуманя, Маодуню удалось украсть одного из их самых быстрых скакунов, бежать и в конце концов вернуться домой. Восхитившись его отвагой и дерзостью, отец дал ему под начало десять тысяч всадников.

Как только Маодунь снова оказался среди сюнну, Тоумань понял, что поступил в высшей степени немудро при выборе врага. Чтобы оградить себя от повторения недавних событий, Маодунь немедленно принялся создавать собственную базу власти, превратив отданных ему солдат в непоколебимо преданную личную стражу. Он ввел жесткую воинскую дисциплину, в основе которой лежала готовность солдат без раздумий следовать за господином. «Стреляйте туда,

куда летит моя поющая стрела! — приказывал он. — И любой, кто не выстрелит, будет зарублен на месте!» Маодунь выстрелил в своего лучшего коня, затем в свою любимую жену и в лучшего коня отца, казнив всех, кто не последовал его примеру. Наконец, «он пустил поющую стрелу в своего отца». «Все его последователи нацелили луки в том же направлении и убили шаньюя». До того как Маодунь возглавил племя, сюнну, казалось бы, были почти окружены. На юге китайцы прогнали их с земель предков, из Ордоса; на западе юэчжи, располагавшиеся в современной Ганьсу, брали у них заложников, а на востоке дун-ху (дословно «восточные варвары») относились к сюнну с явным высокомерием, требуя от них, когда вздумается, лучших лошадей и женщин. Однако в течение нескольких лет после узурпации власти в 209 году до н.э. Маодунь вернул земли, отнятые генералом Мэн Тянем, лишил циньскую Длинную стену пограничного значения. Он также разгромил дун-ху и юэчжи, предприняв ряд стратегически умно распланированных и отличавшихся безжалостностью военных операций. После победы над первыми Маодунь сделал выразительное дипломатическое назидание всем: использовал череп вождя дун-ху, пытавшегося отобрать часть земель сюнну, в качестве кубка для питья. После поражения от Маодуня юэчжи переместились из Ганьсу в северо-западном Китае намного дальше на запад, на территорию современных Киргизстана и Таджикистана. Их миграция будет иметь важные последствия для ханьского стеностроительства.

До падения Циньской династии китайцы господствовали на северной границе, особенно после того, как лишили кочевников их единственного, но громадного преимущества, переняв у степняков кавалерийскую технику. Побеждать в пограничных столкновениях китайским государствам помогало политическое единство: их способность находить эффективные пути организации и использования населения

для политических и военных целей. Степные же племена были слишком разобщенными, чтобы предпринять что-либо масштабное против китайцев, и слишком политически дезорганизованными, чтобы завоевывать и контролировать новые территории. Объединенные китайцы оставались в Ордосе; разобщенные сюнну откатились в северную Монголию. Все переменялось после того, как Маодунь смог навянуть разрозненным кочевникам беспрецедентную сплоченность. Создав трехуровневую иерархию управления в своих владениях — наверху шаньюй, имперские губернаторы и местные племенные вожди внизу, — Маодунь сумел подчинить и удержать степную империю. Таким образом он превратил сюнну в одну из самых страшных враждебных сил в истории китайской границы.

«В набеге, — описывал Сыма Цянь, — человек, который убьет главного среди врагов, получал кубок вина. Военная добыча распределялась среди воинов; если они захватывали людей, то превращали их в рабов. Таким образом, во время войны каждый сражается за свой личный кусок. Они хитро выманивают врага, затем атакуют. Завидев врага, они слетаются, как птицы на корм. При поражении они рассеиваются, как облака».

В Китае сюнну, даже спустя столетия после утраты своего военно-политического превосходства, оставались именем нарицательным для обозначения страшных северных врагов-варваров. Их жуткая слава распространилась и на запад, где особо впечатлительные историки — начиная с ученого XVIII века Жозефа Дегиня — принимали их за гуннов, повернувших на Рим, после того как встретили преграду в виде Великой стены.

Хотя китайцев, естественно, не особенно радовало столь быстрое объединение сюнну. Они ничего не могли поделать со степью, пока местные правители продолжали бороться между собой в попытках заполнить вакуум власти, образо-

вавшийся после краха Цинь. Вряд ли это мешало Лю Бану (умер в 195 году до н.э.), будущему основателю династии Хань, пытаться восстановить и заселить гарнизонами старую циньскую стену к северу от Желтой реки в то время, когда гражданская война еще не закончилась. Однако к 202 году до н.э. Лю вытащил Китай из хаоса гражданской войны и провозгласил себя Ши-хуанди династии Хань, Гаоцзу. Номинально усмирив и воссоединив Китай, он сразу же предпринял попытку перехватить военную инициативу в отношениях со степью.

Планируя разгром соперников на заключительном этапе междоусобной войны, Гаоцзу пришлось награждать союзников автономными царствами, отказываясь от абсолютного централизма, который предпочитала Цинь. В 201 году до н.э., во время нападения сюнну на расположенный на северной границе город Май (недалеко от Тайюаня, сегодняшнего центра провинции Шаньси), один из таких царьков, Хань Синь, переметнулся к Маодуню. Так как неверность Хань Синя создала опасный прецедент, император собрал всю армию Хань и повел ее дальше на север, к Пинчэну. Там, среди стылых, промозглых, изрезанных лощинами коричневых просторов северной оконечности Шаньси, поход закончился катастрофой: после того как тридцать процентов китайских солдат обморозили пальцы, Маодунь вынудил их наступать, притворившись отступающим, и заманил в засаду. Император находился в окружении четырехсот тысяч всадников сюнну до тех пор, пока ему не удалось выговорить себе выход из кольца. Он якобы пустил в ход все свое красноречие, пытаясь повлиять на семью Маодуня. Как говорится в одном из преданий, Гаоцзу напугал жену шаньюя, обещав предоставить Маодуню китайских красавиц, если она не вмешается и не поможет ему разорвать кольцо окружения.

Дипломатическим результатом этого поучительного поражения стала политика «мира и дружбы» (хэцинь). Китайцы предлагали дружбу в виде невест и взяток — принцесс из

императорского дома, шелка и зерна; сюнну предлагали мир — когда это им было выгодно. Это вещественное и брачное требование с китайской точки зрения не увенчалось для них полным успехом: набеги сюнну продолжались, а требования Маодуня становились все более возмутительными. В 192 году до н.э. он даже запросил руку императрицы Люй, вдовы Гаоцзу и в 188—180 годах до н.э. де-факто правительницы. «Я одинокий вдовый правитель, — написано в его письме-предложении. — Ваше величество тоже овдовевшая правительница, ведущая одинокую жизнь. Жизнь у нас безрадостная, и нет возможности развлечь себя. Я надеюсь, мы сможем поменять то, что имеем, на то, чего нам не хватает». Первым порывом взбешенной императрицы было напасть на дерзкого варвара, но ее военачальники тактично напомнили: «Даже император Гаоцзу, при всей его мудрости и отваге, столкнулся в Пинчэне с великими трудностями». Успокоившись и поразмыслив, она составила вежливый ответ, где выражала благодарность, но отказывала в предложении: «Мой возраст солиден, и жизненные силы слабеют. Мои зубы и волосы выпадают, я даже не могу сохранять твердую походку... Я недостойна снисхождения самого [Маодуня]. Однако моя страна не сделала ничего плохого, и я надеюсь, он пощадит ее» (в просьбе императрицы безошибочно чувствуется мольба к Маодуню не нападать на Китай в отместку за отказ).

Несмотря на унижительные стороны политики «мира и дружбы», ее торговая и подарочная дипломатия в течение нескольких десятилетий смягчала отношения между китайцами и сюнну гораздо более эффективно, чем это когда-либо получалось у стен. В середине II века до н.э. северная граница была довольно мирной, общины там страдали лишь от мелких набегов. Старые рубежные стены, казалось, утратили свое военное значение. Как сообщает Сыма Цянь, «начиная от шаньюя и ниже, все сюнну стали дружелюбны к Хань, ходили друг к другу вдоль Длинной стены».

Между тем «мир и дружба» больно уязвляли китаецентристское самомнение. Умиротворение Китаем сюнну, писал возмущенный конфуцианский чиновник Цзя И, было столь же неустойчивым, как «человек, висящий вверх ногами».

«Сын Неба [император] является головой империи. Почему? Потому что он должен оставаться наверху. Варвары — это ноги империи. Почему? Потому что они должны находиться внизу. Теперь сюнну заносчивы и дерзки, с одной стороны, и нападают на нас и грабят — с другой... Однако каждый год Хань дает им деньги, шелк-сырец и ткани. Управлять варварами — это власть, которой наделен император наверху, а давать дань Сыну Неба — это ритуал, который должны исполнять вассалы внизу. Висеть же в положении вверх ногами, как сейчас, означает переходить все границы».

И все же китайцы по крайней мере обладали здравым смыслом, чтобы понимать: если они не хотят повторения поражения 200 года до н.э., то не следует что-либо предпринимать, пока должным образом не оправятся — экономически и организационно — после междоусобной войны. К 141 году до н.э., году начала правления императора У, политика бережливости, которую проводили шесть первых императоров Хань, похоже, помогла династии снова встать на ноги. Императорская казна была набита деньгами так, что «шнурки, на которых нанизаны монеты, разрывались»; излишки зерна высыпались из амбаров и гнили на открытом воздухе. Император У («воинственный император») вкладывал огромные средства в военное дело, переживавшее во время его пятидесятилетнего правления быстрый расцвет. Одной из причин позорного поражения Гаоцзу у Пинчэна являлось то, что он, не зная военных привычек степи, не мог воевать с сюнну по их правилам. К началу правления У тактические уроки были усвоены, и под предводительством величайших военных гениев в истории Китая — Вэй Цина, Генерала Колесниц и Кавалерии; Хо Цюйбина, Генерала Стремительной

Кавалерии; Чжао Пону, Маршала, Нападающего Подобно Коршуну; и Чжан Цяня, Маркиза-Ясновидящего, — началась новая волна наступательных кампаний китайцев против варваров. Наиболее заметным результатом этих кампаний, помимо скорости, с которой они опустошали закрома империи, оказались стены.

Первой целью императора У стал неизменный камень преткновения в отношениях между Китаем и степью: Ордос. После нескольких лет не принесших решительного результата столкновений, в 127 году до н.э., Вэй Цин совершил поход на север и вновь овладел старой циньской территорией к югу от Желтой реки, захватив попутно миллион голов крупного рогатого скота и овец. Не испугавшись возрождения Хань, сюнну продолжили свои набеги, каждый раз провоцируя китайцев на походы все глубже в степи: самый дальний поход был совершен на четыреста сорок километров севернее Пекина. Одним из величайших успехов китайцев стала операция Вэй Цина 124 года до н.э., в ходе которой правитель сюнну, самонадеянно напившийся до бесчувствия перед подходом ханьских войск, попал в засаду и едва избежал плена.

Династия Хань стала поспешно восстанавливать стены, «восстанавливая старую систему оборонительных сооружений, построенных Мэн Тянем в период Циньской династии и усиливая границу вдоль Желтой реки». Нынче археологи считают: Хань пошла значительно дальше, чем просто восстановление прежних строений, — династия возвела по северной границе тысячи километров своих собственных стен. Пятнадцать километров бесспорно ханьской стены раскопано в провинции Хэбэй, северо-восток Китая. Они по-прежнему имеют ширину фундамента восемь метров, правда, их высота составляет всего полтора метра. Среди остатков стены во Внутренней Монголии, построенной в период правления императора У, сохранились насыпи, сигнальные башни и форты. Все они представляют собой комбинацию из



утрамбованной земли и облицовки из камней, расчетливо добытых по соседству. Отстоящие на сотни километров от ханьской границы руины укрепленного поселения в Уюане, во Внутренней Монголии, площадью сто двадцать пять квадратных метров — оригинальные стены поселения сегодня напоминают нагромождения продолговатого сухого камня, местами до двух метров и восьмидесяти сантиметров высотой — окружают остатки каменных строений, где находят старинные предметы: черепицу, керамические изделия, орудия земледелия и наконечники стрел.

Вторая стрела наступления императора У на сюнну нацеливалась далеко на запад, к востоку от пустыни Такламакан в современном Синьцзяне. Если древние китайцы смотрели на северные степи («болота и солончаковые пустоши, непригодные для жизни») с ужасом и презрением, то еще больший трепет у них вызывал таинственный северо-запад. На ранних стадиях имперский Китай хоть и мог проводить захватническую политику, однако китайцы все же считали — лучше дома нет ничего: цивилизация заканчивалась примерно в двухстах километрах от столицы. Ханьский Китай почерпнул часть своих «знаний» о западе из фантастического сочинения по географии «Повесть о горах и морях», написанного в III веке до н.э., где робующим читателям сообщалось: на западе, в стране Выжженной Горы И Горячей И Одновременно Холодной Реки, живут рептилии, похожие на зайцев, руки у людей растут задом наперед и один из видов птиц, известный как Бешеные Птицы, носит чиновничьи шапочки. Чуть более реалистический китайский источник — официальная «История династии Хань» — предупреждает будущих путешественников об опасностях для здоровья, которые несет поездка на запад: о возможности голода и встречи с грабителями, о головокружительных высотах горных хребтов Сильной И Слабой Головной Боли, о склонах Жара Тела, «заставляющих людей мучиться от лихорад-

ки; у них пропадает нормальный цвет лица, болит голова и ощущается постоянная тошнота».

Однако что касается ханьского Китая, то тут политические потребности пересиливали страхи высотной болезни. После 209 года до н.э. сюнну покорили племена, граничившие с западным Китаем. Это означало не только возникновение силового блока сюнну на западной границе: возникла вполне реальная опасность союза между сюнну и племенем цян, проживавшим на территории современного Тибета. Большая стратегия императора У заключалась в том, чтобы отрезать у сюнну правую руку, захватив Ганьсуский коридор, полосу относительно пригодной для земледелия и управления территории между горной страной, степью и пустынями, протянувшуюся с севера на юг, укрепив ее против дальнейших атак сюнну стеной и создав нацеленные против сюнну союзы с народами запада: всеми племенами, мини-государствами и обнесенными стенами городами, самый маленький из которых имел население в тысячу, а самый крупный — более шестисот тысяч человек.

В 139 году до н.э. посланник и генерал императора У, Чжан Цянь, как первопроходец отправился на запад с дипломатической миссией. Конечным пунктом путешествия Чжана должно было стать новое место обитания племени юэчжи — в то время продолжавшего мигрировать в сторону Бактрии, территории в современном северном Афганистане, примерно в шести с половиной тысячах километров к западу от столицы Хань в Чанъани (неподалеку от нынешнего Сианя), — а целью было убедить их в качестве услуги китайцам вернуться в Ганьсу, к месту позорного и кровавого поражения от сюнну, и изгнать захватчиков. Легкомысленно спрямляя путь через территорию сюнну, Чжан в скором времени попал в плен, где он находился десять с лишним лет. Тогда он попутно обзавелся женой из сюнну и детьми. Потом Чжану удалось бежать, и он, будучи рабом долга перед империей, продолжил путешествие на запад, через Па-

мир в Бактрию. Когда он наконец нашел юэчжи, оказалось — те не намерены конфликтовать с сюнну во имя политических интересов китайцев. Они, как сказали ему в вежливой, но категоричной форме, вполне счастливы там, где живут. Тогда Чжан Цянь пустился в утомительную дорогу домой, но опять был пойман сюнну, и лишь проведя еще год в плену, он наконец бежал и добрался до Чанъани.

Не обратив внимания на очевидный провал миссии Чжан Цяня, У восхитился рассказами своего посланника о западных государствах-оазисах, чье население занималось земледелием и жило в обнесенных стенами городах (и то и другое обнадеживающе знакомо китайцам), и об их многочисленных «поразительных товарах»: яшме, вине, жемчуге, обезьянах, павлинах, кораллах, янтаре, львах, носорогах и крупных, как кувшин для воды, яйцах. Самыми же волнующими были рассказы Чжан Цяня о выносливых, выделяющих с потом кровь «божественных» скакунах из Ферганы, лежавшей к востоку от Бактрии. У возжелал заполучить их для своей кавалерии. Чжан Цянь предложил способ достичь желаемого. Уклад жизни в этих государствах, повторил он, «не такой, как в Китае... их войска слабы, они высоко ценят богатство и товары Хань... Если их действительно склонить на свою сторону и сделать подданными, используя моральное давление, то станет возможным расширить территорию [Хань] на десять тысяч ли». В докладах Чжан Цяня имелся и другой подходящий мотив — экономический — для китайской экспансии и стеностроительства на западе, а также новаторская идея самого известного из торговых путей в мире: Шелкового пути. Идея заключалась в том, чтобы основать путь, который можно защищать от монгольских и тибетских грабителей, и таким образом обеспечивать охрану (и изымание таможенных пошлин) торговцев с их богатыми караванами по пути в Центральную Азию и северную Индию и обратно.

В течение 120—110-х годов до н.э. стало ясно: «моральное давление» — дипломатические ходы, включавшие в себя

брак между крайне не желавшей этого ханьской принцессой и царем племени, обосновавшимся по реке Или, в сегодняшнем Киргизстане, — само по себе не окажет волшебного эффекта на западные государства. И тогда китайцы прибегли к грубой силе. Около 120 года до н.э., загнав сюнну в глубь северной Монголии, генералы У — во главе сотен тысяч конницы и пехоты — уничтожили, видимо, сорокатысячное войско сюнну на западе. Примерно два года спустя и самого шаньюя прогнали назад на север. Еще через несколько лет, после того как правитель ближайшего к Китаю западного государства, сочувствовавший сюнну, был захвачен Чжао Пону, Маршалом, Нападающим Подобно Коршуну, и семью сотнями его легкой кавалерии, Хань почувствовала: северо-запад в достаточной мере очищен от беспокойных варваров, чтобы можно было построить цепь из фортов, гарнизонов и на отрезке от Ганьсуского коридора до самого Юймэньгуаня, прохода Яшмовых Ворот, примерно в семидесяти пяти километрах к северо-западу от Дуньхуана, на границе солончаковых болот озера Лоб-Нор.

Стратегические мотивы выбора Дуньхуана и Юймэньгуаня в качестве последних оплотов китайской цивилизации на северо-западе очевидны, если посмотреть на топографию региона. Обе точки расположены в конце Ганьсуского коридора, логичной границы расширения Китая, после которой территория становится совершенно непригодной для китайского образа жизни и управления: пустыня, горы или враждебная комбинация того и другого. Для тех, кто бросал вызов Шелковому пути с востока, Дуньхуан являлся последним сельскохозяйственным пунктом для привала, предоставлявшим возможность купить припасы для путешествия по пустыне. Его разбитые в оазисе персиковые и грушевые сады снабжали рынки, где благодаря непрерывному потоку путников шла бойкая торговля. За Юймэньгуанем местность становилась значительно менее приветливой. Засоленные, заболоченные долины рек, переходящие в

пустыню, затрудняли дальнейшее продвижение на запад, тогда как дороги на юг и на север преграждали горы. Если бы можно было удерживать Дуньхуан и Юймэньгуань, то они не позволили бы сюнну или их союзникам прорываться на восток по Ганьсускому коридору в центральный Китай и к экстравагантной столице У Чанъани — конгломерату красных и белых дворцов, садов и озер для прогулок императора, культовых строений и павильонов, шумных рынков и лепящихся друг к другу домов простых китайцев, расположенных «так плотно, как зубья у гребня», — и гарантировали бы безопасный проход для торговых караванов из Китая и в Китай по тому же самому коридору. В течение сотен лет после Хань Дуньхуан оставался связующим звеном между Китаем и Западом. Когда индийские монахи несли в Китай буддизм, Дуньхуан — как пункт первого контакта путешественников с Запада и из Китая — стал религиозным центром, хранилищем буддийского искусства и знаний. Его каменная скала превратилась в соты из пещерных кумирен, которые украшали богатые, готовые на пожертвования путники, либо молившие о благополучном переходе через пустыню, либо благодарившие за него.

Через две тысячи лет, во вторую неделю марта 1907 года, через сотни лет после того, как старые торговые дороги Шелкового пути были поглощены пустынями Центральной Азии, по-варварски груженный караван гонимых ветром верблюдов и мулов подошел к Дуньхуану с запада в поисках добычи. Почти за год до этого его начальник, англо-венгерский археолог и путешественник по имени Аурел Штайн, отправился из Индии к самой западной границе Китая, двигаясь по ледяным, грозившим обвалами перевалам, по снежным стенам, а затем через ослепительный, обжигающий, пропыленный зной пустыни Такламакан. К декабрю 1906 года ровные песчаные, опаленные солнцем пространства Такламакан — ее небеса всегда пребывают в опасной готовности низ-

вергнуться кара-бураном, «черной бурей», часами напролет секущей пустыню и всякого, кому не посчастливится там оказаться, колючими смерчами из песка и мелких камней — сменились накрепко замерзшими глинистыми холмами, ветрами с Гоби и песчаными бурями, царствующими зимой в пустыне Лоб-Нор. В китайских путеводителях пепельные, с лунным пейзажем земли вокруг соленого озера Лоб-Нор традиционно изображались как жуткий, безлюдный район, где паломников, путешественников и торговцев подстерегают призраки и духи, сбивающие с пути и ведущие к гибели. Единственными путеводными вехами на всей этой безжизненной местности, отмечал китайский буддист-паломник Фасянь в конце IV века, были «иссушенные кости мертвецов, разбросанные на песке». Пройдя здесь через тысячу лет, Марко Поло описывал ее почти полную пустоту, лишенную всего, кроме голосов призраков, которые заставляли одиноких ночных путников «сбиваться с дороги... на этом пути пропали и погибли многие путешественники». Зимой 1906 года пустыня грозила одержать верх даже над верблюдами экспедиции: Штайн засыпал ночью под их болезненные стоны, а погонщик обшивал им ноги бычьей кожей, пытаясь усилить копыта, растрескавшиеся от жесткой, просоленной почвы.

В невообразимо трудном путешествии Штайном двигала перспектива богатого археологического улова, следов некогда процветавших городов-оазисов, лежавших на Шелковом пути и благодаря ему богатевших, но оставленных столетия назад, после того как династия Мин захлопнула двери для караванного обмена между Китаем и дальним западом, и со временем поглощенных подвижными песками Такламакан (на тюркском языке буквально означает «войди, и ты никогда не выйдешь»). Для тех, кто выжил на нем, Шелковый путь в период своего расцвета нес выгоду торговли между Китаем и Индией (и в конечном итоге Европой) золотом, слоновой костью, нефритом, кораллами, стеклом, ко-

рицей, ревенем и, конечно, шелком. Но Шелковый путь не просто переправлял предметы роскоши в руки тех, кто жаждал материальной экзотики. Он был еще и дорогой, по которой из Индии в Китай продвигался буддизм. Когда монахи шли в китайскую Центральную Азию теми же путями, которыми двигались груженные товарами караваны, монастыри, гроты, пагоды и ступы — их интерьеры украшали произведения религиозного искусства — вырастали следом за ними в населенных пунктах, где они останавливались на отдых.

Штайн узнал об этих оазисах раннего буддизма не из духовных источников. Сведения были получены от шпионов и разведчиков, участвовавших в Большой Игре, борьбе Российской и Британской империй XIX века за союзы, влияние и информацию на дипломатически «ничейной территории» Центральной Азии. В 1860-х годах в качестве составляющей кампании по сбору разведывательной географической и политической информации в стране Большой Игры, которую непрерывно вела британская Индия, некий индийский чиновник был отправлен в неизвестную тогда Такламакан с задачей составления карт и описаний всего увиденного. Среди подробных записок по топографии и докладов о деятельности русских мелькали туманные упоминания о старинных домах и предметах, откопанных в пустыне. Его упоминания в течение сорока лет будут подпитывать гонку семи государств по пустыне за реликвиями Сериндианской (придуманной Штайном термин для обозначения гибридного индийско-китайского стиля в искусстве, возвращенного Шелковым путем) буддийской цивилизации, за тысячами похороненных в песках рукописей, скульптур и настенных фресок. По мере того как слухи распространялись, а иностранные путешественники начали привозить рассказы о старинных предметах, которые продавались на базарах в пустыне — заплесневевшие черные кирпичи чая, четырехфунтовые золотые монеты, буддийские статуэтки, — утрачен-

ные следы Шелкового пути стали привлекать внимание некоторых наиболее выдающихся европейских археологов-исследователей той эпохи: шведа Свена Хедина, первого европейца, проникшего в глубь пустыни Такламакан и открывшего основные места необычных находок; француза Поля Пельо, до неприличия блестящего синоведа, свободно говорившего на тринадцати языках; Аурела Штайна, которого впоследствии английский король произвел в рыцари за вклад в археологическую коллекцию Британского музея и которого в Китае поносили как империалистического грабителя пещер.

Зимой 1900/01 года Штайн совершил свой первый набег на Такламакан. Он несколько недель находился в пути, добираясь до Хотана, ныне исчезнувшего провинциального центра, и зачастую просыпался с намертво примерзшими к верхней губе холеными усами. Греться у костров, на дрова для которых шли старинные сады, некогда цветшие у бывших оазисов, Штайн и его рабочие выкапывали буддийские фрески, лепнину, обрывки рукописей на брами и китайском языке, огромные, высеченные из камня статуи, датируемые первым тысячелетием. Штайн, чьи аппетиты разгорелись, поставил перед своим вторым путешествием еще более амбициозные задачи: проверить — зная, что соперники из Германии и Франции наступают ему на пятки, — сообщения о «Пещерах Тысячи Будд», сотнях буддийских гротов с настенной живописью, притаившихся в двадцати пяти километрах от Дуньхуана, в скалах, которые поднимаются над зеленой долиной в конце Ганьсуского коридора, — последний вздох плодородной, орошаемой земли, прежде чем стены песчаных дюн по обеим сторонам сомкнутся в пустыне Лоб-Нор.

Снова подбираясь с запада в 1906—1907 годах, Штайн потратил несколько месяцев на последний этап поездки по изрытой, просоленной земле вокруг Лоб-Нор, делая по пути многочисленные остановки у полузасыпанных развалин,



стремясь откопать новые рукописи Шелкового пути и яркие буддийские фрески и поковыряться в одной древнекитайской свалке. Но в конечном итоге всего в нескольких десятках километров от Дуньхуана его продвижение было приостановлено «несомненной и сравнительно хорошо сохранившейся сторожевой башней», квадратной, со стороны примерно четыре с половиной метра и семь метров в высоту. Перед ним среди каменистой равнины, поясов песчаных дюн и «лабиринта причудливых земляных террас» из «безнадежной пустыни, где можно неделями безрезультатно искать даже соленый источник», поднимались пористые руины пограничной оборонительной системы, «остатки старокитайских дорожных башен и... линия древней «китайской стены», которая пересекала пустыню на большом расстоянии... Во многих местах она была почти полностью покрыта сыпучими песками; но ветви тамариска, которые использовали для укрепления насыпи, настолько упрямо торчали из земли, что глаз ловил строго прямую линию, когда она уходила по неровному песку на многие мили вдаль».

Когда сгущались ночные тени, «печаль по поводу этого первого следа человеческой деятельности в пустыне становилась сильнее».

Пройдя по линии стены почти пять километров на восток, Штайн начал наткаться на остатки вещей тысячелетнего возраста: обрывки шелка и пеньки, деревянный клин с надписью «сума для одежды некоего Лу Динши». Стена возвышалась местами в два с половиной метра толщиной и два метра высотой. Истинные размеры стены были скрыты под «сыпучим песком» глубиной в несколько метров, «который был навален на нее ветрами». Через каждые несколько километров стену подпирали поставленные за ней сторожевые башни, доходившие до одиннадцати метров в поперечнике и почти до семи метров в высоту. С наступлением темноты, пройдя вдоль стены около шестнадцати километров, Штайн

набрел на свои последние в тот день развалины — большую башню из утрамбованной земли, немного выветренной на верхних ярусах, чем создавался «эффект маленькой усеченной пирамиды. Мощная соляная пропитка заставляла сооружение мерцать в темноте». Штайн обнаружил самый западный участок стен ханьского Китая: двухтысячелетние валы — возведенные за двадцать лет до и после 100 года до н.э., — которые обороняли проход Яшмовых Ворот. Их пласты из земли и ветвей иногда поднимались на несколько метров, иногда их выдавали только «небольшие выпуклости на каменистой почве... да полуокаменевшие ветки, торчавшие у них по сторонам и наверху».

В тот раз Штайн задержался у стены не более чем на день-два, стремясь продолжить поход собственно к Дуньхуану. Когда он добрался туда, до него дошел слух, столь же ошеломляющий, как сам рассказ о пещерах: даосский монах, охранявший пещеры, несколько лет назад в одном из пещерных храмов наткнулся на тайник с древними рукописями. Немедленно отправившись к пещерам, чтобы все разузнать, Штайн с огорчением узнал — тот монах отправился в город Дуньхуан, намереваясь собрать денег, предположительно, на черновую реставрацию храма, которая уже началась. Поскольку чулан с манускриптами был заперт на замок, а хранитель ключа отсутствовал, Штайну ничего не оставалось, кроме как вернуться сюда в более подходящий момент. Тогда он решил пару месяцев побродить в песках вокруг старой ханьской стены, прежде чем вернуться и убедить монаха расстаться с тысячами книг, рукописей и картин на шелке, относившихся к первому тысячелетию, в обмен на сто тридцать фунтов стерлингов.

Продуваемые ветрами, пыльные пустыни северо-западного Китая во многих смыслах являются настоящим кошмаром для хранителей исторических памятников. Ветры ссыпают пески в курганы, которые поглощают прежние стены и рвы или громят открытые земляные укрепления: к

временам Штайна ханьские оборонительные сооружения вокруг Дуньхуана уже напоминали выеденные термитами замки из песка. Но иногда песчаные бури проявляют и снисходительность к труду человека: хранилища из песка и естественная сухость сохранили множество вещей, найденных Штайном. При помощи вялой команды пристрастившихся к опиуму рабочих — «еще никогда я не вел на раскопки столь безмозглую команду», которой требовались регулярные перерывы, чтобы покурить, — Штайн нашел не только фрагменты восьмикилометровой непрерывной стены, временами до двух метров высотой, усеянной сторожевыми башнями, фортами и складами, но также и отдельные реликвии и артефакты, позволившие ему датировать свои находки и представить, что за жизнь была с ними связана. Роясь в древних китайских кучах мусора у сторожевых башен, он обнаружил плошки, черпаки, палочки для еды, гребни, игральные кости, украшения, оружие и, как и должно военному посту на Шелковом пути, обрывки шаньдунского шелка. Самым ценным в историческом плане было то, что он раскопал несколько бамбуковых коленцев, на которых были выгравированы или написаны датированные подробности того, как ханьская администрация заставляла функционировать далекие аванпосты китайского могущества: пополняя зернохранилища и склады одежды, управляя почтовой системой (действовала через мобилизованных скороходов), контролируя границы, собирая таможенные пошлины, направляя послов в центральноазиатские страны, создавая военно-земледельческие поселения, чтобы решить проблемы снабжения продовольствием. «Тут доклады о передвижениях войск, быстрых переменах в штабах — и срочное сообщение о голодающих воинских отрядах», — писал Штайн другу.

«Иногда, когда я проезжаю верхом вдоль стены, чтобы осмотреть очередные башни, у меня возникает ощущение, словно я собираюсь проверить посты, где еще стоят живые

люди... Две тысячи лет кажутся таким коротким промежутком времени, когда мусор, выметенный из солдатской хижины, все еще лежит перед дверью практически на поверхности или... тропинка, за столько лет протоптанная внутри стены патрулями... и едва заметные следы вдоль берега болота, где прятались в камышах ждущие добычу разбойники-гунны».

Самые ранние из бамбуковых коленец относились к началу I века до н.э., связывая эти гарнизоны с отчетами ханьского периода о стеностроительстве при императоре У. Другие надписи на табличках, в письмах и на шелке на индийском и арамейском языках указывают на космополитическую природу движения через самый дальний гарнизон Китая. Всего Штайн прошел по стене девяносто шесть километров, остановившись у самого западного пункта, где она предусмотрительно оборвалась, чуть не дойдя до низины... представлявшей собой во многих местах непроходимую трясиину, которая благодаря поблескивавшим кристаллам соли временами все еще напоминала одно большое озеро». К югу лежала гряда особенно больших дюн; за ними снежные горы указывали направление к Тибетскому плато.

Размеры этих самых западных оборонительных укреплений предполагали наличие здесь по крайней мере нескольких тысяч солдат — тех, кто пользовался повседневными вещами, найденными Штайном. Руины караульного помещения, которое в последний раз использовалось, как предположил Штайн, в 57 году до н.э., наводили на мысль о вынужденной простоте быта на границе. Его площадь была поделена на три пустые комнаты, украшенные крюками для оружия и некогда обогревавшиеся костром, разложенным в углу, а пол завален грубыми веревочными туфлями и ковриками из потертого, многократно заштопанного шелка. Помимо предметов, рассказывавших о том, как солдаты выполняли гарнизонные обязанности — дров, приготовленных для сигнальных костров, которыми предупреждали о готовя-

щемся нападении, и сельскохозяйственных орудий — и как удовлетворялись их основные потребности, несколько табличек, бамбуковых коленец и реликвий свидетельствовали об их общественной и профессиональной жизни. Отпуска, похоже, были короткими — некий солдат по фамилии Ван работал триста пятьдесят пять дней в году. Однако Штайн также обнаружил свидетельства общения: записка, нацарапанная на деревяшке тремя друзьями, которые пришли в гости к начальнику гарнизона, или табличка, сообщавшая о приближавшемся праздновании семейного торжества. Культурное времяпровождение варьировалось от возвышенного до низменного — от занятий каллиграфией до игр в кости. Обрывки литературных текстов — книги религиозного содержания и по астрологии, а также сборник текстов о нравственности «Биографии знатных женщин» — показывают: выбор чтения на досуге (самоучители и сентиментальная, популярная классика) не сильно разнится на разных континентах и в разных тысячелетиях. Порой, однако, солдаты, посланные на самый западный край китайской земли, не могли больше держать недовольство в себе, сетуя в частных письмах на последние пять лет, проведенные в столь «жалкой стране», стеная, что император не реагирует на петиции о переводе из пустыни в другое место, и на всегда гнилую погоду весной.

Как и остатки циньской стены, ни одно из масштабных и хитроумных ханьских сооружений не похоже внешне и никак исторически не связано с каменными укреплениями, восстановленными сегодня вокруг Пекина. В письменных источниках редко идентифицируют продолжение ханьской стены на запад как участок единой Длинной стены, а вместо того тут и там упоминают тин («военные посты»), чжан («преграды») или сай («рубежи, подразумевающие наличие пограничных стен»). Исторически более скрупулезный хроникер китайских стен, чем большинство его западных коллег-исследователей стены, Штайн сам лишь изредка назы-

вает свою находку сооружений составной частью Великой стены, предпочитая вместо этого термин «китайские пограничные валы», используя латинское слово *limes* для обозначения древней оборонительной системы. Правда, общая направленность нацеленной на запад оборонительной линии периода Хань более или менее следует стратегическому пути, выбранному стеностроителями на все времена, вплоть до XVI—XVII веков. Но ханьские оборонительные сооружения забрались даже дальше, чем при Мин, династии, усерднее всех строившей стены, которые довели всего лишь до Цзяюйгуаня примерно в двухстах двадцати километрах восточнее Дуньхуана. Базовый принцип строительства этих укреплений оставался тем же, что применялся ко всем ранним китайским стенам, с которыми до сих пор доводилось встречаться: сравнительно дешевая и простая техника трамбовки, прессовка слоев из местной почвы, в данном случае глины или гальки, между фашинами из любого естественного материала, оказывавшегося под рукой (в основном из прутьев тамариска или тростника, подсушенных на солнце кирпичей). Где использовались волокнистые, уложенные слоями прутья, там общий эффект, как сегодня видно в разрозненных, разваленных блоках, напоминает массивный песчаный тысячелистник, выложенный на серо-желтой каменистой почве пустыни. Быстро, за один-два сезона, возведенные стены также неумолимо разрушались: хотя некоторым из них повезло найти защиту у сыпучих песков, открытые стихиям укрепления испытывали удары степных ветров и частиц песка. Пораженный «искусством, с каким древние китайские инженеры мастерили свои валы», используя материалы, «особенно хорошо подходившие к местным условиям», Штайн писал: «...они могли устоять против... фактически любых сил, кроме медленно перетирающей, но почти постоянной эрозии, происходившей под воздействием ветра».

Хань, где только возможно, пыталась нравственно возвыситься над Цинь как более гуманное, добродетельное,

дружелюбное лицо китайской империи. Для династии Хань были не характерны тиранические перегибы Цинь в области налогообложения, мобилизации и масштабных общественных работ, но вот в области стеностроительства Хань намного обогнала прославленных предшественников. По оценкам археологов, династия восстановила или построила более десяти тысяч километров стен по сравнению с пятью тысячами километров в период Цинь, и их стены принесли народу столько же страданий и легли в основу стольких же печальных легенд, что и их циньские предтечи. В официальных документах — как эта пропагандистская ода времен императора У — пишут, конечно, триумфально помпезно, касаясь плодов труда на границе:

Когда император производит императорский объезд,  
все сверкает.  
Когда приходит лето, он едет на север,  
во Дворец Сладкого Источника».   
Если и зима, и лето мягки,  
он ездит во Дворец Каменного Прохода  
И принимает северо-западные государства.  
Юэчжи усмирены, сюнну подчинены.  
...безграничная радость царит десять тысяч лет.

Социальный же анамнез говорит о другом. Ханьское правительство испытывало постоянные трудности с убеждением простонародья селиться в суровой приграничной зоне, а бамбуковые коленца и деревянные уголки, игравшие роль паспортов, найденные возле Дуньхуана, позволяют предположить: стены в равной степени предназначались как для того, чтобы удерживать несчастные народы китайского приграничья внутри, так и для того, чтобы сдерживать неуправляемых варваров снаружи. Важную часть гарнизонной работы — особенно на северо-западе — составлял контроль за приходящими и уходящими людьми, недопущение бегства китайцев к сюнну и ухода от налогов и





Другой поэт причитает над расставаниями, принесенными службой на границе:

Зеленеют травы на берегу;  
Я без конца думаю, как же далеко твоя дорога тебя увела,  
Так невообразимо далеко.  
Мне снилось, что я снова вижу тебя,  
Что ты рядом,  
Но проснулась и вспомнила, что ты в чужих краях;  
Чужие края и разные страны,  
Всегда в пути, в разлуке со мной.  
Изнуренный тутовник знает остроту ветра,  
Океаны знают укусы холода.  
Но те, кто возвращается, думают только о себе,  
Никто не станет говорить со мной о тебе.  
Один гость приехал из далекого уголка,  
Он приносит мне конверт.  
Я зову сына, чтобы он открыл его:  
Внутри письмо на белой материи.  
Я опустила на колени, чтобы прочесть его,  
О чем оно поведает?  
Ты начинаешь с того, что приказываешь мне больше есть,  
В конце ты говоришь, как сильно скучаешь по мне.

Для гарнизонных офицеров и начальников жизнь на границе была тоже тяжелой. Учитывая трудности, сопряженные с работой, генералы служили У с поразительной преданностью. В такой карьере, конечно, имелась и своя привлекательность: для прирожденного и особо искусного всадника и стрелка из лука, такого как Хо Цюйбин, степная война, должно быть, дарила небывало возбуждающую комбинацию скорости, риска и возможностей. Хо особенно любил отрываться от основных сил с несколькими сотнями своих лучших наездников и углубиться во вражескую территорию, имитируя тактику самих кочевников.

Тем не менее борьба с ордами сюнну, несомненно, оставалась самой трудной, самой рискованной и самой утомительной работой в империи. Таким генералам, как Хо Цюй-

бин и Чжан Цянь, противостояли самые свирепые воины в Центральной Азии: поражение в бою скорее всего означало смерть или, хуже, следующую жизнь у шаньюя в виде чаши для питья. Физические и климатические условия были в крайней степени враждебными, когда приходилось метаться между горами и пустынями, между ледяной зимой и обжигающим летом. Во время одного из сражений с сюнну разыгралась такая свирепая пылевая буря, что обе армии оказались скрытыми друг от друга. При наличии весьма ограниченных средств для связи на огромных негостеприимных пространствах (битва могла продолжаться подряд шесть дней) возможность ошибки — например, задержка с подходом подкреплений — оставалась очень велика. А конца у задачи и не предвиделось: за год Хо Цюйбин мог разбить сто тысяч сюнну и вернуть уступленные земли к югу от Желтой реки, а в следующем году сюнну снова устраивали набег.

Незаурядные успехи Хо Цюйбина в любом случае достигались огромными жертвами. Сам способный работать без усталости, он мог быть безжалостно-бесчувственным к потребностям солдат в еде и отдыхе. Сыма Цянь изображает его таким тираном-гедонистом, заставляющим солдат копать тренировочную площадку, тогда как они едва держались на ногах от голода. Между тем и генералы и солдаты получали значительные награды за победы: титулы и земли для верховного командования, хорошие деньги для его людей. Но и наказания за поражения были тоже суровыми: за исключением, видимо, непогрешимого Хо Цюйбина, почти все остальные военачальники У в какой-то момент оказывались на ковре у императора за допущенные на поле брани ошибки. Неудача во время кампании, сопряжена ли она с опозданием к месту встречи или с потерей солдат, сулила смертный приговор. Начальникам иногда разрешалось откупиться, заплатив огромный штраф — полезный источник для пополнения императорского кошелька свободными деньгами. Гражданские чиновники сильно рисковали, протестуя

против столь сурового обращения: Сыма Цяню, великому историку императора У, предложили непривлекательный выбор между смертью и оскотлением после того, как он выступил в защиту Ли Лиина, прощтрафившегося генерала (он выбрал последнее и дописал свою историю). Одна из самых жутких историй о том, как У обращался со своими генералами, касается Ли Гуана, известного стратега, который, получив серьезную рану и оказавшись в плену, притворялся мертвым до тех пор, пока не присмотрел резвого коня. Он вскочил на него и скакал во весь опор пятнадцать или около того километров, чтобы добраться до своих людей и вывести их назад на китайскую территорию, а по дороге убил нескольких преследовавших его сюнну, посылая в них стрелы из лука. Однако когда он вернулся в столицу, судебные чиновники У рекомендовали казнить его за то, что его взяли в плен живым. Он избежал смерти, лишь выкупив собственную жизнь. Неудивительно, что даже наиболее преданные генералы, чья работа заключалась в том, чтобы не позволять подчиненным своевольничать, стали смотреть на назначение на север как на то, чего следует избегать любой ценой: один из офицеров, уроженец Дуньхуана, умолял не посылать его туда, сравнивая такую судьбу с разорением и смертью. Примерно две тысячи лет спустя, когда Штайн сидел в одной из сторожевых башен, «озирая собственными глазами эти обширные пространства одинаково безжизненных топей и мелких камней... показалось нетрудно восстановить унылую жизнь тех, кто когда-то здесь обитал... все несет отпечаток похожего на смерть оцепенения».

Чистый итог всех этих кампаний и стеностроительства стал неизбежным: истощение и банкротство. Были задействованы сотни тысяч солдат — только в 111 году до н.э. сто восемьдесят тысяч всадников участвовали в параде по случаю победы, которым руководил лично император У, — и всех их нужно было кормить, одевать, вооружать, а при под-

ходящем случае награждать. По итогам кампаний 124—125 годов до н.э. в руки китайцев попали девятнадцать тысяч сюнну и миллион овец, но они и стоили двести тысяч цзиней\* золота в качестве награды и сто тысяч коней. И в степи капитуляция кочевников давалась недешево: однажды китайцы уговорили одного из правителей сюнну покориться, потратив десять миллиардов наличными деньгами — общий доход правительства за тот год — на подарки ему и его людям. Если победы оставляли китайское правительство с пустыми карманами, то поражения оказывались катастрофически дорогими: в 104 году до н.э. в одной-единственной атаке китайские войска потеряли до восьмидесяти процентов состава. Нельзя даже сказать, что все эти усилия вели к долгосрочным, ощутимым успехам в отношениях с сюнну. Китайцы так и не смогли нанести сюнну решительного поражения посредством военных кампаний или строительства укреплений: поскольку те не занимали определенную территорию, как китайцы, то их нельзя было колонизовать навсегда. Они либо отходили в северную часть монгольских степей, заставляя китайцев заниматься утомительным и бесполезным преследованием, либо выжидали, чтобы ударить в слабое место пограничной обороны. Хань неизменно действовала лучше против более оседлых народов Центральной Азии, сумев в конце концов в 102—101 годах до н.э. завоевать Даюань (Фергану, родину «божественных», потеющих кровью скакунов).

Однако на все эти расходы требовались деньги, а налоги и мобилизации казались решением, лежавшим на поверхности. Но оба варианта наводили на мысли о неуместном сравнении императора У с прежним, катастрофически непопулярным императором Китая, также известным своим стеностроительством и ненасытным аппетитом на мобилизованную рабочую силу. «Гнет военной службы способен привести к недовольству, — предупреждал один из мини-

---

\* Один цзинь — примерно 1/2 кг.

стров двора, — так как люди вдоль границы переживают великое напряжение и невзгоды, пока не начинают думать только о том, чтобы убежать, а тем временем генералы и офицеры начинают с подозрением смотреть друг на друга и вступают в торг с врагом».

Огромные финансовые затраты на агрессивную тактику императора У диктовали отход от дорогостоящей экспансии и стеностроительства в течение восьмидесяти лет после его правления и возвращение к политике «мира и дружбы». Китайский двор задрапировал потерю лица, придумав этой политике новое, более благозвучное название: данническая система. Даннические взаимоотношения Хань означали фактически тот же подкуп (деньгами, вещами и принцессами), что и политика «мира и дружбы». Единственным качественным отличием было то, что сюнну посылали Китай в качестве заложника знатного человека, выказывая знаки почтения императору и принося «дань» (которая могла включать предметы, не имеющие особой ценности для китайцев), и принимали номинальный статус вассала. Когда китайцы впервые предприняли попытку ввести в норму новую дипломатическую традицию, шаньюй страшно обиделся. «По старому союзному договору так не делалось, — возмутился он. — В рамках старого союза Хань всегда посылала нам имперских принцесс, а также определенное количество шелка, пищевых продуктов и других вещей... Теперь же вы хотите пойти против традиции и заставить меня прислать сына в качестве заложника».

Однако сюнну скоро поняли, насколько косметическим было это подчинение Китаю. В 53 году до н.э., когда власть у сюнну оказалась расколотой между двумя братьями, слабейший из них, Хуханье, бежавший на юг, на границу с Хань, послал в Китай заложника и установил свое верховенство среди сюнну — привлекая и награждая союзников, — воспользовавшись выгодами даннической системы. Все же мир, полученный за счет дани, если китайцы могли смириться с

финансированием варварского образа жизни, был дешевле стен и войн.

В 33 году до н.э. китайцы в качестве приложения к субвенции послали к сюнну китайскую принцессу. По китайской легенде прекрасная дворцовая дама Ван Чжаоцзюнь отказалась дать взятку придворному художнику Мао Яньшоу, когда тот рисовал ее портрет для императорского каталога наложниц. В отместку Мао дорисовал ей под правым глазом выгладевшую очень зловеще черную родинку. Когда император Яньди решал, которую из наложниц подарить вождю сюнну, дефект сделал Ван Чжаоцзюнь, которую император в натуре никогда не видел, очевидной кандидаткой. В тот момент, когда Яньди наконец увидел Ван Чжаоцзюнь собственными глазами, передавая ее послу сюнну, он понял — его обманули. Отказавшись от своего слова, он бы недопустимо рисковал возобновлением войны с сюнну, и Ван Чжаоцзюнь увели за стену, где ей предстояло стать царицей сюнну и важным игроком в степной дипломатии. Император же сорвал свою злость на Мао, приказав немедленно разрубить того на куски. В будущих столетиях Ван стала любимым персонажем меланхолических китайских поэтов, которые бесчисленное число раз обыгрывали легенду, иногда заставляя красавицу утопиться в пограничной реке, иногда обрекая Ван на медленную смерть от горя и тоски при дворе сюнну, так как ее «заставляли выходить во внешние покои, чтобы смотреть на песни и пляски // В ожидании вместе со своими слугами возвращения шаньюя с ночной охоты».

Ко времени рождения Христа ханьская пограничная политика проделала полный круг, пройдя от коллапса пограничной обороны среди хаоса гражданской войны через экономическую и военную консолидацию, пропаганду войны до переоценки и отхода от нее. Когда по истечении четырнадцатилетней узурпации бывшим регентом династии Хань

Китай в 23 году на два года распался на составные части в ходе в высшей степени районированной междоусобной войны, цикл, казалось, начался заново. Принципиальное состояние пограничных отношений тоже полностью повторилось: агрессия, союз, шантаж и компромисс. В дипломатических рамках рубежные стены обозначали идеализированную границу между китайцами и некитайцами, порой, но никак не постоянно, обеспеченную людьми, подстраиваемую и удерживаемую и лишь изредка неподвижную. Пока отдельные формы дипломатического подкупа, близкие по сути к политике «мира и дружбы» — единственный перспективный и эффективный способ сохранения мира, — сохранялись, обустроенные стенами границы служили либо взаимно признаваемыми, либо ненужными, а значит, демилитаризованными.

После реставрации в 25 году династия Хань просуществует еще двести лет, но уже не наделает новых ошибок со стеностроительством. Первым свидетельством того, что китайцы во второй половине правления династии Хань пришли к мысли об обновлении границы, стала попытка императора Гуаньэ (25—57 годы) обойти оставшиеся в наследство ограничения статичных стен — ясно, что конные захватчики могут спокойно скакать, пока не достигнут конца стен, — сделав стены мобильными, построив башни на платформах с впряженными быками. Китайские историки хранят стыдливое молчание относительно успеха этого предприятия. Но уж точно такой эксперимент не решился повторить ни один другой правитель.

В конце II века Хань демонстрирует безошибочные симптомы упадка династии: бесталанные императоры, доминирование евнухов, чрезмерные налоги и коррупция чиновников. Еще в 132 году в качестве реакции на слабость Хань региональные оппозиционные группировки (так называемые «магические бунтари») начали доказывать — посредством примет, чудес, предсказаний или непостижимых ме-

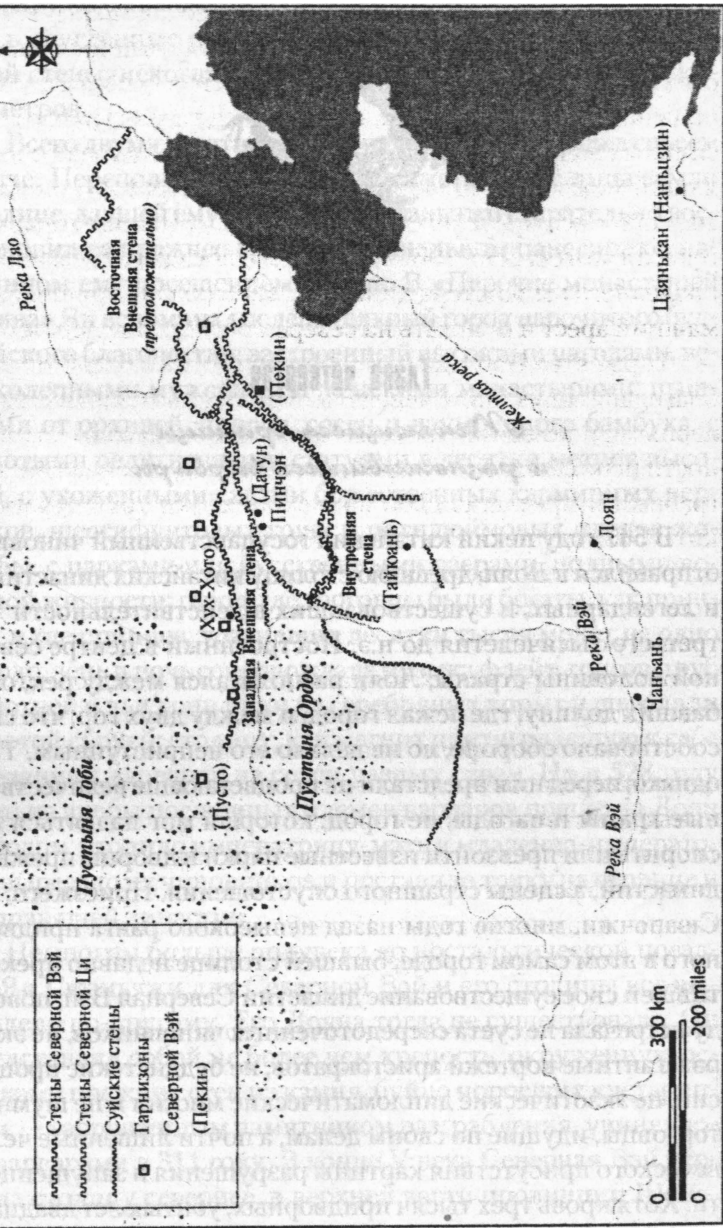
тафизических расчетов, — будто космическая энергия Хань находится на спаде, а власть следует передать династии, чьи стихии находятся в фазе восхождения. Неспособность Хань подавить местные мятежи вынудила ее назначать на места сильных начальников, которые неизбежно, подгадав подходящий момент, начинали домогаться императорской власти. Наиболее преуспел в этом Цао Цао, бывший ханьский генерал, которому в 196 году удалось посадить сбежавшего последнего императора династии Хань под постоянный домашний арест и основать на севере собственное царство.

Торжество Цао Цао над соперниками стало возможным благодаря запутанной череде менявшихся союзов между северными племенами, которые, казалось, были рады возможности использовать неустройство в Китае, устраивая набеги, грабежи и предлагая свои воинские услуги той случайной китайской группировке, которая больше заплатит. Сопровождавшие междоусобную войну беспорядки не позволяли новым китайским военным диктаторам оберегать северную границу от буйных племен, и в 215 году Цао Цао официально оставил Ордосский пограничный район, вскоре после чего Китай перестал существовать в виде единой империи.

В течение четырехсот лет ханьская династия неустанно формировала союзы, раздавала подарки и невест, вела военные действия и восстановила или построила, возможно, десять тысяч километров стен по всему протяжению своей северной границы от северо-восточного побережья до края северо-западной пустыни. Но ее усилия оказались тщетными против беспринципных племен, которым после падения в 220 году династии Хань уже было мало просто вещей и зерна от земель, лежавших южнее стены. Теперь им требовалась часть самого Китая, и никакие стены не могли их остановить.



Карта № 3. Стеностроительство: династии Северная Вэй, Северная Ци и Суй (386—618 гг.)





## Глава четвертая

### *Меняющиеся границы и разложившиеся варвары*

В 547 году некий китайский государственный чиновник отправился в Лоян, древнюю столицу китайских династий — и легендарных, и существовавших в действительности — с третьего тысячелетия до н.э. Построенный в центре северной половины страны, Лоян располагался между рек, огибавших долину, где лежал город, и между двух гор, что способствовало обороне, но не делало его неприступным. Там, однако, перед ним предстали не процветающие величественные храмы и пагоды, не город, который мог надеяться поспорить или превзойти известные парки и дворцы прежних династий, а сцены страшного опустошения. Приезжего, Ян Сюаньчжи, многие годы назад невысокого ранга придворного в этом самом городе, бывшей столице недавно прекратившей свое существование династии Северная Вэй, повсюду встречала не суeta сосредоточенных чиновников, не экстравагантные кортежи аристократов, не буддистские процессии, не экзотические дипломатические миссии и не шумные торговцы, идущие по своим делам, а почти лишенные человеческого присутствия картины разрушения и запущенности. Хотя кровь трех тысяч придворных, убитых лет двадцать

назад, уже была смыта с соседних холмов, повсюду виднелись обугленные руины дворцов и домов и остатки городской стены, некогда составлявшей в длину двенадцать километров.

Всего двумя десятилетиями ранее Лоян выглядел совсем иначе. Переполненный тоской по сметенной с лица земли столице, давшей ему работу, Ян Сюаньчжи старательно восстановил ее прежнее величие в печальном панегирике, навеянном ему посещением города. В «Перечне монастырей Лояна» Ян вспоминал ослепительный город нарочитого буддийского благочестия, застроенный высокими пагодами, великолепными мужскими и женскими монастырями, пышными от орхидей, ирисов, сосен и изумрудного бамбука, с золотыми религиозными статуями в десятки метров высотой, с ухоженными садами божественных карминных персиков, шестифунтовых груш и пятидюймовых плодов жожобы, с парками и искусственными озерами, полными водяной живности; город, где торговцы были богаты, как принцы, и где принцев, тративших десятки тысяч монет на одно блюдо, день и ночь сопровождала музыка флейт, гонгов, труб и лютней и чьи кони пили из серебряных корыт и щеголяли золотой сбруей; столицу, как магнит притягивавшую к себе преданных варваров из сотен разных стран. Но в 528 году одно из якобы послушных племен варваров пошло на Лоян походом, утопило императрицу-мать и младенца-императора, вырезало их чиновников и поставило точку на столице и ее правящей династии.

Немногим больше полувека до ностальгической поездки Ян Сюаньчжи для Северной Вэй и его столицы все выглядело по-другому. Его Лояна тогда не существовало. Он представлял собой не более чем крепость, окруженную остатками прежних стен из камня, буйно поросших кустарником, — заброшенным памятником разграбления, учиненного варварами в 311 году. В конце V века Северная Вэй держала столицу севернее, в верхней части провинции Шэнь-

си, и явно оставалась мощной политической и военной силой, как еще столетие назад: самым удачливым из сильных, воинственных пограничных племен, отхвативших примерно в 220 году после падения Хань кусок Китая и победоносно провозгласивших себя полукочевыми, полукитайскими государствами в северной половине страны.

Что же — за эти пятьдесят лет до горестного возвращения Яна к обугленным развалинам бывшей столицы — обрушило страшное бедствие на лоянских правителей? Что превратило некогда энергичную Северную Вэй в беспомощного заложника кочевых племен, среди которых она прежде числилась верховным? Китай — вот короткий простой ответ. Оказавшись у власти, императоры из кочевников в IV—VI веках — и в первую очередь Северная Вэй — первыми испытали на себе исконную дилемму, ставившую перед удачливыми степными варварами после завоевания кусков китайской империи: оставаться кочевыми воинами или же поддаться соблазну превратиться в цивилизованных людей оседлой китайской культуры, хотя они и превосходили китайцев в военном отношении, и рискнуть изменить традициям мускулистой степи, давшим им в руки Китай.

Для новых некитайских династий соблазны Китая возникли частью по необходимости, частью из-за исторически сложившихся обстоятельств и пропаганды. Первая причина окитаивания — практическая: оседлыми китайскими земледельцами нельзя было управлять как скотоводами-кочевниками. Управление по-китайски — сконцентрированное на эффективном сборе налогов и массовой мобилизации труда на общественные работы — развивалось не случайно, а в соответствии с потребностями плотно населенных, занятых интенсивным земледелием поселений. Во-вторых, Китай естественным образом привлекал подражателей и прислужников как цивилизация значительно более передовая в сравнении с большинством современных ему государств (это положение сохранялось вплоть до XVIII века. Вопреки рас-

пространенному мнению, будто Китай правил миром до 1500 года, тогда его изолированность и отсталость привела к тому, что Запад догнал Китай, он оставался мировой сверхдержавой до 1800 года, когда промышленная революция выдвинула вперед Запад). В начале первого тысячелетия Китай обладал такими техническими новшествами, как бумага и тачка, на тысячу лет раньше Европы, а благодаря устойчивому вниманию к церемониям и ритуалу со стороны общества, по крайней мере теоретически, стал и государством, более прогрессивным, чем соседние. Для многих азиатских наблюдателей Китай и его образованная, церемониальная цивилизация являлись блестящим примером для подражания и заимствования. И, наконец, аура превосходства Китая, исходившая от его эффективной и высоконаучной пропагандистской машины, от ощущения культурной уверенности в себе, подпитывавшейся реальностью собственных достижений, уверенности в том, что он и впрямь стоит в центре цивилизованного мира.

Но как только какие-нибудь завоеватели начинали отказываться от своего степного наследия — образа жизни неграмотного кочевника, звериных шкур, кумыса, юрт — в пользу земледелия, поэзии, шелка, вина и домов с крышами, они превращались в неподвижные мишени для других степных племен, каким когда-то для них был Китай. Им в скором времени тоже приходилось беспокойно оглядываться на запад и на север, готовясь к набегам менее разложившихся, все еще истинно кочевых войск. Как только бывшие степняки отказывались от культуры, замешенной на войне, прежде помогавшей им побеждать китайцев, то через каких-то два десятилетия они становились совершенно неспособными успешно, в стиле кочевников, вести карательные кампании против мятежников.

Это привело к тому, что Северная Вэй, одно из самых могущественных и устойчивых государств варваров, правивших северным Китаем с III по VI век, стала прибегать к ис-

тинно китайскому способу противостояния нападениям со стороны степи: строительству стен. Тогда это казалось отличной идеей: что может быть лучше реального утверждения о наличии большой дистанции между новоиспеченными конфуцианскими правителями Китая и по-прежнему невежественными, неграмотными племенами, оставшимися в степи? Но в случае Вэй ее стены в конечном счете оказались лишь материальным утверждением, но не эффективным оборонительным сооружением.

Племя-предшественник Северной Вэй, сяньби, не всегда увлекалось китайской культурой. В период своего расцвета, в течение II века, оно располагалось в районе гор Синьган — протяженного узкого хребта гладко выветренных, покрытых лесом гранитных пиков на границе сегодняшних Монголии и Маньчжурии, — куда бежало от победоносных орд сюнну Маодуня в конце III века до н.э. Однако через три с половиной столетия после Маодуня сюнну превратились лишь в тень самих себя. Примерно в 50 году, подвергшись согласованному военному давлению нескольких соседних племен, новый вождь сюнну вынужден был униженно исполнить перед китайцами коутоу и подчиниться приказу ханьского императора о переносе своей ставки в Мэйцзи, в северо-восточном углу петли Желтой реки. В 80 году китайское войско, выйдя за пограничную стену в Шофане, на северо-западе петли Желтой реки, полностью уничтожило остатки державы северных сюнну.

Восхождение звезды сяньби явилось прямым результатом заката сюнну. «В период правления императоров Мин и Чжан (58—88 годы) сяньби придерживались линии стены, и никаких проблем не возникало, — записано в хронике периода поздней Хань. — При императоре Хэ (89—105 годы)... сюнну были разгромлены. Северный шаньюй бежал, а сяньби вошли и заняли его земли. Оставшиеся сюнну, те, кто не ушел с ним, все еще насчитывали сто тысяч юрт и приня-

лись именовать себя сяньби. С того времени сяньби стали набирать силу».

К 140-м годам, когда сяньби предприняли захват Монголии и заняли Ордос внутри северной части петли Желтой реки, китайцы отреагировали на появление новой степной силы слишком вяло. Памятуя о традиционной и любимейшей им пограничной стратегии «использовать варваров для сдерживания варваров», китайцы настойчиво пытались склонить их к союзу против сюнну с помощью денег и торговли — «дань» сяньби в виде соболей и коней шла в обмен на китайские подарки, которые имели вдвое большую стоимость, — и никак не могли понять: угроза со стороны сюнну не шла ни в какое сравнение с угрозой сяньби, деловито прибиравших к рукам всю бывшую территорию сюнну. Китайцы проявили неслыханную щедрость, или беззаботность, вооружив сяньби после того, как утратили возможность контролировать проходы в пограничной стене, стремясь не допустить контрабанды китайского железа. Правивший в то время ханьский император Лиин явно недооценивал природу угрозы сяньби, поддерживая в высшем свете моду на юрты варваров, пользуясь ими у себя во дворце. Сяньби проявили равнодушие к моде на подражание повадкам варваров при китайском дворе и остались неконтролируемой пограничной угрозой, не испытывая ни малейшего благоговения перед авторитетом китайской цивилизации.

С точки зрения китайцев, племенные законы и традиции сяньби заставляли сюнну выглядеть почти цивилизованными. Хотя сюнну в глазах китайцев были, несомненно, варварами, их организация и администрирование задевали знакомые струны в китайских приверженных порядку, бюрократизированных душах: у них соблюдались иерархия и принцип наследования — потомки Маодуня целых пятьсот лет вполне успешно защищали свои права на управление сюнну — на столетие дольше, чем самая долговечная китайская династия Хань. Сяньби же относились к наследованию

более анархично, выдвигая на первый план способности кандидата. Выбор падал на вождя, сумевшего показать наибольшую доблесть в бою. Вместо длинных родовых имен «использовались только личные имена их самых храбрых вождей». Таким образом, слабых и миролюбивых предавали забвению, а воинственных поминали. В результате сформировалось племенное сообщество даже эндемически более жестокое, чем у сюнну. Сюнну по крайней мере признавали существование мира, а не только войны: всякий сюнну, обнаживший меч в мирное время, подлежал наказанию смертью. Среди же сяньби, «если происходило убийство, то соплеменникам предлагалось мстить самим»; только «в том случае, когда месть продолжалась неопределенно длительное время», они обращались к верховному вождю, прося «уладить вопрос». Согласие с Китаем и соблюдение границы, отмеченной рубежной стеной, лежало вне интересов сильных вождей сяньби. Личный авторитет и власть верхушки удачливых военачальников сяньби росли во время войн. Неудивительно, что они были заинтересованы не столько в переговорах, сколько в уничтожении противника.

Хотя преждевременная смерть первого великого правителя сяньби, Таньшихуая, в 180-х годах принесла временную передышку на северной границе Серединного Царства, к этому времени ханьский Китай сам по себе распадался на куски, отходившие китайским военным кликам, более агрессивным, безнравственным и способным на риск, чем сами кочевники. При таком переплетении прежних культурных и военных различий между китайцами и варварами старая граница, отмеченная стенами, тоже стала расплывчатой, и в течение трех с половиной столетий, между крушением Хань в 220 году и объединением Китая при династии Суй в 581 году, политические режимы и границы менялись постоянно, угроза анархии и гражданской войны присутствовала всегда. «Троецарствие» — Вэй на севере, Шу-хань на западе



и У на юге и юго-востоке — сначала сменилось династией Западная Цзинь, на короткое время объединившей Китай в 280—316 годах, затем Восточной Цзинь, потом Сун, Ци, Лян и Чэнь, которые в свою очередь были свергнуты в результате мятежей аристократии, армии и магов.

Северные племена с удовольствием предлагали себя китайцам в качестве наемников до 304 года, когда, устав изображать зависимость от военных клик, они впервые начали основывать в северном Китае собственные государства. Такое решение частично принималось из финансовых соображений: во времена междоусобной войны в Китае доходы от даннической зависимости становились крайне неудовлетворительными. Действительно, после краха династии Хань северный Китай, никак не способный содержать кочевников в шелке и чае, настолько обнищал, что сюнну сами продавали китайцам товары, ранее полученные от них. Подобное положение стало возможно под влиянием успешной цивилизаторской линии Китая в отношении сюнну. С тех пор как отдельные племена сюнну в 50-х годах переселились внутрь петли Желтой реки, они все больше подпадали под воздействие китайского образа жизни и управления. В качестве дополнительной меры по контролю над границей китайские военные диктаторы со времен падения Хань удерживали шаньюя заложником при дворе. Чистым результатом такой политики можно считать полностью и окончательно китаизированного правителя сюнну: первый император сюнну, Лю Юань, потомок Маодуня, имел классическое китайское образование и — что более существенно — пятьдесят тысяч воинов под рукой. После основания в 304 году своего государства сюнну продолжили уничтожение китайского контроля над севером, захватив оба столичных города — Лоян в 311 году и Чанъань в 316 году — и казнив императоров, причем недавняя волна китайского пограничного стеностроительства им нисколько не помешала.

Через год после номинального объединения Китая в 280 году китайская династия Цзинь начала строить стены против набегов на северо-востоке по современным провинциям Хэбэй и Ляодун, находящимся неподалеку от побережья Бохайского залива. История династии повествует: в 281 году некий пограничный чиновник «открыл старую границу и взял территорию в тысячу ли. Старую циньскую стену перестроили, и она протянулась по горам и ущельям более чем на три тысяч ли... Он поделил армию на гарнизоны, построив сторожевые башни для наблюдения за данным районом, после чего на государственной границе воцарился мир и даже собаки не поднимали тревожного лая». Почти ничего сегодня не осталось от этой кратко описанной стены, которая, несмотря на подаренное ею псам династии ощущение безопасности, не сумела защитить государство Цзинь ни от внутренних, ни от внешних врагов. Когда после объединения Цзинь попыталась расформировать армии, демобилизованные солдаты зарабатывали деньги, продавая оружие через северную границу, в то время как династию разрушали варвары, уже уютно устроившиеся внутри стены. После успеха сюнну Китай оказался поделен между государствами варваров к северу от Янцзы и китайской династией Цзинь к югу от реки. До семидесяти процентов представителей высших слоев китайского общества бежали на юг, в южную столицу Наньцзин. Постыдное бегство стало для них тяжелым психологическим ударом, толкнув многих искать утешения в новой иностранной вере: буддизме.

Однако для управления Китаем нужно иметь значительно больше, чем конфуцианское образование и большую армию, что вскоре поняли сюнну и пятнадцать других группировок варваров, основавших в 304—439 годах государства в северном Китае. Некоторые из них просуществовали всего десять лет, но ни одно больше шестидесяти двух, и все стояли перед проблемой, как управлять двумя типами территорий — обрабатываемыми полями и степью; как прими-

рить китайский уклад оседлого земледелия и управления с образом жизни скотоводов-кочевников, являвшимся идеальным для ведения войны и меньше подходившим к администрированию захваченной территории. Китайские принципы управления сводились к побуждению к долгосрочному сельскохозяйственному развитию и повышению доходов от налогов для финансирования растущих, все более плотно населенных и сложных поселений. Кочевые племена — включая даже китаизированных сунну — больше интересовала краткосрочная эксплуатация земли (для выпаса скота и набегов), и они перекочевывали на новые пастбища каждые несколько месяцев. Другой трудностью стала вековая вражда между кочевниками и китайцами: китайцы видели в северных племенах варваров, совершающих набеги, а кочевники в китайцах — цель набегов. Кроме того, у двух обществ существовали совершенно разные точки зрения на правление. Китайская политическая традиция распространяла власть императора на «все и вся в Поднебесной», тогда как политические интересы племенного вождя были много уже и ограничивались благополучием соплеменников. Любой шаньюй с претензией на всеобъемлющие заботы китайского императора неизбежно вызвал бы неудовольствие в своем племени.

В государствах по всему периметру северокитайской территории — от плато и долин Тибета на западе до степей и лесов Маньчжурии на северо-востоке — неизбежные конфликты снова и снова выходили на поверхность. Если преобладал племенной образ жизни, то китайцы считали себя эксплуатируемыми и терроризируемыми. Если преобладал китайский способ управления и бюрократы начинали доминировать над солдатами, кочевые войска, от которых зависела военная мощь государства, чувствовали себя ущемленными и бунтовали против императорского двора. Фань Ши, сановник-кочевник из северо-западного царства, жаловался велеречивому китайскому министру, нанятому его госу-

дарством: «Раньше мой отряд участвовал с прежними вож-  
дями в начале этого предприятия, но теперь у нас нет влас-  
ти. Тебе никогда даже не приходилось заставлять своего  
коня потеть, как смеешь ты руководить? Это как если бы  
мы пахали и сеяли, а вы поедали выращенное нами!» — «Тог-  
да, — усмехнулся невозмутимый министр, — нам следовало  
бы сделать тебя еще и поваром. Почему ты должен только  
пахать и сеять?» — «Даже если это будет моим последним  
делом, — бросил разгневанный кочевник, — я повешу твою  
голову на городских воротах Чанъани!» (Тогда обстоятель-  
ства сложились неудачно для рассерженного Фаня, вскоре  
казненного своим правителем.)

Лишь племена из одного района — сяньби из Маньчжу-  
рии — смогли довольно успешно править и Китаем, и сте-  
пью, так как географические и экономические условия их  
района естественным образом объединяли и степной, и зем-  
ледельческий уклады. В нижней Маньчжурии долина реки  
Ляо позволяла вести земледелие китайского типа. Далее, на  
север, шли степи и леса, способствовавшие пастушеству и  
скотоводству. Данный район обладал также удачным рас-  
положением со стратегической точки зрения: он прилегал,  
но географически был изолирован от равнин северного Ки-  
тая горами и единственным прибрежным проходом, являю-  
щимся воротами из Маньчжурии в остальной Китай и став-  
шим в период династии Мин ключевой крепостью в погра-  
ничной стене. При отступлении Маньчжурия делалась обо-  
ронительной твердыней, при наступлении — давала быстрый  
доступ к другим районам Китая. Относительная изоляция  
от Китая и его политического хаоса дала Маньчжурии вре-  
мя и пространство для развития собственной формы двой-  
ного управления, разделив администрацию на бюрократию  
китайского стиля для сельскохозяйственных районов и пле-  
менное руководство для армии.

Еще в 294 году племя сяньби успешно применяло ки-  
тайские организационные формы на маньчжурской терри-

тории: построило столицу, обнесенную стеной, поощряло земледелие, производило шелк, задействовало китайских бюрократов и назвало свое государство Янь, по имени старого, времен Воюющих Царств, китайского государства на северо-востоке. Но только в 352 году, когда чиновники обратились к нему с прошением стать императором, вождь сяньби, Мужун Цзюнь, продемонстрировал всю глубину своего восприятия китайских манер поведения. Он ответил с убедительной плавностью на елейно-самоуничижительном языке конфуцианского правителя: «Прежде нашим домом являлись степи и пустыни и мы были варварами. С таким прошлым как мне осмелиться встать в прославленный ряд китайских императоров?»

В начале следующего года он провозгласил себя императором.

Династия Янь, павшая всего через восемнадцать лет после своего основания, просуществовала несколько не дольше, чем большинство ее соперников, но отчетливо указала другим пограничным племенам, как в принципе может быть организовано правительство для управления и кочевниками, и китайцами. Когда тибетское племя, разбитое Янь, само оказалось ввергнутым в раздоры по поводу наследования, сцена очистилась для появления другого родственного сяньби племени, тоба, которое основало государство Северная Вэй, более осязаемое по размерам, более прочное и в конечном счете более китайское, чем любое государство их предшественников — варваров.

Вынужденное отступить, после того как заняло не ту сторону (китайскую) в 311 году во время борьбы за Лоян, занимавшееся охотой, сбором трав и обитавшее в юртах племя тоба под предводительством своего вождя, Тоба Гуя, пробились от обнесенной частоколом временной ставки в западной Маньчжурии к управлению империей, раскинувшейся в северной половине Китая. С 396 года, когда Тоба Гуй объ-

явил себя императором династии Северная Вэй, и до 410 года тоба подчинили весь северо-восточный Китай. К 439 году они сделали своим и северо-запад.

Чем бóльшие территории покоряли тоба, тем больше они нуждались в оседлом, бюрократическом образе жизни китайцев, чтобы руководить своими новыми приобретениями. Невероятно богатый благодаря доходам от войны (по крайней мере поголовью скота — только одна кампания до 396 года принесла ему четыре миллиона голов скота, овец и коз), Тоба Гуй своим поведением все более походил на почтенного китайского правителя: писал законы, запретил кочевать и отправил соплеменников в государственные гарнизоны с определенной дислокацией. Но самым символичным поворотом тоба в сторону китайского постоянства было то, что они строили: сначала столицы — с дворцами, дорогами и храмами, а потом и рубежные стены для защиты своих новых владений от алчных кочевников, обитавших еще севернее.

Первые одиннадцать лет управления Тоба Гуй создавал столицы кочевого стиля. Другими словами, у него были только временные столицы, и он перевозил свой двор из города в город, куда его приводили боевые действия, преимущественно в районе Иньшань центральной части Внутренней Монголии. Однако захват в 398 году столицы соперника заставил Гуя задуматься о собственном городе, и он быстро выбрал Пинчэн на севере Шаньси — недалеко от вероятной линии границы Цинь и ранней Хань. Историческое место, где проходили многочисленные приграничные сражения, набеги и оборонительные бои (включая унижение Гаоцзу от рук Маодуня в 200 году до н.э.), Пинчэн стал хорошим стратегическим выбором для империи, включавшей и степь, и земледельческие районы. Он был зажат между старым оплотом тоба, горным хребтом Иньшань на севере, Ордосом на западе и Шаньси и Хэбэем на юге. С резким климатом (зимние температуры здесь опускаются до минус 15 градусов по Цельсию) и неприветливым рельефом (Шаньси в

среднем поднимается над уровнем моря на тысячу метров), этот район и сегодня сохраняет пограничную унылость. Дальше на юг усердная ирригация превратила мягкие желтые террасы лессовых почв Шаньси в плодородную землю для выращивания таких культур, как пшеница и просо. На более холодном и сухом севере провинции земля растрескивается пустыми бесплодными оврагами, сменяющимися только деревьями с земляными стенами неприятно коричневого цвета. В некоторых из них еще стоят сторожевые пункты от их прежней границы. Однако если поселение в Пинчэне насчитывало много лет, то саму по себе столицу Тоба отстроили заново. Столица Гуя строилась руками иммигрантов: после кампаний в Хэбэе на север пригнали более трехсот шестидесяти тысяч чиновников, простолюдинов, людей из племен и других «пригодных варваров». Тысяча квадратных километров территории северной Шаньси превратилась в императорский домен, часть которого Гуй выделил иммигрантам поневоле для сельскохозяйственных работ, чтобы снабжать новый город.

По кочевым стандартам Пинчэн Гуя являлся внушительным городом — с пригородами, каналами, несколькими дворцами, построенными военнопленными, и огромным парком, где водились олени. Однако китайцев он не впечатлил: они презрительно сравнивали город не с устоявшейся столицей, а с кочевым лагерем, «передвигающимся в поисках воды и пастбищ и не имеющим городских стен». Еще Пинчэн создавал проблемы со снабжением; находясь далеко на севере, он был подвержен голоду — то из-за морозов, то из-за засухи. Перенос же столицы дальше на юг оставил бы северные степные районы беззащитными перед нападением кочевых племен, менее изнеженных китайскими земными благами. Опаснее то, предостерегал один из китайских чиновников, что близкое знакомство может взрастить презрение. Если тоба переедут на юг и станут жить среди массы китайцев, они утратят пугающую таинственность, нужную,

чтобы внушать благоговейный страх новым подданным. Вопрос отложили на несколько десятилетий.

Когда тоба осели на севере, в степи появилось пространство для появления новой волны хищников: жоужань, племя, чье название иногда на китайском языке оскорбительно писалось «жужу» (буквально — «извивающиеся черви»). Однако если жоужань наивно полагали, будто тоба так быстро пришли к упадку, то они сильно ошибались. Большую часть V века армия Тоба оставалась лучшей в китайском и кочевом мире и строила стены по всей длине северной границы, откуда устраивались карательные экспедиции против жоужань. В 423 году раздраженный пограничными набегами на основные сельскохозяйственные колонии, созданные к северу от Пинчэна, принц тоба «построил Длинную стену... Начинаясь в Чичэне и доходя на западе до самого Уюаня, она имела протяженность более двух тысяч ли, и по всей ее длине размещались оборонительные гарнизоны». Чичэн находится в современной провинции Хэбэй, немногим дальше ста километров на север от Пекина, а Уюань был пограничным городом-крепостью, основанным генералом ранней Хань, Хо Цюйбином, примерно на полпути вдоль северной оконечности петли Желтой реки. Новая стена опоясывала старый оплот тобской Вэй, район, который они заняли, прежде чем двинуться на юг, к Пинчэну, грубо повторяя линию, уходящую в пустыни Внутренней Монголии, вдоль которой проходила старая стена государства Чжао эпохи Воюющих Царств.

В 424 году примерно шестьдесят тысяч жоужань прорвались через стену и атаковали Шэнлэ, бывшую столицу тоба, к северо-востоку от восточного угла петли Желтой реки, примерно в сорока километрах от Хух-Хото во Внутренней Монголии. Вэй два года вела военные операции, в результате чего жоужань были отброшены далеко в пустыню. В 429 году армии Вэй снова пошли на север, нанесли жоужань поражение и переселили их на травянистые равнины южнее монгольской пустыни, но севернее стены. Одновремен-



но вэйские императоры для поддержания порядка среди кочевников в степи начали создавать цепочку основных гарнизонов от петли Желтой реки на западе до Чичэна, восточной оконечности вэйской стены. Более предназначенная для наступления, чем для обороны, Длинная стена ранней Северной Вэй явно преуспела в выполнении отведенной ей задачи: охране и даже приращении северных богатств империи. В 429 году торжествующий вэйский император Шицзу начал заключительные кампании по захвату бассейна Желтой реки, чувствуя себя неуязвимым для врагов с юга и с севера:

«Китайцы — пехотинцы, а мы конники. Что может стадо жеребят или телок сделать против тигров или стаи волков? А что касается жоужань, то летом они на подножном корме на севере, осенью же кочуют на юг, а зимой устраивают набег на наши границы. Нам нужно атаковать их только летом на их пастбищах. В это время их лошади бесполезны: жеребцы охраняют свои табуны, а кобылы присматривают за жеребятами. Если они в течение нескольких дней не найдут траву или воду, то падут».

В отличие от китайских династий, многие из которых были обуяны риторическим утверждением культурного превосходства над кочевниками, имеющими «человеческие лица, но звериные сердца», некитайская Северная Вэй прагматически занималась анализом и использованием сильных и слабых сторон своих степных противников.

Большую часть своего правления Шицзу сопротивлялся мыслям о большей роскоши и меньшей функциональности зданий. Стены можно было допустить, если они служили дальнейшему расширению с таким трудом завоеванной военной империи. Если же отвлекаться на столицы и дворцы, то, по контрасту, они станут символом бессмысленного разложения, легкомысленным занятием для исторических неудачников (первым делом Шицзу имел в виду пораже-

ние от Вэй и гибель в 431 году северо-западного государства Ся, всего через тринадцать лет после того, как построили великолепную, обнесенную тройной стеной столицу). Однако в конце концов, начиная с 450 года, Шицзу — в последние два года своего правления — и те, кто его сменил на троне, поддались стремлению к великолепию и принялись украшать Пинчэн. Столица в скором времени превратилась в огромный военный дворцовый комплекс, в скопление императорских зданий — три только для одного императора, одно для наследника, с отдельными зданиями для дворцовых дам — и военных казарм. Город, в сущности, представлял собой причудливый и, предположительно, гармоничный брак между военной культурой, позволившей Тоба заполучить Китай, и степенным и чопорным китайским образом жизни, к которому Вэй начинала склоняться. Хотя тобской Вэй Пинчэн, вероятно, казался высокоцивилизованным городом, китайские наблюдатели не приходили от него в восторг, с особым презрением выделяя приверженность сяньби религиозным культам: «Каждый год в четвертый день четвертого месяца они приносят в жертву быков и лошадей, а певцы при этом носятся вокруг алтарей верхом».

Китайские посетители могли и не восхищаться Пинчэном, но сама династия Северная Вэй считала: их столица заслуживает нового пояса стен для защиты. В 446 году Шицзу приступил к строительству «преграды вокруг столицы... послав сто тысяч человек из провинций Сы, Ю, Дин и Дай [в современных Шаньси, Большом Пекине и Хэбэе]... Оно началось в Шангу и продолжалось в западном направлении на протяжении тысяч ли, пока не подошло к Желтой реке... Строительные работы закончились во втором месяце [448 года]». Проследим, как гипотетическая линия этой стены идет от лесистых гор Шангу — теперь Яньцин, к северо-западу от Пекина — через коричневую Шаньси, углубляясь километров на сто двадцать пять на юг от Пинчэна, пока не заканчивается возле желтых лессовых холмов у Пяньгуаня

на восточном берегу Желтой реки. Вместе с внешней стеной, построенной во Внутренней Монголии в 420-х годах, вэйская стена вокруг Пинчэна стратегически предвосхитила более позднюю оборонительную систему минской двойной Длинной стены, защищавшей Пекин; при этом внутренняя стена предназначалась для охраны столицы в случае падения внешней стены.

Неустойчивый баланс между племенным и китайским влияниями, поддерживавшийся Северной Вэй, нарушился с приходом к власти императрицы Фэн после смерти ее мужа в 465 году. Китайская аристократка по рождению — ее отец служил губернатором провинции, — Фэн оказалась в гареме императора сяньби после казни отца. Испытывая с того времени серьезную неприязнь к обычаям сяньби, она начала против них полномасштабную войну сразу после того, как смерть мужа-императора и малолетство сына поставили ее у руля государства. Избавившись в 466 году от своего главного министра сяньби и заменив его китайцем-ханьцем, она начала составлять указы, предписывавшие уничтожить все следы племенных традиций, не разрешающих шаманам и колдунам появляться в конфуцианских храмах, запрещающих деятельность медиумов, прорицателей и проведение кровавых усобиц, поощряющих занятия сельским хозяйством и замену варварских жертвоприношений небу на почитание древних китайских императоров. Крестьяне, оказавшиеся под властью Северной Вэй, были организованы совершенно по китайскому, легистско-конфуцианскому образцу, поделены на группы семей под началом старост, ответственных за сбор налогов. Всякое свободное время в зимние месяцы, требовала Фэн, должно тратиться на посещение курсов конфуцианской нравственности.

Старания династии выглядеть китайцами были вызваны опасениями относительно культурной и политической легитимности их некогда варварского режима в северном

Китае и усиливались стыдливими взглядами на китайское государство к югу от Янцзы. До крушения Хань бесспорный центр китайского традиционализма располагался на севере, особенно вокруг древних столиц Чанъани и Лояна. Но после захвата этих двух городов в 311 и 316 годах армиями сюнну многие представители китайской северной аристократии бежали из традиционных центров китайской цивилизации — Хэбэя, Хэнани, Шаньси и Шэньси, из окрестностей столиц Чанъани и Лояна — на юг, неизменно рассматривавшийся северянами как глушь, заросшая влажными, полными болезней джунглями. Поначалу эмигранты ужасно тосковали по родине. Все казалось не таким: пышная зелень лесов и рисовых полей составляла драматический контраст с пыльно-желтыми лессовыми равнинами, где росли просо, пшеница и бобы. За китайскими поселениями жили не китайцы, южные «варвары» мань. Даже сегодня китайцы иногда используют некогда уничижительное слово «мань», буквально означающее «дикари», как собирательный термин для южан.

В начальные годы изгнания эмигранты упорно держались северных обычаев как «чистых» в культурном отношении: они отказывались довольствоваться южной кухней, чью основу составлял рис, оплакивая отсутствие любимых пшеничных пельменей и блинов. В своей новой столице, Цзянькане (нынешний Наньцзин), они не отступали от старых северных придворных ритуалов и лоянского диалекта, даже когда при наводнении на Янцзы вода мочила полы их халатов. Но к V веку северные семьи акклиматизировались и ели рис, разговаривали на местном диалекте и отправляли рабочие партии расчищать пустующие земли. Вскоре юг стал процветать благодаря его естественно плодородным заболоченным землям и водным путям, способствовавшим развитию связей и торговли. А с успехом пришла и новая китайская культурная самоуверенность, возникшая из презрения к северянам: к тому, как те по-варварски заплетают

волосы в косы, к их деревенской легкомысленности. Северная литература, фыркали южные читатели, «похожа на крик осла и лай собаки». По мнению впечатлительных южан, северных женщин возмутительно распустили: они с изумлением наблюдали, как женщины к северу от Янцзы выносят на люди семейные дела и юридические разногласия. Они даже осмеливались требовать от своих мужей моногамии в отличие от юга, где мужчины намного энергичнее приобретали наложниц.

Правящая элита северного Китая — большинство ее представителей после миграции китайской аристократии на юг были сяньби или помесью варваров и китайцев — отвечала на высокомерие южан презрительной резкостью, в которой безошибочно звучало раздражение, отражающее ее собственные претензии быть хранительницей китайской цивилизации. Попивая молочные продукты, северяне высмеивали южан, предпочитавших чай. «Чай, — объявил один из вэйских чиновников, — настоящий раб кислого молока!» На банкетах, где присутствовали и северные, и южные аристократы, легко возникали перебранки относительно того, какая из сторон более цивилизована. Во время одного особенно бурного спора замечание южанина о том, будто династия Вэй является «варварской», вызвало целый поток неприкрытой злобы северян: «Вы нахалы, вы рыбы и черепахи... Ваши земли заболочены; они прокляты малярией и кишат насекомыми. Лягушки и жабы нежатся в одной луже, люди живут вместе с птицами». Южане, продолжал разгневанный северянин, «мелкие и татуированные», их правители «жестокие и противные», склонные к убийству и разврату, «не лучше птиц или зверей». У вас слишком маленькие шапочки, а одежды слишком короткие... вы пожираете суп из лягушек и жаркое из устриц, считая их великим лакомством... Убирайтесь немедленно!» Хотя составитель записи острого спора (северянин) пишет, как эта «изящная и воспитанная речь» настолько ошеломила южанина, что у него

заболело сердце, продолжительность и жесткость тирады северянина позволяет, видимо, предположить: этот полуварвар был и впрямь излишне многословен.

Довольно скоро ощущение Северной Вэй своей культурной незащищенности начало отрицательно сказываться на пограничной политике. В 484 году Гао Люй, один из китайцев, получивших высокие посты сразу после того, как Фэн казнила главного министра сяньби, выступил с политической речью, где призвал двор и его войска полностью отказаться от степных приемов ведения военных действий, благодаря которым они покорили северный Китай, и принять чисто китайский подход к вопросам обороны. «Северные варвары, — начал он, — свирепы и глупы подобно диким птицам и зверям. Их сила — бой в чистом поле; их слабость — штурм стен. Если мы воспользуемся слабостью северных варваров и тем самым преодолеем их силу, то, даже если их будет очень много, они не принесут бедствия к нашим дверям, и даже если они придут, то не смогут проникнуть на нашу территорию... По моим подсчетам, есть пять обстоятельств в пользу строительства длинных стен: оно покончит с проблемой подвижной обороны; кочевники смогут пасти свой скот на севере, потеряв интерес к набегам; мы сможем смотреть на врага с высоты стен, и больше не придется ждать нападения; снимается тревога за оборону границы и необходимость строить оборону при нужде; это позволяет легко доставлять припасы и, таким образом, не допускает нехваток».

Стены, указывал Гао, выступая перед своей императрицей, имеют прекрасную китайскую родословную: «В прежние времена Чжоу приказали Нань Чжуну построить стену в северном районе; Чжао Лин и Ши-хуанди строили длинные стены, а ханьский император У последовал их примеру». Потом Гао копнул еще глубже в китайское прошлое, отмечая, что в чжоуском каноническом гадательном трактате IX века до н.э., «Книге перемен», имеется ссылка на

«правителя, обладающего укрепленными пунктами для обороны своего царства... Может это означать строительство длинных стен?».

«В данный момент нам лучше всего следовать древним в строительстве длинной стены на север от [пограничных] гарнизонов, чтобы защитить себя от северных варваров. Хотя это означает временные затраты труда, однако принесет долгосрочные преимущества. Однажды построенная стена принесет пользу сотне поколений... Когда варвары придут, на их пути встанут укрепления и солдаты, которые будут способны их оборонять. Поскольку они не умеют штурмовать укрепления, набег им ничего не даст. Когда у них закончится провизия, они уйдут и проблема будет решена».

План Гао Люя включал два этапа: «в седьмом месяце отправить шестьдесят тысяч человек шестью частями... в северные гарнизоны».

«В восьмом месяце... показать нашу мощь к северу от пустыни. Если варвары нагрянут, мы должны навязать им решающее сражение; если нет, то армия должна быть рассредоточена по району для строительства длинных стен. По моим расчетам, дистанция, которую контролируют шесть гарнизонов, не превышает тысячи ли, и если один солдат может построить стену длиной в три шага за один месяц, то триста человек смогут построить три ли, три тысячи человек — тридцать ли, а тридцать тысяч — триста ли, так что для строительства тысячи ли стены потребуется сто тысяч человек и месяц работы. Поставить зерно на один месяц будет не слишком трудно».

«А поскольку, — добавил он с надеждой, — люди поймут долгосрочные преимущества стены, работать они будут без жалоб».

Из источников неясно, воплотился ли когда-либо план Гао Люя. Есть вероятность — его предложения касались все-

го лишь ремонта или укрепления линии, уже построенной в 420-х годах. Возможно, однако, что дополнительный отрезок стены был построен к востоку от более ранней и отходил дугой от горно-холмистой местности вокруг Чичэна на севере Хэбэя, восточного окончания первой стены, немного заходил во Внутреннюю Монголию, прежде чем, подойдя к реке Ляо, достичь каменистых, поросших лесом холмов провинции Ляонин. Затем либо стена повторяла береговую линию этой водной артерии, либо река использовалась в качестве естественной преграды вплоть до морского побережья Ляодуна. Лучшим тому свидетельством является трактат VI века о реках Китая, описывающий положение пограничной стены на северо-востоке в привязке к местным водным путям. Археологи в 1960 и 1970-х годах находили разрушенные отрезки стены — либо облицованных камнем и наполненных гравием и крупным песком, либо земляных, включенных в систему естественных преград (гор и рек), — вероятно, датированных этим периодом. Однако предложения Гао показали с поразительной ясностью радикальную трансформацию мировоззрения тоба от экспансионизма кочевников к комплексу превосходства замкнутых китайцев. И по форме, и по содержанию его речь совершенно китайская — от его одержимости строительством отгораживающих барьеров между Северной Вэй и варварами на границах до дегуманизации кочевников как «диких птиц и зверей» и желания смотреть на них с высоты стен. То, что Гао, китаец, высказывает такие идеи, несколько не удивительно, а вот то, что он дает такой совет правителям-некитайцам, кочевникам по происхождению, вероятно, уверенный, что он будет положительно принят, является более примечательным. Двадцать лет спустя военный дух Северной Вэй упал до такой степени, что даже ветераны-генералы уже втолковывали эту же линию своим готовым ее принять правителям: «Оборонительные сооружения [со стеной] являются лучшим способом отделить тех, кто ест зерновые, живет в городах и домах, но



сит шелк и прогуливается, как образованный человек, от тех, кто носит шерсть и пьет кровь, кто живет с птицами и зверьем... Нам следует соединить старые форты между востоком и западом, построив стены и оборонительные сооружения, разместив солдат, чтобы не тревожиться... Соответственно наш авторитет вырастет, а армия будет процветать... банды грабителей не посмеют нападать на стены и крепости, не осмелятся они также проникать южнее стены, и, таким образом, север не будут беспокоить». Император последовал совету [своих генералов]».

Насколько бы реальной ни была стена Северной Вэй, вскоре после рекомендаций Гао Люя границу полностью забросили правители, занявшиеся еще более отчаянным поиском китайскости. В 493 году император Сяовэнь покинул Пинчэн с миллионной армией и отправился в поход против южного Китая. Сяовэня преследовала ужасная погода: дождь, ливший настолько яростно в течение двух месяцев, что старшие чиновники императора пали ниц перед его конем и взмолились отпустить их домой. Император, гневно посетовав на то, что его советники хотят помешать ему объединить Китай, предложил им выбор: либо он продолжает кампанию, либо они соглашаются на то, чтобы он построил свой собственный уголок Китая — настоящую китайскую столицу, где они в тот момент находились, в Лояне, все еще лежавшей в руинах столице поздней Хань, разрушенной сюнну в 311 году. Готовые согласиться на все, что угодно, лишь бы обсушиться, советники приняли условие императора.

Истинный внучатый племянник императрицы Фэн, Сяовэнь никогда не чувствовал себя счастливым в Пинчэне. «Это, — поверял он в начале года принцу свои мысли, связанные с намерением перенести столицы, — место, подходящее для ведения войны, а не место, откуда должно исходить цивилизованное управление». Послушный принц одобрил это решение, ответив, что перенос, несомненно, будет

популярен в народе, так как «центральный район... это опора мира и именно то место, откуда нужно управлять китайцами и умиротворять империю». Император был реалистом и видел ожидавшие трудности — «Северяне привержены своим корням, и когда они услышат неожиданную новость о переезде, то неизбежно встревожатся и огорчатся», — но это не должно было повлиять на его планы. В глазах Сяовэня Лоян обладал как раз такой китайской родословной, какая требовалась ему для его режима: место, вокруг которого обнаружены старейшие археологические находки распознаваемо китайских культур, располагалось в районе, с древнейших времен считавшемся колыбелью китайской цивилизации, в долине Желтой реки. Со времени, когда мифическая династия Ся впервые сделала его центром своей власти, по преданию, в третьем тысячелетии до н.э. Лоян являлся столицей для последующих императорских домов.

С Лояном также были связаны менее благоприятные обстоятельства: он несколько раз отстраивался заново и сравнивался с землей во время опустошительных набегов соседних военных диктаторов и варваров. Бывшая столица, какой ее впервые увидел Сяовэнь, все еще лежала в руинах после учиненного сюнну в 311 году разграбления, поросшая «сорняками и колючками, разросшимися буйно, как в лесу», как писал некий горюющий очевидец вскоре после падения города. Главными ориентирами в ней были осыпающиеся кумирни и груды камней на месте старого императорского колледжа. Сяовэнь, которого не смутили исторические прецеденты, поставил своих архитекторов и строителей восстанавливать Лоян и, как никогда, принялся следовать китайскому образу жизни, запретив язык и одежду сяньби и отказавшись от варварского имени Тоба в пользу более изящного китайского Юань. В 494 году людские потоки зазмеились из Пинчэна в далекое трудное путешествие на юг, вероятно, вынужденные ждать во временных укрытиях среди рек Лояна, покуда вокруг них не вырастет столица. В течение де-

вяти лет принудительным трудом перетаскивались десятки тысяч бревен в день, пока потребности династии во дворцах не были более или менее удовлетворены. Ярко-красные ворота и желтые павильоны бесчисленного количества роскошных особняков для аристократов, евнухов и торговцев возникли в следующие два десятилетия.

Двор Северной Вэй в Лояне сверкал примерно двадцать лет, разбогатев на зерне, которое изымалось в сельской местности вокруг столицы. Богатства одного из принцев «включали горы и моря». Куда бы он ни шел, его сопровождала свита из музыкантов, игравших на гонгах, трубах и флейтах. Он платил им, чтобы они играли день и ночь. Другой принц, чьи лошади, убранные золотом и драгоценными украшениями из серебра, хрусталя, агата и яшмы, добытых на дальнем западе, жаждал потягаться экстравагантностью с южнокитайской знатью, одевавшейся в платья, сшитые из «лисьих подмышек». А еще один разгуливал по дворцу «с блестящей золотой цикадой на голове, яшмой, постукивавшей на поясе», а за завтраком и обедом сочинял злободневные эпиграммы. И деньги, и время были брошены на храмовые пожертвования: самая высокая пагода в городе, как заявлено в одном отчете, составляла двести девяносто шесть метров (всего на четыре метра ниже Эйфелевой башни). Монастыри и храмы утопали в наполненных пением птиц и цикад садах, где по берегам прозрачных прудов, окаймленных водяными каштанами и лотосами, росли сочные огромные гранаты и виноград. В первое двадцатилетие VI века было использовано восемьсот две тысячи триста шестьдесят шесть дней подневольного труда для создания монументальных пещерных храмов — их интерьеры были заполнены скульптурами Будды с золотыми лицами и рубиновыми губами и раскрашенными барельефами с изображением ангелов, музыкантов и танцовщиц, выдолбленными в скалах из песчаника во славу императорской семьи.

Пока Лоян нежился в роскоши и китайских церемониях, события на прикрытой стеной северной границе готовили разгром династии и ее южной столицы. Со времени переезда в Лоян правители Вэй окружали себя придворными, которым северные интересы внушали отвращение: еще в 494 году Сяовэнь изгнал всех чиновников, возражавших против переезда на юг. В 519 году двор в Лояне даже попытался запретить военным занимать высшие правительственные посты, в связи с чем императорская гвардия — один из последних оплотов племенной военной власти — немедленно взбунтовалась. Неудивительно, что старая прослойка воинов сяньби, от которых в случае неурядиц на границе двор всецело зависел, чувствовала к себе все большее пренебрежение. Граница перестала быть домом, где авторитет и славу требовалось завоевывать в военных предприятиях, и превратилась в ссылку нежелательных для династии людей — осужденных и коррумпированных чиновников. Энергичные кампании против степи прекратились со смертью императора Сяовэня в 499 году, их заменили стены и подкуп «данических» посольств жоужань в Лояне. Однако статичная оборона являлась дорогостоящей и с точки зрения содержания гарнизонов, и с точки зрения обслуживания, особенно при большом удалении от политического центра в Лояне, и в конечном счете могла лишь задержать, а не отогнать или уничтожить решительно настроенных захватчиков, если гарнизоны не будут готовы наступать в глубь степи.

К 523 году эти самые пограничные гарнизоны не желали и пальцем шевельнуть ради изнеженного двора Северной Вэй, а уж тем более бросаться в безлюдье пустыни Гоби. В том году, несмотря на стены и подарки Вэй, войска вторжения жоужань нанесли удар через оборонительную линию, захватив две тысячи пленных и сотни тысяч голов скота, а затем отхлынули назад — почти без потерь — в пояс пустынь. Из-за плохого обращения и голода — коррумпирован-

ное начальство уже давно не следило за продовольственными рационами солдат или даже урезало их — гарнизоны взбунтовались. Возникшие из-за бытовых неурядиц мятежи быстро распространились на запад и юг империи Вэй. Предводитель-кочевник недовольных войск вскоре появился в лице Эрчжу Жуня, вождя племени эрчжу из центральной и южной Шаньси и бывшего коневода и главного специалиста по животноводству Северной Вэй.

Эрчжу Жун оставался верным своим имперским хозяевам в течение первого этапа пограничных мятежей, помогая подавлять выступления бунтовщиков, лишь бы дать своим конникам попрактиковаться в бою. Однако в 528 году, когда умер император, которому еще не исполнилось и двадцати лет, оставив на троне младенца и жадную до власти вдовствующую императрицу, взявшую в руки все реальное управление империей, Эрчжу Жун, под предлогом необходимости расследования подозрительных обстоятельств смерти господина, повел своих конников на столицу. Когда его войско из пяти тысяч всадников — с поднятыми знаменами, одетое во все белое, традиционный для Китая цвет траура, — подошло к стенам Лояна, ответ императорского двора буквально сочился бредовым китайско-конфуцианским высокомерием. «Эрчжу Жун, — объявил один из советников императрицы, — ничтожный варвар... человек посредственных способностей, поднявший руку на дворец, не взвесив своих добродетелей и не рассчитав сил. Он подобен богомолу, пытающемуся остановить на своем пути колесо повозки». Но вскоре ничтожный варвар переправился через Желтую реку, обосновался на холмах перед Лояном и пригласил столичных аристократов к себе в лагерь на совещание. Оттуда, предательски перебив всех до единого членов — видимо, целых три тысячи человек — приехавшей приветствовать его делегации и утопив в Желтой реке вдовствующую императрицу и младенца-императора, он въехал в Лоян и предавался прелестям придворной жизни, пока его самого в 530 году

не зарезал новый марионетка-император, которого он сам и возвел на престол. После храброй, но обреченной на поражение попытки отстоять город императора удавили преемники убитого вождя после краткой молитвы Будде, чтобы тот не позволил ему в следующей жизни переродиться царем.

В 538 году, всего через пятнадцать заполненных войнами лет после демонстрации рубежными стенами своей несостоятельности, Лоян Северной Вэй по приказу одного из северных военных диктаторов разрушили до основания, население вынудили покинуть город, и династия прекратила существование. Печальный конец Северной Вэй — которой извне угрожали кочевые воины, а изнутри мятежные гарнизоны — явился трагичным памятником тщеславию варваров, уроком безрассудства строительства столиц и стен, который меньше чем через пятьдесят лет придется вновь усваивать ее преемникам.



## Глава пятая

### *Вновь объединившийся Китай*

В Китае написание истории всегда дело политическое. Почти на всем протяжении китайского прошлого историки служили государственными чиновниками. Их назначало и контролировало правительство. С тех пор как государство впервые в 753 году до н.э. привлекло писцов для «фиксирования событий», задача написания истории стала прерогативой политического центра, посвященной описанию и оправданию деятельности правителей. История снизу, конечно, существовала, но она всегда находилась в подчиненном положении по отношению к дворцовым записям. Династическая история известна как чжэнши, «правильная, стандартная история». Всякий взгляд со стороны, не из центра мог быть презрительно классифицирован как еши, «дикая история», ярлык, который легко перетекал на сочинительство с еще более сомнительной репутацией. Простой китаец мог войти в династические анналы и получить известность в истории, лишь нарушив политический порядок — например, подняв крестьянское восстание и таким образом спровоцировав вмешательство правительства.

К закату династии Хань в 220 году до н.э. китайские мыслители выработали еще один важный теоретический инст-

румент, чтобы помочь себе еще больше политизировать историю: понятие о том, что человеческая (читай: политическая) история регулируется неизменно повторяющимися циклами, что уходящее приходит — хорошие и плохие императоры, порядок и хаос, единство и разобщенность: «мир должен объединиться, когда он долгое время разобщен, и стать разобщенным, когда он долго является единым». Движение циклов предопределено космической силой, называемой Небесным Мандатом: императоры правили только путем убеждения Неба в своей добродетельности. Если нравственные характеристики династии пойдут круто под уклон, Небо изымет Мандат, обнародовав это свое решение через национальные катаклизмы, такие как восстания, междоусобные войны и кометы, и передаст его кому-то другому. Следуя этой логике, императорские дома неизменно гибли из-за слабых, несостоятельных императоров, на что каждая новая династия спешила указать, составляя в течение нескольких лет после занятия трона «правильную историю» своей предшественницы. К концу эпохи Хань историки имели солидный запас стереотипных характеристик, присущих плохим, отвратительным Небу императорам. Назовем всего три из великого множества: расточительность, похоть, отсутствие сыновнего почитания. Они, обычно проявляясь в конце «правильных историй», указывали на приближение краха династии, оправдывая его. Двумя классическими примерами можно считать императоров ненавидимой и краткосрочной Цинь: тиранического Ши-хуанди и его сына, безумного расточителя Хухая.

Привлекательность вышеописанной макротеории для тех, кто жил китайской историей и писал ее, очевидна. Для усердно работавших историков тысячелетия писаной истории можно было свести в циклическое сочетание ограниченного числа подъемов и падений. Для правителей и их чиновников между тем история — если ею правильно манипулировать — предоставляет щедрый запас самооправданий.



Если история состоит из постоянно повторяющихся циклов подъемов и падений, подпитываемых личными неудачами предыдущих императоров, смена режима всегда могла быть узаконена путем демонизации династического предшественника. Династия Суй, в очередной раз объединившая Китай в 581 году, была представлена всего двумя императорами и просуществовала лишь тридцать семь лет, и это стало щедрым подарком для ее преемницы, династии Тан. В своих усилиях по объединению страны после столетий раздробленности, в авторитаризме первого императора и развратности и расточительности второго, в краткости существования, в масштабности планов общественного строительства и имперском экспансионизме, в падении в результате народного восстания и более всего в любви к пограничному стеностроительству Суй выглядела не чем иным, как кратким повторением всеми поносимой Цинь. Общественный хаос, последовавший за гибелью династии, послужил лишь подтверждением в умах китайского народа ассоциации между Длинными стенами и тиранией, угнетением и общенациональной катастрофой.

Сразу после трансформации Северной Вэй в степи не появилось ни одной фигуры, которая заявила бы о лидерстве. Жоужань — северо-восточные неудачники в период расцвета тобской Вэй — воспользовались хаосом, вызванным мятежом вэйских гарнизонов, и распространили свое влияние на Маньчжурию и Монголию. Однако их верховенство в степи никогда не выглядело достаточно убедительным: слишком разобщенные для организации единой, унифицированной власти, сравнимой с той, что создали сюнну при Маодуне, жоужань пришлось в 546 году запросить помощи у другого племени, туцзюэ, чтобы сокрушить гаочэ (буквально «высокие повозки»), народ, проживавший в западной Монголии.

После того как вождь туцзюэ (или каган) Тумэн потрудился, захватив пятьдесят тысяч юрт врага от имени жоужань, он потребовал небольшой компенсации: жоужаньскую принцессу себе в жены. Не утруждая себя взаимностью, жоужань ответили через посланцев, что туцзюэ — нахальные рабы. Тумэн в ответ убил посланцев, заключил брачный союз с правившей тогда в северо-западном Китае династией и возглавил мятеж против своих бывших хозяев. В 552 году он разбил жоужань, заставил их правителя покончить жизнь самоубийством и объявил свое племя новой верховной силой в степи.

Некоторые историки настаивают: имя Туцзюэ — китайская транслитерация тюркского слова — происходит от *Türküt*, формы множественного числа от слова *Türk*, означающего «сильный». Если это так, то туцзюэ были достойны этого имени: хоть Тумэн умер в 552 году, его сыновья, разделившись, уничтожили остатки могущества жоужань, покорили другие соседние племена и построили империю, протянувшуюся от Маньчжурии до Каспийского моря. В английском языке туцзюэ также известны как тюрки — племя, которое будет доминировать в Центральной Азии и частях Европы в следующем тысячелетии и чье имя сохранится у их далеких потомков, населяющих в настоящее время современную Турцию.

Установив свое военное превосходство в степи, тюрки обратили взгляды на юг с намерением превратить свою империю в механизм эксплуатации двух некитайских династий, разместившихся на месте старой северной империи Вэй: Чжоу на западе и Ци на востоке. Тюрки держали их в плену страха, как красноречиво проиллюстрировано целой паутиной исполненных благоговейного ужаса легенд, которую официальные летописцы Северной Чжоу сплели вокруг ранней истории племени. «Тюрки — одно из племен сюнну, — отмечалось в хронике династии, — обособившееся в отдель-

ную орду и впоследствии разгромленное соседними государствами, полностью уничтожившими клан».

«Был там парень лет десяти, которого солдаты, видя, какой он маленький, не стали убивать, а отрубили ему ноги и бросили в лесное болото, куда ему носила сырое мясо волчица; а когда он вырос, то стал жить с этой волчицей, и та впоследствии забеременела. Правитель тех мест, прознав, что парень еще жив, снова послал человека, чтобы тот его убил. Посланный, увидев рядом с ним волчицу, собрался убить и волчицу, но та убежала в северные горы... Волчица спряталась... и потом родила десять сыновей... Их потомки становились все многочисленнее, пока их постепенно не стало несколько сотен семей».

По другой, несколько менее эпической версии тюрки произошли от некоего Нишиту, тоже рожденного волком, имевшего двух жен: одну — дочь Духа Лета, другую — дочь Духа Зимы. Когда одна превращалась в белую лебедь, другая, попроще, беременела и всего родила четырех сыновей, один из которых стал основателем племени тюрков. Хотя, разумно замечают китайские летописцы, «вышеприведенные описания разнятся между собой» второстепенными деталями относительно происхождения тюрков, «однако сходятся в одном: они — потомки волка».

Запуганные и крайне опасавшиеся союза между тюрками и соперничавшим двором, Ци и Чжоу бились над тем, чтобы найти способ избавиться от северной угрозы. Таким способом стало строительство стен. Между 552 и 564 годами Ци отдельными участками построило примерно три тысячи триста километров стены в Шаньси, Хэбэе и Хэнани, дойдя на западе до самой Желтой реки, а на востоке до побережья Бохайского залива. Только в один 555 год император Ци отправил ошеломляющее количество народу — миллион восемьсот тысяч человек — строить стену протяженностью более четырехсот пятидесяти километров от прохо-

да Цзюйюн между горами севернее Пекина, через относительно равнинный Датун до восточного берега Желтой реки. Стены построили очень быстро, за один рабочий сезон: их либо насыпали из взятой на месте земли и камней, выломанных в горах, либо их не было, а была линия обороны, составленная из гарнизонных постов, сторожевых башен и естественных преград. От Ци в современной Шаньси сохранилось два участка стены из земли и камня, толщиной у основания три метра тридцать сантиметров и в среднем три с половиной метра в высоту. Традиционным названием одного из чжоуских валов в современном Хэбэе было «Красная стена» — из-за красноватого цвета местной земли, из которой его предположительно сделали.

Но казалось, никакая стена не шла в сравнение с подкупом. Ци и Чжоу в попытках отвести угрозу сделали тюркского кагана настолько богатым — в 553—572 годах один из преемников Тумэна в год получал только от Чжоу сто тысяч рулонов шелка, — что он мог себе позволить притворяться, будто с пренебрежением относится к щедрости китайцев. «Мои дети... заботливы и послушны, — самодовольно вздыхал он. — Мне ли бояться нищеты?» Однако и материальные дотации имели лишь ограниченный успех, поскольку крупные набеги продолжались. В 563 году, например, тюрки прошли далеко в глубь Хэбэя, до трехсот пятидесяти километров на юг от Пекина, «не оставляя за собой ни людей, ни животных».

Такая частично успешная политика умиротворения начала меняться после того, как север Китая объединился под началом одной династии: сначала в 578 году на короткое время Северной Чжоу, затем в 581 году династией Суй. Уничтоживший в 577 году Ци — предположительно он пробился на своем пути через цискую стену, специально построенную в 564 году для того, чтобы отгородиться от Чжоу, — чжоуский император неожиданно умер в возрасте тридцати шес-

ти лет. Ему наследовал некий неуравновешенный деспот, чьей главной целью было убить собственную жену и заменить ее вдовой принца, которого император уже довел до самоубийства. Быть может, новый император и реализовал бы свои планы, если бы его женой не была дочь Ян Цзяня, высокопоставленного чжоуского сановника, обладавшего солидным запасом жестокости и сил. Он заступился за дочь, она была спасена, а император заболел и умер. Ян решил взять власть в свои руки, приняв регентство при шестилетнем новом императоре, заставив женщин из императорской семьи стать буддистскими монахинями и казнив более шестидесяти чжоуских принцев. В 581 году Ян Цзянь провозгласил себя сначала принцем, а затем императором Вэнем династии Суй. Восемь лет спустя, когда Вэнь уничтожил остатки южной династии Чэнь, располагавшейся в сегодняшнем Наньцзине, у юго-восточного побережья, Китай впервые за почти четыре столетия объединился.

Сходство Вэня с его циньским предшественником, Ши-хуанди, порой поразительно. Как и Ши-хуанди Цинь, Вэнь сделал себя хозяином Китая, оставаясь при этом человеком севера — порождением полуварварской северо-западной аристократии (часть которой говорила и на тюркском, и на китайском языках). Его семья, имевшая владения на полпути между древними китайскими столицами Чанъань и Лоян, служила неким правящим фамилиям севера и вступала с ними в брачные связи. Вэнь прошел тщательную подготовку в верховой езде и боевых искусствах и женился на дочери главы могущественного клана сюнну, которая в возрасте тринадцати лет, обладая характерной для северян настойчивостью, заставила мужа поклясться в моногамии. В отличие от застенчивых южнокитайских аристократок жена Вэня играла активную роль в имперской политике. Именно она побудила его провозгласить себя императором после того, как он стал регентом, процитировав старинную поговорку «Сев на тигра, трудно с него слезть» (другими слова-

ми, он зашел слишком далеко, чтобы поворачивать назад). Когда он стал императором, она вместе с ним ходила в зал для аудиенций, где сидела за ширмой и наблюдала за происходящим, посылая в зал своих евнухов пожурить императора, когда он принимал неверное решение.

И опять же, как и его циньский предшественник, Вэнь не вызывал приязни как правитель. Подверженный вспышкам страшной ярости (однажды он насмерть запорол человека кнутом) и склонный контролировать все и вся (он лично определял даже количество косметических средств для дворцовых дам), Вэнь был сверхъестественно религиозен и при этом явно придерживался концепции легизма, настаивая на неукоснительном применении закона и суровых наказаний. Не мог он отделаться и от врожденной подозрительности в отношении конфуцианских ученых. Когда поконфуциански образованный придворный имел дерзость вмешаться в акт политического насилия, убеждая императора не казнить чжоуских принцев, Вэнь сказал ему: «Занимайся своими делами, книжный червь!» При дворе у Вэня конфуцианские нормы соблюдались только тогда, когда его советники давали ему робкие наставления. Однажды, избивая кого-то в тронном зале, он согласился с увещеваниями по поводу того, что такое поведение не достойно Сына Неба, и позволил забрать у себя палки. Вскоре после того природные инстинкты снова вылезли наружу, и он убил в тронном зале человека. Когда некий военный чиновник стал протестовать, неуправляемый Вэнь убил и его. Потом он ужаснулся от содеянного, послал соболезнования семье чиновника и отругал советников за то, что те не остановили его.

В 581 году, в том же самом году, когда Вэнь провозгласил себя императором и за восемь лет до воссоединения всей страны, он явно взял на вооружение циньскую пограничную политику для удержания северных варваров под контролем: стеностроительство. Первым делом он прекратил субсидии, сделавшие тюрков столь богатыми. Тюрки, понят-

но, смотрели на совершающиеся перемены без всякого удовольствия. Как большинство степных племенных вождей, тюркский вождь — каган — полагался на поступления от дипломатического шантажа или грабежа, обеспечивая тем самым себе поддержку в крайне нестабильной системе управления. Теоретически тюркская иерархия была организована так же, как у сюнну, по трем уровням, при этом каждый, как считалось, контролировался из центра каганом. Однако в действительности же меньшие каганы, назначаемые из центра, часто отхватывали от тюркских владений куски в виде автономно управлявшихся областей. После смерти Тумэна в 552 году вопрос наследования еще больше осложнился из-за его решения отказаться от права первородства в пользу раздела империи между сыновьями (правившими на востоке) и братом Истами (правившим на западе). Поскольку дядя пережил сыновей Тумэна и в Восточном Тюркском каганате разразилась междоусобная война, Истами воспользовался случаем для приобретения большей независимости. Хотя к 581 году один из внуков Тумэна, Шэту, вышел на востоке победителем, ему требовались все доступные материальные средства для удержания вокруг себя шаткого союза последователей. Таким образом, решение Суй прекратить выплаты пришлось на самый неблагоприятный момент.

Император Вэнь, счел Шэту, поступил «по отношению к нему очень подло». Ожидая неприятностей, император обратил все внимание на северную границу, где он приказал местным «варварам» за двадцать дней построить стену в северо-западной Шаньси. В конце того же года Шэту прорвался через границу и взял город Линьюй, в прибрежной части Хэбэя, на восточной оконечности границы. «Обеспокоенный этим, — отмечается в одной хронике, — правитель Суй обновил оборонительные сооружения, поставил на границе длинные стены... и разместил там несколько десятков тысяч солдат».

Его усилия, однако, лишь подчеркнули присущую стенам ограниченность: укрепи сильные позиции, и враг отыщет слабые. Поскольку центральную и восточную части границы — Шаньси и Хэбэй — защищали недавно восстановленные стены, тюрки прагматично перенесли свое внимание на запад. Побуждаемый нуждой в средствах и своей женой, чжоуской принцессой, поклявшейся отомстить Суй за свержение и убийство многочисленных родственников, Шэту в 582 году повел четыреста тысяч лучников в большой набег на северо-западный Китай — на Ганьсу и Шэньси, — после чего «там не осталось ни одного домашнего животного». Император реагировал на полученное известие с чисто китайским гневом:

«В прошедшие дни звезда Вэй закатилась, быстро и во множестве пришли беды. Чжоу и Ци устроили соперничество и поделили землю Китая. Варвары-тюрки одинаково общались с обоими государствами. Чжоу с тревогой смотрело на восток, опасаясь, что Ци лучше поладит с тюрками, а Ци с тревогой смотрело на запад, боясь сближения Чжоу с ними. Другими словами: мир и война в Китае зависят от прихоти варваров».

Император продолжал обличать Чжоу и Ци за то, что они субсидировали тюрков, «сыпля богатствами своей казны и разбрасывая их по пустыне, к несчастью Китая». Суй же, «получив ясное указание Неба по-родительски заботливо относиться ко всем, из сострадания к бремени, которое несут наши подданные, отменила порочную практику прошлого: мы направили вещи, прежде уходившие врагу, на дополнительное вознаграждение нашим чиновникам и людям. Мы даем передышку людям на дорогах, которые теперь могут заняться земледелием и ткачеством».

Однако план императора игнорировать кочевников, отказавшись им платить и строя стены, не смог умиротворить



север и, спровоцировав набеги, лишь усугубил страдания народа. «Жестокие чудовища в своем глупом невежестве, — изливал гнев император, — не поняли глубокого смысла Нашей Воли... они продолжают дерзко вести себя, как в прежние дни. Совсем недавно они выползли из своего логовища для нападения на наши северные границы». Огорченный неудачей, отчаявшийся император возложил надежду на сверхъестественные силы. В стране тюрков, с надеждой бормотал Вэнь, «появились страшные знаки грядущего зла. В прошедшем году слышали, как заговорил зверь, а люди проносили сверхъестественные вещи, и все потому, что их государство должно погибнуть». Хотя император был вынужден признаться себе, что эти знамения «пока ничего не дали», он сохранял уверенность: «Теперь настало время, когда свет и тьма должны проявить себя».

В известном смысле новая пассивная вера императора в силы, находящиеся вне его контроля, окупилась, тогда как усердное строительство стен лишь приводило к обратным результатам. Праздное ожидание, что тюрки порвут друг друга на части, оказалось намного более плодотворным. Через два или три года после крупного набега Шэту внутренние раздоры серьезно ослабили тюрков: Шэту напал на своего двоюродного брата. Тот бежал на запад к кагану западных тюрков, решившему объявить себя независимым от власти Шэту на востоке. Вскоре под давлением орд взбунтовавшихся родичей Шэту оставалось лишь обратиться за поддержкой к китайцам. До того горевшая местью чжоуская принцесса написала императору Вэню, умоляя его принять ее мужа как своего сына, на что, приняв во внимание просьбу о вассальной зависимости, император великодушно согласился и позволил Шэту с его людьми поселиться к югу от пустыни, у китайской границы. Второй сын императора, принц Гуан, будущий император Ян, дал кагану войска, одежду, еду, повозки и — не столь нужные на войне — музыкальные инструменты. Все это, как пишут источники, помогло тому разгромить двоюродного брата на западе. Китайские источни-

ки описывают обращение Шэту к императору как льстивое раболепие, как подобающее изъявление унижения варвара перед китайским блеском: «Теперь хорошая погода и стихии благоприятствуют — вероятно потому, что в Китае появился великий мудрец... Теперь мы почувствовали Ваше очищающее влияние... Утром и вечером я со всем уважением готов служить». Истинные мотивы Шэту для восстановления дружбы с Китаем были более конъюнктурными, а его поведение намного более изощренным и хитрым. Когда император потребовал от кагана публично продемонстрировать свой вассальный пиетет, прислав чиновника, перед которым каган должен был исполнить коутоу, Шэту попытался увильнуть от обязательств, сказавшись слишком больным, чтобы принять чиновника.

Истинная мера доверия Вэня к Шэту открывается, видимо, в неизбывной страсти императора к стеностроительству: он трижды посылал своих чиновников и рабочих в Ордосский район — в современные Нинся, Шэньси и Внутреннюю Монголию. В 585 году около тридцати тысяч человек послали в данный район построить семьсот ли стены «для предотвращения вторжений варваров», между Линьфу на западной стороне петли Желтой реки и Суйдэ у восточной стороны — неподалеку от линии более поздней стены Мин, змеящейся по песчаной, поросшей кустарником желто-коричневой земле Ордоса. На следующий год сто пятьдесят тысяч человек послали на строительство прерывистой линии из нескольких десятков гарнизонных постов в травянистой всхолмленной пустыне Внутренней Монголии, как раз за границей современной провинции Шэньси. В 587 году более ста тысяч человек выделили для «работ по ремонту стен» в неуказанном месте (предположительно для работ на уже начатых секциях стены) на двадцать дней.

В 590-х годах над суйским двором начали сгущаться тучи, отвлекая императора от его излюбленной границы. Все на-

чалось со страшной ревности. Когда в 593 году муж нарушил обет моногамии, императрица, действуя быстро и неотвратимо, убила несчастную женщину, пока император принимал чиновников. Потом возник конфликт — вероятно, закончившийся детоубийством — между императорской четой и их детьми. Придирчивость императрицы в сочетании с маниакальным страхом императора за себя (как степняк Вэнь видел в сыновьях скорее не союзников, а потенциальных соперников) породила замысел до смерти Вэня уничтожить или отлучить от двора четырех из их пяти сыновей. Первым стал третий сын, Цзюнь: его отстранили от должности в 597 году под предлогом излишней расточительности, а в 600 году, через неделю после шестидесятилетия императора, тайно отравили. Следующим объектом императорского приговора стал кронпринц Юн, впервые впавший в немилость в 591 году, когда его мать стала подозревать, что он отравил жену с целью взять на ее место любимую наложницу. Вскоре императрица, сама никогда не носившая искусно раскрашенных и вышитых тканей из соображений практичности (их трудно стирать), начала критиковать кронпринца за любовь к дорогим одеждам и украшениям. «Исстари повелось, — предупреждала она, — что цари и императоры, любившие роскошь, долго не жили».

Только один человек извлек пользу из императорской подозрительности: второй сын императора Гуан, начавший изображать из себя перед родителями образец бережливости. Когда родители навещали его, то видели, что его слуги стары и некрасивы, ширмы и драпировки просты, музыкальные инструменты покрыты пылью, а их струны порваны. Гуан тем самым заставлял императора поверить, будто он не любит роскошь. К концу 600 года тронутый такой экономностью император удалил первого сына и сделал наследником второго. Лишенный Гуаном возможности опротестовать отставку через прошение на имя императора, Юн влез на дерево в дворцовом саду и стал выкрикивать жалобы в

надежде, что император, находившийся в соседнем компунде, услышит его. Его поведение, однако, только сыграло на руку Гуану, убедившему императора в психической ненормальности старшего брата. Император больше никогда не подпускал к себе Юна. В 602 году Гуан завершил дискредитацию своих братьев, заставив отца поверить, что его четвертый сын, Сю, замешан в заговоре с использованием черной магии против другого брата, Ляна. А поскольку Лян занимал достаточно важную должность и мог навлечь на себя такой заговор, то по логике должен был представлять угрозу отцу. Обоих отстранили от государственных постов.

Начиная с этого момента, китайские хроники, составленные при преемнице Суй, династии Тан, особенно суровы к Гуану, обвиняя его во всех возможных видах сыновней непочтительности, в лицемерии и подлости. В 604 году император лежал на смертном одре — ослабленный, как заявляет один из источников, сексуальной невоздержанностью с наложницами после смерти в 602 году жены, когда окончилась его вынужденная моногамия, а принц Гуан, как говорят, сделал предложение любимой наложнице отца, Сюаньхуа, немедленно сообщившей об этом императору. Когда Вэнь послал за вторым сыном, намереваясь пересмотреть его статус наследника, записка оказалась перехваченной Гуаном и его приспешниками, один из которых вошел в спальню Вэня и приказал всем остальным выйти. Вскоре было объявлено — император скончался. Озабоченная совпадением, официальная история династии Суй лаконично отмечает: «бытовали разные мнения». В ту ночь, когда еще не остыло тело старого императора, похотливо утверждают источники, его сын и наследник — новый император Ян — обрел кровосмесительное счастье со своей мачехой Сюаньхуа.

А затем, после событий, достойных Эдипа, новый император начал демонстрировать все, что угодно, только не пуританство, вопреки надеждам отца. Забыв о плачевном конце Северной Вэй, Ян направил большое количество подне-

вольных рабочих на ускоренное строительство новой столицы в Лояне. Нетерпение Яна увидеть свой новый город заставило строительство продвигаться так быстро, что, по оценкам, добрая половина от двух миллионов рабочих, как говорили, погибла. Он приказал копать Великий канал, рукотворную водную систему, соединившую северный Китай, от Лояна, с южной столицей на юго-восточном побережье, в современном Янчжэне. Официально построенный для облегчения транспортировки продовольствия из одной половины страны в другую, канал, похоже, видел роскошные флотилии Яна столь же часто, как и баржи с дешевым южным рисом: «драконьи лодки, суда-фениксы, красные боевые корабли, многопалубные транспорты» тащили на юг на «веревках из зеленого шелка».

Между тем мысли Яна быстро переключились на границу. Во время перехода власти от Вэня к его сыну тюрки оставались расколотыми междоусобицей. Как и прежде, слабейшая сторона — под предводительством правнука Тумэна, Жанганя, — искала у китайцев помощи и защиты от племен-соперников. В пятом месяце 607 года Жангань послал к императору родственников — тот находился во временной ставке между своими двумя столичными городами, Чанъанем и Лояном, — чтобы испросить разрешения пересечь границу и прибыть ко двору. Император отказал, но в следующем месяце случилось так, что во время большой охоты Ян попал через север Шэньси во Внутреннюю Монголию, в северо-восточный угол петли Желтой реки, где перешел китайскую границу и оказался во владениях тюрков.

Ян не стал полагаться на переменчивых варваров и ехал на север со своими чиновниками внутри каре войск. Судя, однако, по униженному обращению кагана к императору, когда тот прибыл на место, такие предосторожности были излишними. Сравнив себя с «крупинкой зерна», каган поблагодарил династию Суй за великодушную политическую и экономическую поддержку его правления против нападков

племен-соперников: «Покойный император... глубоко сожалел об абсолютной беспомощности Вашего слуги, даже оставил ему жизнь... и послал Вашего слугу занять трон Великого кагана». Видя по особым предосторожностям, предпринятыми при дворе, что император явно встревожен, каган поспешил его заверить: «Ваш покорный слуга больше не тот пограничный каган, как в прошлом, Ваш покорный слуга является вассалом Вашей Чести». Каган даже молил о разрешении отказаться от тюркских обычаев в пользу китайских: «Если Ваша Честь сжалится над Вашим слугой, я буду молить, чтобы все было в соответствии с одеждами, узорами, законами и обычаями высшей страны — все, как в Китае». Явилась ли причиной постепенно выработавшаяся привычка к местным обычаям, или это диктовалось больше чисто экономическими соображениями (траты на китайские наряды и украшения для орды кагана не следовало сбрасывать со счетов), но император отклонил просьбу, попросив только о терпимости: «Поскольку район к северу от пустыни еще не умиротворен и войны пока необходимы, все, что требуется [от кагана], это оставаться верным и покорным — какая нужда менять одежды?» Кагану, однако, подарили колесницы, лошадей, барабаны, знамена, а для трех с половиной тысяч его людей устроили пир. Несколькими месяцами позже император нанес беспрецедентный визит в степную резиденцию кагана в Юньчжуне — Среди Облаков, — в монгольской ковыльной степи, чуть к востоку от самой северной точки петли Желтой реки. Он ехал в огромном дворце на колесах (защищенном передвижной стеной), вызвавшем, по свидетельствам китайских летописцев, трепет в местных жителях: именно на такой эффект и рассчитывали. «Варвары решили, будто приехал дух: всякий увидевший императорский лагерь за десять ли вокруг, падал на колени и кланялся до земли». После того как и каган встал на колени и произнес тост, император, отнюдь не чуждый рифмоплет-



тысячелетия оставили следы на ее теле, выветрив из земляной насыпи большие куски. Сейчас, поднимаясь среди редкой, похожей на проволоку растительности по краям Ордо-са, она похожа скорее на термитник, чем на сооруженное людьми оборонительное укрепление. Ее бугристая, покрытая отверстиями поверхность, уж конечно, нисколько не напоминает гладкие каменные плиты поздних минских стен возле Пекина, хотя и несет на себе семейное сходство с трамбованными рубежными стенами, разбросанными по северо-западу государствами и династиями начиная с первого тысячелетия.

Император Ян восторженно увековечил свою стену в стихотворении:

Унылый осенний ветер порывисто дует,  
Мы едем далеко, за десять тысяч ли.  
Уезжая так далеко, куда мы направляемся?  
Пересечь реку и построить Длинную стену.  
Великий император, строя, опирается на собственную  
мудрость?

Нет: он следует опыту своих священных предков.  
Стеностроительство это стратагема, которая будет  
полезна мириадам поколений,  
Неся мир ста миллионам людей.  
Кто осмелится озаботиться тревожными мыслями?  
У нас будет возможность спокойно отдыхать в столице.  
Мы поставим полки у Желтой реки,  
На тысячу ли варварское знамя будет зачехлено.  
Горы и реки появляются и исчезают за горизонтом,  
Равнины бесконечно раскатываются вдаль.  
Наши полки останавливаются, когда звучат гонги,  
Наши солдаты снова шагают, когда гремят барабаны.  
Десятки тысяч всадников трогаются с места,  
Напоив лошадей под Длинной стеной.  
В осенних сумерках тучи собираются за стеной,  
Дымка и тьма окутывают луну в горах.  
Мы едем верхом вдоль скал,  
Сигнальные огни загораются много раз.



Мы спрашиваем офицера с Длинной стены,  
Пришел ли шаньюй для встречи со двором.  
Облака тихо опускаются на небесные горы,  
Свет утренней зари заливает северный проход.

...

Когда мы вернемся, то выпьем от души  
И расскажем о наших победах в храме предков.

Хвалебная песнь Яна отрицает все традиционно печальные чувства, вызванные строительством стен. Пусть дорога длинна, поучает он, но предприятие получило благословение Неба и должно обеспечить жизнь на десятки тысяч лет. Здесь сторожевые башни — обычно символ близящегося нападения, паники и страха, — похоже, просто готовы сообщить, что вождь варваров прибыл со светским визитом. Граница обычно ассоциируется с хаотичным движением — водоворотами сражений, скачущими лошадьми и лихорадочной рубкой боя. У Яна же стена такая блаженно мирная, что воздух неподвижен, а ее победоносные солдаты могут планировать праздничные возлияния в храме предков. В своем стремлении прославить стены Ян даже предлагает сомнительную жертву «нашему священному предку» — ненавистному Ши-хуанди. Использование в источниках Суй старого циньского термина «Длинная стена» явно вызывает ассоциацию с известным зловещим предшественником.

Если учесть, что династическая история Суй сообщает о гибели на границе полумиллиона занятых на строительстве стены Яна рабочих, бурные излияния восторга со стороны императора звучат довольно лицемерно. Другие, не столь политически отягощенные стихотворения периода династии, дают понять: всеобщую ненависть к стенам было не так просто сбросить со счетов — солдат на посту за стеной называют «неприкаянными душами», отлученными от домов и цивилизации, не знающими отдыха ни в ледяные дожди зимой, ни в заморозки осенью; низкие температуры на границе пробирают «до мяса даже приграничных гусей» и «за-

ставляют нить кости лошадей»; сигнальные огни на границе вызывают «хаос страха»; вода настолько холодна, что «жжет внутренности».

Даже среди победных свершений империи Яна — Длиных стен, Великого канала, подчинения северных племен — видны знамения пограничных невзгод, которые, есть стены или нет, станут причиной гибели Суй. В 607 году, примерно в то время, когда император Ян великодушно принимал заверения в лояльности от тюркского кагана, того немного смутил приезд еще одного гостя: тайного эмиссара от государства Когурё, находившегося к востоку от реки Ляо, в Маньчжурии, и заходившего на территорию северной части современной Кореи. И хотя восточный каган попытался показать, что в этом нет ничего серьезного, открыто представив корейского посланца во время аудиенции у императора, сам факт тайного контакта между восточными тюрками и корейцами стал глубоко неудобен для всех: китайцы опасались враждебного союза на северо-востоке, а тюрки волновались, как бы не оттолкнуть своих китайских спонсоров. Китайцы предприняли попытку использовать ситуацию, рассчитывая поразить эмиссара своим величием, сообщив корейцу, что его царь «должен не откладывая приехать и выразить почтение» китайскому двору. Если он этого не сделает, китайцы пошлют в его страну армию. Корейский правитель проигнорировал приказ приехать, и император Ян решил напасть на него. Роковое решение, так как корейская война — в дополнение к расточительным программам императора Яна в области общественных строительных работ — стала для Суй тем бременем, под которым в конечном счете рухнет с виду жизнеспособный режим. Подготовка началась в неблагоприятных условиях — наводнение на Желтой реке послужило причиной для дезертирства рекрутов. Когда император в 612 году наконец выступил в поход, то ожидал быстрого продвижения к столице Когурё. Однако укреплен-

ные стенами города вдоль реки Ляо выстояли перед китайцами, а летние дожди вынудили Яна вернуться в Лоян. На следующий год император вернулся за реку Ляо, но был отвлечен внутренними беспорядками, многие из которых вспыхнули в районах, недавно пострадавших от наводнения на Желтой реке. Игнорируя опасность мятежей, Ян по непонятной причине решил в 614 году вернуться в Корею. Но и после этого похода корейский правитель все же отказался выражать покорность императорскому двору, а Китай начали сотрясать многочисленные восстания.

Не испугавшись новых стен императора, племена на северной границе воспользовались ситуацией и перестали подчиняться. Искренне прокитайски настроенный восточный каган Жангань умер в 609 году; его преемником стал сын Доцзи, не столь горячий почитатель Серединного Царства. После того как Доцзи прекратил посещать китайский двор, Ян задумал очередную императорскую поездку на север, надеясь восстановить дружбу при встрече тет-а-тет. Доцзи ответил на инициативу набегом на северный Китай, во время которого суйский военачальник, посланный сражаться с тюрками, был убит. В 615 году, когда император Ян отдыхал в Фэньянском дворце в северной Шаньси, его едва не пленило десятитысячное войско, посланное новым каганом, и ему пришлось укрыться в гарнизонном поселении Яньмэнь, примерно в ста пятидесяти километрах к югу от стены, проходившей вдоль северной границы Шаньси. Яньмэнь было одним из двух гарнизонов, которые китайцы еще держали в здешней префектуре. Двор запаниковал: испуганный император «прижимал к себе сына, его глаза округлились от страха», пока его чиновники наперебой предлагали планы избавления, из которых самый отчаянный заключался в том, что император будет лично прорываться через тюркские ряды с несколькими тысячами элитной кавалерии. После тридцати шести дней осады гарнизонного поселения (находившийся в нем двадцатидневный запас пищи для солдат

не был рассчитан на неожиданных высоких гостей) войска кагана наконец отступили, получив сообщение о неспокойствии на другой границе.

Навсегда потрясенный пережитым в Яньмэне, император все более впадал в глубокую депрессию и уходил от реальности: в то время как голодающие крестьяне были вынуждены есть кору и листья деревьев, землю, а в конечном итоге и друг друга, он сосредоточился на развлечениях вроде ловли жуков-светляков для подсветки ночных прогулок. Убежденный в том, что в Лояне он находится слишком близко к эпицентру угрозы, Ян принял свое последнее ошибочное решение: бежать с северной границы в южную столицу. Императорскую флотилию сожгли во время междоусобной войны, прервавшей второй корейский поход, однако, несмотря на тяжелое положение в государстве, был построен новый флот драконьих лодок и плавучих дворцов. В седьмом месяце 616 года Ян отправился на юг, казнив всех чиновников, высказывавшихся против бегства. Два года спустя Ян сам был убит в своей бане Юйвэнем Хуацзи, сыном одного из его самых верных генералов и одним из вождей мятежников, но сначала императора заставили смотреть, как убивают его любимого сына Ван Чжаогао.

В течение двух десятилетий после убийства Яна новый китайский правящий дом, Тан, в своей (правильной) «Истории династии Суй» с удовольствием делал нелестные исторические сравнения, прочно поместившие их предшественницу в прокрустово ложе цикличности подъемов и падений китайских династий:

«Достижения и недостатки, существование и гибель династии Суй аналогичны Цинь. Первый император объединил страну; то же сделал император Вэнь. Вторым император Цинь был тираном и использовал силу и суровые наказания. Император Ян тоже был злобен и жесток. В обоих

случаях их падение начиналось с восстаний мятежников, и они лишились жизни от рук престолюдинов. Сначала до конца они похожи как две половинки ярлыка».

В своем желании оправдать узурпацию трона Тан организовала очернение личности императора Яна, превратив его в одного из самых порочных императоров в истории Китая, ничем не отличавшимся от циньского Хухая. Одна страница за другой перечисляла его непристойности и грехи: отцеубийство и братоубийство; человеческие жертвы строительных проектов, включая пятьдесят тысяч человек, заживо похороненных на отмелях Великого канала; сексуальную невоздержанность — страсть к дефлорации девственниц и принуждению красавиц таскать его суда вверх и вниз по каналу; расточительность (навесы для императорской флотилии делали из ресниц редких животных). При том что Тан — почти как все династии до и после нее — подгоняла исторические факты к собственным политическим потребностям, по одному монументальному вопросу аналогия была вполне законна. Для Суй, как и для Цинь, стены не стали гарантией устойчивости.



## Глава шестая

### *Без стен: китайские границы раздвигаются*

Как и его предшественник Ши-хуанди, суйский император Ян внимательно прислушивался к предсказаниям. После того как Ши-хуанди Цинь предупредили, будто «ху» погубит циньский дом, он немедленно отправил своего лучшего генерала, Мэн Тяня, в поход против ху, северных варваров, с трехсоттысячным войском и приказом строить Длинную стену для защиты империи. Похожим образом, когда прорицатель предсказал в 615 году, что некий человек по фамилии Ли заменит династию Суй, Ян принялся усердно уничтожать людей с такой фамилией (это наиболее распространенная фамилия в Китае), в том числе одного из своих главных военачальников и тридцати двух членов его семьи.

Предупреждающий удар Ши-хуанди пришелся, конечно, совершенно не туда, так как опасный «ху» находился намного ближе к дому: им оказался психически неуравновешенный сын первого императора Цинь Хухай. Усилия Яна также были обречены на неуспех: хотя им не хватало только нужной степени тщательности в исполнении, они тем не менее не привели к устранению Ли Юаня — князя Тан и Ши-

хуанди, Гаоцзу, династии Тан, — прежде чем тот уничтожил династию Суй. Низложив последнего суйского императора-ребенка — не более чем марионеточного правителя — в 618 году, Ли основал династию, распространившую в период своего расцвета власть Китая от долины Окса на окраинах Персии на северо-западе до морозных границ современной Кореи на северо-востоке. Ни одна этнически китайская династия не раздвигала границы Китая так далеко, как Тан. Единственным режимом, перекрывшим ее границы, была маньчжурская династия Цин, сама начинавшаяся как степная держава и потому получившая территориальную фору в виде возможности присоединить свои старые места обитания на севере к собственно Китаю. Империя клана Ли преподала ценный урок в управлении пограничными делами, который будущие династии, почитая эпоху Тан как золотой век политики и культуры, постоянно игнорировали: новые земли, богатство и трепетная нежность танского Китая достигались без длинных стен.

Хотя современные китайцы сохраняют высокую гордость за танский Китай, большая часть его достижений по иронии судьбы получена благодаря открытости династии к иностранной, степной культуре. После основания династии Тан находившиеся на царском жалованье специалисты по генеалогии составили для Тан безупречно чистую китайскую родословную, проследив генеалогическую линию до Ли Гуана, одного из самых храбрых генералов ханьского императора У, воевавших против сюнну. Реальное же прошлое их семьи космополитически связано с варварами. Как и большинство китайских наиболее закаленных политических игроков, переживших все трудности, Тан происходили из аристократической смеси китайцев и северных варваров: отец Ли Юаня был связан брачными узами с той же семьей сюнну, что и Ши-хуанди Суй. В конце эпохи Суй политический центр клана находился в Учване — гарнизонный пост не-

посредственно у рубежной стены рядом с Датунем в северной Шаньси.

Как высокопоставленный чиновник и выдающийся военный деятель — он находился в большом почете у императора Вэня и его супруги, — Ли Юань на начальных этапах периода восстаний, вспыхнувших во время походов императора Яна в Корею, оставался верен Суй, оборонял столицу и границу от разбойников и нападений тюрков. Но когда звезда Суй стала окончательно закатываться, Ли Юань воспользовался своим шансом, воодушевившись тем, что услышал популярную балладу, где излагалась версия о предсказании относительно Ли. «Я должен встать и пройти тысячу ли, чтобы это свершилось!» — сказал, как сообщается, Ли в 617 году, собрав перед этим у своей твердыни в Шаньси десяти тысячное войско.

Через восемь лет правления Ли Юаня в качестве императора Гаоцзу проявилось племенное прошлое Тан, когда в 626 году ссоры по поводу престолонаследия привели к пролитию крови. В течение нескольких лет сыновья Гаоцзу относились друг к другу со все большим подозрением: второй сын, Ли Шиминь, проявил себя гораздо более талантливым военачальником, чем престолонаследник, одержав после 618 года ключевые победы над правителями-соперниками. Почуввав явную угрозу, кронпринц — вместе со своим союзником, самым младшим братом, — попытался настроить двор против Шиминя. В конце концов, встревоженный слухом, будто брат замышляет его убить, Шиминь обвинил двух своих братьев в связях с наложницами отца.

Собравшись оправдаться прямо перед императором, оба подъехали ко входу во дворец, где Шиминь и двенадцать его приверженцев устроили им засаду. Шиминь лично убил старшего брата; один из его чиновников позаботился о младшем. Затем Шиминь послал одного из своих генералов во дворец сообщить императору, что вопрос о том, кто будет наследником, несколько упростился. Два месяца спустя Гао-



цзу «убедили» оставить престол в пользу единственного оставшегося в живых сына, провозгласившего себя императором Тайцзуном.

То, как Тайцзун управился с вопросом о наследовании, со всей очевидностью показало явно некитайское влияние на него и на весь клан. Готовность смотреть на членов своей семьи как на соперников и смертельных врагов отразила характерный для племенных отношений страх, а убийство братьев и свержение отца абсолютно противоречили фундаментальному принципу китайского нравственного кодекса: конфуцианской заповеди сыновнего почитания.

Искушенный в текучем, бесцеремонном и жестоком степном стиле ведения политики, Тайцзун, естественно, мог только презирать пограничные стены, изменяя ситуацию на границе, унаследованной им от отца, путем энергичных военных действий. С 618 года, пока Китай приводил себя в порядок после многих лет междоусобной войны, тюрки устраивали набеги на новую династию и шантажировали ее. Войдя во вкус, за один год они получили тридцать тысяч «кусков материи» в качестве подарков от Тан, а на следующий угнали из приграничных поселений почти всех привлекательных женщин. В 625 году, после затяжных набегов в окрестности Чанъани — с участием до ста тысяч всадников во главе с самим каганом Сели, — трепещущий китайский двор даже обдумывал возможность переезда из уязвимой Чанъани, чтобы найти убежище в горной части Шэньси.

В 627 году, готовя очередной набег на столицу, тюрки направили ко двору в Чанъани шпиона, быстро показавшего свою неспособность работать под прикрытием: он хвастливо заявил, что миллионная армия его кагана быстро приближается. Тайцзун ответил решительно, арестовав и казнив посланца, потом выехал во главе своей армии навстречу Сели, наивно полагававшему, что китайская армия уничтожена в междоусобицах. Выверенная демонстрация силы Тай-

цзуна — не был обнажен ни один меч — произвела именно тот эффект, который был нужен, и дала ему важное психологическое преимущество. «Тюрки, — рассуждал он, — думают, что из-за наших недавних внутренних неурядиц мы не в состоянии собрать армию. Если я запрусь в городе, то они разграбят нашу территорию. Поэтому я выйду один, показывая, что мне нечего бояться, и еще я устрою демонстрацию силы, и они поймут — я готов драться». Тюрки отступили, предложили мир и получили богатые подарки от китайцев, которыми Тайцзун планировал их отвлечь и расслабить, а потом разгромить в сражении, время для которого он выберет сам. «Все это, — с придыханием говорил один из высших министров Тайцзуна, пораженный тем, как его суверен умело использовал дипломатическую стратегию степи, — недостижимо для моей глупости».

На следующий год, когда вассальные племена взбунтовались против Сели, а в степи установилась необычно холодная зима и потому «много овец и лошадей погибло от голода, а люди постоянно недоедали», настало время Тайцзуна. Годом позже неурядицы у тюрков усилились, тогда возникла ссора между Сели и его подручным Тули. Один из советников Тайцзуна, обратив внимание, что Сели двинул войска к границе — вероятно, готовя набеги для поправки материального положения своих людей, — предложил перестроить и населить длинные стены. Император высказался против:

«У тюрков в разгар лета видели иней; пять солнц появились разом; три месяца кряду было сухо, и испепеляющий свет покрыл их степи... Они бредут куда глаза глядят, большая часть их отар и стад погибла, что означает, что им не нужна земля... Сели раздружился с Тули, и они начали междоусобицу... они обречены погибнуть, а я захвачу их для вас, господа. Это не то время, я считаю, когда нужно строить оборону».

Как и предсказал Тайцзун, к 629 году тюркская военная машина была разрушена внутренними неурядицами. В тот год Тайцзун послал шесть генералов со сотысячным войском, которые захватили десятки тысяч пленных и много скота и которым сдались фактически все вожди тюрков, за исключением Сели, сначала бежавшим на резвом скакуне, а затем пойманным одним китайским офицером и доставленным в Чанъань. Принимая Сели в столице, император резко и прилюдно обругал его за преступления, но в конечном итоге не стал его казнить, а вместо этого решил «приютить» (что на дипломатическом языке означало «задержать») в столице. Сели провел остаток своих дней в унылом одиночестве, бесцельно бродя по Чанъани и с презрением отказываясь от предоставленного ему дома в пользу разбитой во дворе юрты. «Он долго пребывал в апатии и вялости, — записано в «Истории династии Тан», — распевая печальные песни и плача за компанию со своими домашними». Когда император попытался взбодрить его, подарив имение с охотничьими угодьями, Сели упрямо отказался от него. После смерти в 634 году ему присвоили посмертное имя «непокоившийся».

В 630 году, когда капитулировал Сели, оставшиеся разбитые тюркские вожди отправились к китайскому двору и стали просить императора принять титул Небесного Кагана. Такого прецедента не было: Китай и степь в течение тысячелетия почти непрерывно враждовали, и хотя северным племенам удалось отрезать значительные куски Китая, китайцы до Тайцзуна не могли отделаться от своего закосневшего чувства культурного превосходства и любви к стенам, сопровождавшей его достаточно долго, чтобы понять и разгромить кочевников их собственными методами. Тайцзун как будто с пеленок сжился с новой ролью и держался как образец терпимости к культурному многообразию. «С древних времен, — с чувством говорил он, — все почитали китаец и презирали варвара; только я полюбил их обоих как

единое целое, а в результате все кочевые племена держатся меня как отца и матери». Относящаяся к VIII веку тюркская запись несколько по-другому трактует отношения тюрков с их китайским «отцом и матерью»: «Сыновья тюркской знати стали рабами китайцев, а их невинных дочерей низвели до положения невольниц».

В любом случае Тайцзун не тратил время на то, чтобы сопрягать свои слова с действиями, а сосредоточился на раздувании кровавой междоусобицы среди западных тюрков. До 630 года каган западных тюрков управлял империей, простиравшейся от Яшмовых Ворот, крайней точки западного Китая, до сасанидской Персии, которая огибала Каспийское море и могла похвастать союзами с такими далекими западными странами, как Византия. За один или два года до того, как эта империя начала разваливаться на части, китайский буддийский монах по имени Сюаньцзан, совершая паломничество в Индию, прошел через владения кагана и оставил подробное описание его великолепного двора, разбившего ставку в городе Ак-Бешим. Нынче это прожаренные солнцем развалины в западном Киргизстане, а в VII веке — шумное поселение на Шелковом пути, заполненное базарами и проходящими караванами. Сюаньцзан описал правителя, одетого в платье из зеленого атласа и головной убор из ярдов шелка. Каган был окружен сотнями выраженных в парчу чиновников и таким великим множеством всадников, «что глаз не видел им конца... Каган находился в большой юрте, украшенной золотыми цветами, от которых слепило глаза... Хоть это и был правитель варваров, скрывавшийся в войлочной юрте, на него невозможно было смотреть без почтения... Тем временем зазвучали громкие аккорды музыки восточных и западных варваров. Какими бы полудикарскими ни были те мелодии, они ласкали ухо и радовали душу. Вскоре после этого внесли свежие блюда, по четверти вареного барана и теленка, которые были щедро разложены перед пирующими».

К счастью танского императора, цветущий режим был обречен пасть в результате неожиданного поворота событий, типичного для степной политики. После того как кагана в 630 году убило соперничавшее племя, Тайцзун сеял постоянные раздоры, поддерживая то одну, то другую властную группировку, что давало прямой повод отвергнутой группировке уничтожить пользующуюся благосклонностью. После десяти лет того, что, в сущности, являлось междоусобной войной, один из претендентов на Западный Тюркский каганат, все еще не осознав подрывного влияния вмешательства Китая, попросил брачного союза с танской принцессой. Тайцзун ловко потребовал в качестве скромного свадебного подарка пять оазисов в Таримском бассейне, к югу от Тяньшаньских гор. Скомбинированная с политикой военных захватов — в 638 году правитель одного из оазисов, как говорили, умер от страха, узнав, что китайская армия приближается к его царству, — дипломатия Тайцзуна позволила ему утвердить суверенитет над оазисными царствами Центральной Азии, через чьи территории Шелковый путь пролегал в Персию и Восточную Римскую империю. В 640—648 годах Тайцзун взял под контроль большую часть Таримского бассейна, основав в 649 году на западе, в самой Куче, в сердце пустыни Такламакан, протекторат, который он самоуверенно назвал Аньси («Умиротворяющий Запад»). На этих дальних форпостах империи были размещены гарнизоны, но Тайцзун продолжал презирать стены, торжественно заявляя одному из своих генералов, что «вместо посылки людей на охрану границы император Ян истощал страну строительством длинных стен, стремясь защититься от нападений. Сегодня я использую тебя, чтобы охранять север, и тюрки не осмелятся пойти на юг — ты намного лучше длинной стены!».

В первой половине VII века танский Китай пожинал материальные плоды своей внешней политики. В период

правления императора Сюаньцзуна (712—756 годы) в Китае со всех сторон хлынули экзотические предметы роскоши; иранские, индийские и тюркские украшения появились на всех предметах домашнего обихода. Северные китайцы настолько привыкли к перевозке диких животных с юга, что, когда поставки остановились из-за поднятого неким евнухом из Кантона мятежа в 763 году, поэт Ду Фу печально заметил: «В последнее время поставки живых носорогов или даже перьев зимородка являются редкостью». В крупных городах появилось значительное количество иностранцев: арабов, цейлонцев и в первую очередь торговцев из Согдианы (современный Узбекистан). Их присутствие отчетливо подтверждают характерные для эпохи Тан статуэтки с большими носами, темной кожей и несколько карикатурной внешностью. В столице Чанъани, по оценкам, проживали до двадцати пяти тысяч иностранцев, причем некоторые добились высоких постов. В то время как аристократия все больше привыкала к поло, а император взял себе в наложницы танцовщицу из Ташкента, зеленоглазые золотоволосые женщины с Запада предлагали вино в янтарных бокалах чанъаньским гулякам с деньгами в кармане:

Варварская гурия с лицом, похожим на цветок,  
Стоит у чайника с вином, смеется дыханием весны,  
Смеется дыханием весны, танцует в газовом платье.

Мужчины носили шапки из леопардовых шкур; женщины выставляли напоказ лица под тюркскими шапочками и выходили на люди одетыми в мужскую одежду для верховой езды. (Видимо, женщины в эпоху Тан пользовались большей свободой, чем в период любой другой этнически китайской династии; уродующий женщин обычай бинтовать ноги появился только при династии Сун, два столетия спустя.)

Мало кто из людей был так привержен всему иностранному, особенно тюркскому, как старший сын Тайцзуна, Ли

Чэнцзянь, отбравший в слуги только тюрков или тех, кто умел говорить по-тюркски, одевавшийся как каган и поставивший во дворе своего дворца юрту, украшенную знаменами с головой волка, где и восседал, отрезая мечом от жаренного барана лакомые куски. Поселки и города западной окраины Китая оказались неизбежно самыми космополитичными из всех, давая приют множеству иранских огнепоклонников, торговцев, музыкантов, акробатов, магов, циркачей и вертлявых согдианских танцовщиц — их-то император Сюаньцзун особенно любил, — легко прыгавших и бегавших по катавшимся по сцене мячам.

В течение первых ста пятидесяти лет своего существования империя Тан часто напоминала диаметрально противоположный фантастический мир, где все обычаи и ценности императорского Китая были поставлены с ног на голову, и к тому же с большим успехом. Стены со своей способностью утверждать в земле и камне резкие эксклюзивные черты, столь притягательные для комплекса китайского культурного превосходства, с презрением отвергли ради тактики — военные кампании и переменчивое дипломатическое жульничество, — которая пришла прямо из степи. Еще не совсем нивелированное мировоззрение Серединого Царства — вера в то, что Китай стоит в центре цивилизованного мира — со всей очевидностью оказалось перед угрозой со стороны поклонения иностранной экзотике, и Тан даже открыла дверь, пусть временно, для сексуальной революции в политике. Именно в период ранней Тан Китаем управляла первая и последняя императрица, У Цзэтянь, подстроившая, получив власть после смерти мужа в 690 году, все традиции конфуцианского патриархата под свои феминистские нужды: уничтожив большую часть мужчин клана Тан, она основала собственную династию с наследованием по женской линии. У Цзэтянь подбирала мужчин для своих утех; расходовала государственные средства на стимулирующие снадобья — такой силы, что к семидесяти годам у нее, как сообщается, стали расти новые зубы и брови, — рассчитывая по-

лучить максимум наслаждения от выбранной ею новой пары любовников. Видимо, более всего возмутило мужчин-аристократов, ее современников, решение императрицы отправить своего внучатого племянника в качестве заложника-жениха для дочери правителя Восточного Тюркского каганата, а не дать ему обычную китайскую принцессу, как традиционно велось со времен Хань. У окружавших императрицу мужчин-придворных — до того покорных из страха перед тайной полицией императрицы — при этом последнем и самом возмутительном нарушении традиционной сексуальной политики, видимо, лопнуло терпение. «Никогда с древних времен не бывало прецедента, чтобы императорского принца женили на женщине из варваров!» — возвысил голос самый прямой и смелый из них, которого тут же послали служить на границу.

Однако, несмотря на успехи и богатство Тан в период ее расцвета, колеса китайской пограничной истории — чьим приводом являлось давнее предубеждение к поведению варварского севера — вскоре снова провернулись. В течение VIII века политический фокус танской державы постоянно смещался к югу, прочь и от родных краев на севере, и от стиля жизни, помогавшего династии господствовать над степными племенами. Когда началась массовая миграция в центральный и южный Китай, позиции южной аристократии усилились за счет старой полутюркской военной элиты. В результате северная граница оказалась брошенной ради более мягкого климата и должностей юга.

В начальный период правления династии оборону границы обеспечивали закрепленные за территорией отряды милиции, которые действовали вахтовым методом, живя месяц в столице и три года на границе. Больше того, в период ранней Тан служба в милиции считалась скорее честью, чем наказанием, и ограничивалась в основном представителями высших классов. В результате военные силы сконцентрировались вокруг столицы, став гарантией, что альтер-



нативные силовые структуры не появятся где-нибудь в дальних провинциях и что военная карьера останется престижной в глазах правящего класса. Однако, по мере того как аристократия начала перемещаться на юг, обязанность служить на пограничных постах все более переходила к элитным, профессиональным войскам, большая часть которых была укомплектована и руководима сильными и дерзкими центральноазиатами, чья лояльность к китайскому режиму все более слабла.

Исторически самым значительным из них следует считать согдианского генерала Ань Лушаня. Родившийся примерно в 703 году, позанимавшись в начале карьеры воровством овец, он поднимался по иерархическим ступеням в китайской армии до тех пор, пока в качестве фаворита деспотичного главного министра Ли Линьфу не получил в командование крупное войско на пограничном посту Инчжоу, расположенном на самой северной точке границы — на южной оконечности Маньчжурии, — в стратегически важном районе, долгое время служившем трамплином для успешных захватов в северном Китае. Пока император Сюаньцзун все больше терял голову от страсти к своей любимой наложнице, знаменитой красавице Ян Гуйфэй, Ань Лушань поднимался по ступеням военной и политической иерархической лестницы. Двор же считал: на этом малограмотном шуते слишком много жира, чтобы он мог представлять какую-либо политическую угрозу (в знак своего нежно-насмешливого отношения к главнокомандующему Ян Гуйфэй на день рождения Аня в 751 году публично нарядила этого огромного человека в одежду младенца, устроив церемонию, на которой в шутку усыновила его).

Между тем амбиции Аня шли дальше получения императорских подарков новорожденному. Увидев слабость императорской армии в сравнении со своим пограничным войском, он в 755 году повел двести тысяч человек и триста тысяч коней на китайские столицы, Чанъань и Лоян. Обе пали

без всякого сопротивления. Император бежал на запад, а перед этим, жестоко страдая, был принужден своими мятежными войсками казнить Ян Гуйфэй, обвиненную в отвлечении Сюаньцзуна от исполнения своих политических обязанностей. Хотя восстание в конечном итоге было подавлено при помощи уйгурских наемников, танский Китай так больше и не смог оставаться тем же могущественным государством, все заметнее распадаясь на провинциальные военные протектораты. Пограничная оборона империи развалилась: уйгуры захватили Ганьсу, тибетцы прошли в центральноазиатские оазисы, а в 763 году дошли до самой Чаньани. Начиная с 790 года все территории к западу от Яшмовых Ворот Китай потерял. В то же время империя начинала сторониться космополитизма, которому была обязана своей прежней живостью, уходя в себя и все более приобретая ксенофобский взгляд, утверждавший, будто чистая, простая китайская культура загрязнена и ослаблена буддизмом. В 836 году китайцам запрещалось иметь дела с «цветными людьми» — согдианцами, иранцами, арабами и индийцами. Девять лет спустя по всей стране начались гонения на буддизм — были репрессированы двести шестьдесят тысяч монахов и монахинь, их собственность конфискована. Монастыри превращали в общественные здания, колокола и статуи переплавляли в монеты, которые верующие люди, боясь совершить святотатство, отказывались использовать. Но эти усилия подпереть китайскую традиционность через критику всего иностранного не остановили разложения, начавшегося по всей империи. К IX—X векам императоры некогда великой семьи Тан находились во власти военных клик, тюркских и монгольских захватчиков, шаек разбойников и толп враждующих евнухов, пока в 907 году династия не перестала существовать.

Любопытно, что хоть Тан и не строила стен, идея Длинной стены в период династии не была забыта. Совсем на-

оборот: граница и ее стены разрастались в общественном сознании, как никогда, благодаря опосредованному влиянию реформы бюрократической системы VII века — восстановлению системы экзаменов для государственных чиновников. Из-за столетий нелюбви высокой культуры к предпринимательству и торговле на протяжении почти всей истории существования императорского Китая правительственная служба оставалась, вероятно, наиболее социально привлекательным выбором для образованных китайцев. Императорская непогрешимость, предопределенная, помимо всего прочего, Небесным Мандатом, гарантировала: работа на имперское государство будет, безусловно, рассматриваться как в целом достойная и добродетельная, за исключением особых обстоятельств (например, процесса передачи Небом Мандата от недостойного достойному). А в дополнение к официально установленному жалованью государственная должность давала творчески мыслящему коррумпированному бюрократу широкие возможности для обогащения.

Китайские императоры со II века до н.э. довольно бессистемно использовали экзамены для отбора своих чиновников, проверяя детальность знаний у кандидатов в области канонических трудов, имевших главное значение для политической культуры: тексты династии Чжоу, которые почитал Конфуций вкупе с собранием его собственных высказываний и высказываний наиболее известных учеников философа. После того как экзамены гражданской службы снова были подняты на щит династиями Суй и Тан вслед за постханьской раздробленностью, они постепенно превратились в главный путь отбора на теплые должности в среде имперской бюрократии. В позднеимперский период экзаменационная система эволюционировала в конфуцианский контроль за сознанием, изоцированную и бескомпромиссную систему образовательной пытки. Экзаменаторы с наслаждением поднимали требования к конфуцианской эрудиции кандидатов до бессмысленных, малопонятных крайностей,

предлагая своим жертвам, например, указать, в каком месте своего «Собрания» Конфуций использовал такое-то слово. В период династий Мин и Цин (1368—1911 годы) экзаменационная система в государственной службе стала интеллектуальной тиранией, поглощавшей умственную энергию образованных мужчин огромной империи от пеленок до старости. Учебники по утробному развитию плода предлагали беременным женщинам принимать позу, лучше всего помогавшую развитию эмбриона, а на другом конце жизненного цикла, несмотря на то что официальный возраст отставки пятьдесят лет, мужчины семидесяти лет и старше настойчиво пытались счастье на экзаменах, стараясь выдать себя за молодых людей, порой настолько успешно маскируясь, что даже жены их не узнавали. К XIX веку ничтожный процент выдерживавших экзамены по отношению к провалившимся в сочетании с отсутствием альтернативного и престижного карьерного выбора для хорошо образованных людей создали этакое общество-скороварку, содержимое которой не выдерживает давления и готово взорваться от крушения надежд мужчин на занятие достойного положения в обществе. Самое разрушительное народное восстание XIX века, тайпинское, возглавил провинциальный школьный учитель, впавший в депрессию после повторного провала на государственных экзаменах и переживший нервный срыв, во время которого ему было видение — Бог сообщил ему, будто он младший брат Иисуса Христа. Прежде чем его еретическое Небесное Царство четырнадцать лет спустя, в 1864 году, в конце концов было разгромлено китайским правительством, он оставил за собой миллионы трупов и едва не поставил на колени династию (хотя в Китае в 1905 году систему экзаменов в конечном счете отменили и заменили спорными тестами на знания по таким более современным направлениям, как наука и техника, она по-прежнему получает духовное воплощение в собственной британской системе экзаменов государственной службы, которая основывается на модели китайской империи).

Между тем на менее зрелом этапе своего развития, в VII веке, экзамены на пригодность к государственной службе были не столь проблемным институтом. Важнейшим изменением, введенным при династии Тан в 681 году, стала реорганизация программы таким образом, что успех зависел не столько от толкования текстов, сколько от литературного сочинения, особенно поэтического. Ассоциировавшаяся с государственным ритуалом, по крайней мере с периода Чжоу, когда распевались оды как сопровождение дворцовых церемоний, поэзия теперь в прямом смысле стала ступенькой к прямой политической власти. В 722 году император Сюаньцзун запретил имперским принцам содержать крупные свиты поэтов, видя в таких скоплениях прямую угрозу собственному политическому авторитету. Поэзия оставалась вплетенной в китайскую политику все следующие полторы тысячи лет: хоть и будучи готов, как Платон, вышвырнуть других поэтов из своей республики, Мао Цзэдун сам являлся увлеченным рифмоплетом-самоучкой.

Благодаря всеобщей популярности имперской службы как карьерного выбора и тому, что владение навыками стихосложения было предварительным условием для профессионального роста, поэзия в период Тан пережила свой расцвет: большинство поэтов, в том числе крупнейших — ставших знаменитостями танского Китая, — либо служили, либо стремились на государственную службу, и зачастую их известность определялась более способностью составлять четверостишия, чем умением управлять административными подразделениями. Даже свободные поэты предпочитали быть живущими за счет правительства чудаками, чем независимыми представителями богемы. Ли Бо, вероятно, самый известный из танских поэтов (пьяница, дуэлянт и бродяга-романтик, который, как говорили, утонул, прыгнув по пьяному делу в реку, чтобы обнять отражение луны), позаботился о том, чтобы, пока складывается его собственный культ экзотического гения, двигаться по чиновничьей лестнице, ради чего женился на родственнице провинциального

чиновника и получил правительственную должность поэта в Императорской академии.

К несчастью для огромного числа честолюбивых поэтов-бюрократов, предложений кабинетной работы в привлекательных центральных регионах насчитывалось значительно меньше, чем требовалось. Как следствие в стране, где посылка за двести километров от столицы считалась изгнанием, многим чиновникам приходилось принимать нежеланные посты на далекой северной границе Китая в надежде в конечном счете продвинуться и перевестись на менее обременительную должность где-нибудь поближе к танской столице Чанъань. Таким образом, границы населяли тосковавшие, скучавшие по дому поэты, брошенные в чуждую, быстро меняющуюся обстановку, — верное средство для быстрого избавления от лирических сантиментов. Наиболее известные поэты диких китайских окраин, глядя на северные пустыни и горы, описывали главным образом ужас и одиночество — подобно недовольным туристам злясь на непомерный холод зим на границе, злую жару летом, жестокость пограничных схваток и бессмысленность длинных стен — и легко признавались, что предпочли бы уют дома во внутреннем Китае. Стихи о северных границах империи и стенах существовали со времен Чжоу, но именно официально признанный расцвет поэзии при Тан сделал их независимым литературным жанром: сай ши (стихи с границы).

Цэнь Шэнь (715—770 годы), в середине VIII века проведший девять лет на границах в качестве младшего чиновника, был типичным представителем сословия разочаровавшихся литераторов-чиновников. В возрасте двадцати девяти лет, отчаявшись получить повышение после десяти лет по большей части бесплодной борьбы за продвижение по чиновничьей иерархии, он пошел на огромный карьерный риск, отправившись в Аньси, в китайском Туркестане, где служил в штатах у двух пограничных генералов в течение восьми и трех лет соответственно. В некоторой степени трагическая

фигура, он так и не добился высоких бюрократических должностей, к которым так стремился. В 756 году он по-прежнему был оторван от жизни в своем пустынном оазисе, когда перспективы его карьеры оказались перечеркнуты восстанием Ань Лушаня и последовавшим за ним хаосом. В обстановке смятения при дворе, после 757 года он несколько раз назначался на скромные посты около и рядом со столицей, а потом его послали управлять погрязшей в анархии провинцией Сычуань, в центральном и западном Китае. Когда его в 768 году наконец отозвали в Чанъань, он не смог вернуться из-за поднятого злодеями мятежа. Он умер два года спустя, так и оставшись в Сычуани. Томясь в 740—750-х годах в занесенном песками сторожевом охранении к северо-западу от Дуньхуана, Цэнь отображал уныние и характерные для тех мест настроения:

Через пустыню я следил, как встает солнце,  
Через пустыню я следил, как оно садится.  
Как я сожалею, что приехал сюда — за десять тысяч ли!  
Судьба, успех — что это за вещи, которые ведут нас?

Его стихи с границы — поэзия, пропитанная скорбным сожалением, назойливо звучащим в ушах печальной мелодией варварской флейты:

Разве вы не слышали, что звук варварской трубы  
самый печальный на свете  
Из всего, на чем играют рыжебородые зеленоглазые  
варвары?  
Их бесконечная песня  
Убивает своей заунывностью наших парней во время  
кампаний на северо-западе.  
В течение ледяной осени, в восьмом месяце,  
по пути на запад  
Ветер с севера продувает и сечет травы  
Тяньшаньских гор.  
В Гималаях луна повисла так, чтобы коситься вниз,

Когда варвары поднимают к ней свои трубы.

...

В пограничных городках вы каждую ночь будете видеть  
грустные сны.

Кто хочет послушать варварскую трубу,  
играющую луне?

Все, чего желал Цэнь, как он постоянно давал понять, это снова оказаться в кругу близких ему по духу друзей в центре цивилизации, в танской столице Чанъань. Его короткое стихотворение «Встреча с посланником, возвращающимся в столицу» буквально сочится сентиментальной тоской по дому:

Я смотрю на восток, в сторону родных мест,  
вдоль бесконечно тянущейся дороги,  
Оба моих рукава мокры от непросыхающих слез.  
Случайно повстречав тебя здесь в седле, я не захватил  
с собой бумагу и кисть;  
Я верю, что ты унесешь с собой на словах, что все хорошо.

Такой всепоглощающей была тоска приграничных поэтов по родным местам в Китае, что их литературные образы частенько бывали перекрыты ностальгическим протестом. Несмотря на очевидную физическую разницу в географии собственно Китая и его приграничных территорий, многие из основных образов пограничной поэзии — растения, животные и погода — заимствованы из стандартного репертуара символов китайской пейзажной поэзии: устремившиеся в небо гуси указывают на одиночество, катящееся перекатипole символизирует поэта, занесенного далеко от своих родных мест. Даже если поэт в своем творчестве заставлял себя взглянуть на чуждую реальность границы, он при этом подчеркивал силу своей тоски по родине, показывая окружающий мир через отсутствие здесь обычных деталей, которые ассоциируются с поэтическим описанием китайско-





к климатической непохожести, к палящему зною современного Синьцзяна и республик Центральной Азии:

Я слышал, как варвары у гор Инь судачат,  
Что у западного берега Горячего озера\* вода кажется  
кипящей.

Стаи птиц не осмеливаются летать над нею,  
Под ее поверхностью карпы вырастают длинные  
и жирные.

На берегу зеленая трава никогда не чахнет,  
В небесах белые облака спиралями уплывают в небытие.  
Парящие пески и оплавленные камни поджигают  
варварские облака,  
Кипящие волны, пылающий прибой испепеляют  
китайскую луну.

Невидимые костры разжигают печи Неба и земли,  
Для чего они должны дотла сжигать этот уголок запада?

Временами, конечно, пограничным поэтам — которые все же оставались представителями государства, хоть и младшими, — приходилось откладывать в сторону ощущение печали и отчуждения, горячо прославляя китайский военный империализм и восхваляя храбрость генералов и солдат. «Армейская песнь» Ван Чанлина выставляет пограничные дела в ярко государственным свете:

Великий генерал выходит со своей армией в поход,  
Дневной свет меркнет над Вязовым проходом.  
Золотые доспехи сияют во всех направлениях,  
Шанью отступает, его храбрость сломлена.

В стихотворении «Под стеной» поэт, однако, излагает свои личные чувства:

Цикады поют в безлюдных шелковичных зарослях,  
В восьмом месяце проход позабыт всеми.  
При проходе через границу в обе стороны  
Повсюду виден пожелтевший тростник.

---

\* Озеро Иссык-Куль в современном северо-западном Киргизстане, но в пределах танского протектората Аньси.

...

Мой конь переходит через реку в августе,  
Холодный ветер с воды сечет словно нож.  
По ту сторону пустынных равнин день еще

не закончился,

Мне смутно виден Линьтао.

В былые дни битвы вдоль Длинной стены  
Описывались с хвалами и благоговением,  
Но сегодня прошлое не более чем желтая пыль,  
Белые кости, разбросанные в траве.

В танских пограничных стихотворениях стена заново открыта в виде стереотипной аллюзии, призванной показать абсолютную пустынность окружающей ее местности, бесчеловечность, сопровождавшую ее строительство, тщетность экспансии, которую она поддерживала.

К западу от китайских сигнальных башен,  
где лагерь сдавшихся тюрков,  
Длинная стена вздымается из желтых песков  
и выбеленных костей.  
Мы начертали свои успехи на горах Монголии,  
Но земля безлюдна, луна никому не светит.

Однако в надежных руках лучших танских поэтов пыльное клише могло звучно трансформироваться в пацифистскую полемику, как, например, в парной песне Ли Бо «Война к Югу от стены»:

В прошлом году мы бились у истока реки Сангань,  
В этом мы бьемся на дорогах у реки Цун.  
Мы сполоснули свое оружие в морях на дальнем западе,  
Мы попали своих коней на замерзших травах  
Небесных гор.

Войны маршей в десятки тысяч миль,  
Три армии стары, измотаны.  
Сюнну живут не пахотой, а убийствами,  
И так ведется исстари — лишь поля выбеленных  
костей и желтого песка.  
Император Цинь строил стену, чтобы сдержать варваров,

Хань постоянно жгла сигнальные огни.  
И они по-прежнему неустанно горят —  
Бесконечные войны и походы.  
На поле брани схватки происходят врукопашную,  
на смерть,  
Раненые кони ржанием несут свои страдания небесам,  
Коршуны и вороны выклевают внутренности  
из трупов,  
Потом улетают, чтобы развесить их на иссушенных  
деревьях.  
Солдаты падают в дикие травы,  
Но генералы тщетно пытаются их поднять.  
Поистине орудия войны не несут ничего,  
кроме жестокости,  
Мудрые люди пользуются ими лишь как крайним  
средством.

На поле битвы сплошная путаница,  
Солдаты копошатся как муравьи.  
Солнце — красное колесо, повисшее в мутном воздухе,  
Колючие травы окрасились в кроваво-красный цвет.  
С клювами, полными человеческой плоти, вороны  
Бесполезно машут крыльями; они слишком разжирили,  
чтобы взлететь.

Люди, которые вчера были на стене,  
Сегодня превратились в тени у ее подножия.  
Знамена мерцают словно рассыпанные звезды,  
Барабаны продолжают грохотать, бойня еще  
не закончилась.

Наши люди — мужья, сыновья —  
Все там, среди грохота барабанов.

В 880 году некий разбойник, возглавивший мятежников, по имени Хуан Чао въехал в столицу Тан, Чанъань, в золотой повозке, за которой следовала свита из нескольких сотен человек, одетых в парчу. Он стал богат благодаря неистовому разграблению Кантона и Лояна. Незадолго до того бежавший под покровом ночи из своей обреченной столицы, предпредпоследний танский император в тот момент удирал по склонам и ущельям гор Цзиньлин, надеясь ук-

рыться в Сычуани, где ему предстояло фактически стать пленником своего главного евнуха. Несмотря на парадный въезд, мятежники вскоре стали обращаться с Чанъанем так же, как обращались с двумя другими большими китайскими городами: грабежи, убийства, наказание города за его роскошь и особые права.

Весной 882 года на воротах департамента государственных дел в Чанъане появилось стихотворение. Скорее сатирическое, чем лирическое, оно высмеивало новых правителей города, в условиях анархического режима которых приходилось служить поэтам-бюрократам. Мятежники отреагировали быстро, перебив всех чиновников в вызвавшем раздражение департаменте, вырвав у них глаза и вывесив напоказ их трупы. Затем они продолжили казнить всех в столице — веками являвшейся центром притяжения для элиты китайских поэтов-чиновников, — кто мог написать это стихотворение.

907 год принято считать годом конца династии Тан — когда провинциальный военачальник убил последнего танского младенца-императора, — однако, видимо, именно события весны 882 года подвели решающую, страшную черту под династией и золотым веком китайской поэзии, чей приход она возвестила. После того как император бросил столицу в руках разбойников, а государственные военачальники объявили себя независимыми военными диктаторами, инородцы, обитавшие вдоль северных границ, начали просачиваться на юг, создавая собственные государства в Маньчжурии, Шаньси и Хэбэе.

Именно благодаря наиболее успешным из этих государств, киданьскому Ляо и чжурчжэньскому Цзинь, случилось так, что, несмотря на все усилия Тан физически и фигурально разрушить рубежные барьеры, стены снова начали расти — правда, лишь для того, чтобы подвести Китай в самый критический момент: во время вторжения монголов под предводительством Чингисхана.

Карта № 4. Цзиньские стены и походы монголов (1115—1234 гг.)





## Глава седьмая

### *Возвращение варваров*

В течение восьми лет, с 1194 по 1202 год, государство Цзинь, в то время контролировавшее большую часть северного Китая, размышляло о том, какой из пяти космических элементов — земля, дерево, металл, огонь или вода — должен олицетворять династию. Придворные, чиновники и ученые разбивались на партии, выстраивали аргументы и — вековое бюрократическое средство — рисовали иллюстрирующие схемы. Поскольку Цзинь на китайском языке означает «золотая», рассуждали некоторые, династия должна выбрать металл. Однако другие противопоставляли им логику игры «ножницы-бумага-камень»: так как династия Сун, соперница Цзинь, правившая южным Китаем, уже была представлена огнем, а огонь превосходит металл, то это был бы неблагоприятный выбор; вода — естественный победитель огня — более предпочтительна. Так все и шло. В конечном счете победила партия земли, утверждавшая: в соответствии с тысячелетними чертами космической очередности земля неизменно заменяет огонь, так и Цзинь неизбежно придет на смену Сун. Даже с наступлением XIII века вопрос все еще не получил разрешения, и в 1214 году споры возобновились. Теперь в наступление перешли сторонники металла,

заявив — гаснущий огонь слабой в военном отношении Сун не способен разрушить крепкий, закаленный металл, в то время как в пользу огня выставлялся лишь один ничтожный аргумент: Цзинь в ранние годы выбрала красный цвет как цвет знамени. Так все и шло.

В нормальных китайских условиях в таких спорах не усмотрели бы ничего странного или мелочного. Теория «пяти элементов» в смене династий просто стала ответом Серединого Царства на проблему узаконивания правления в демократическую эпоху, китайским эквивалентом права помазанника Божия в Европе. С первого тысячелетия до н.э. — веков формирования китайского государства — обеспечение политической легитимности было сведено к набору квазирелигиозных принципов, гармонизировавших политические изменения с миром природы. Через несколько столетий после того, как династия Чжоу установила, что императоры правят, заслужив таинственный Небесный Мандат, Цзоу Янь, мыслитель, живший в III веке до н.э., теоретически совместил передачу Мандата с циклами пяти основных элементов. Их сила последовательно убывает и нарастает — что показывают космологические явления и небесные предзнаменования, — причем каждый господствует над миром в течение фиксированного периода времени. Поскольку каждая династия связывала себя с определенным элементом, ее мощь должна нарастать и убывать по мере развития естественных процессов в космосе.

Идея Цзоу Яня вскоре стала набирать силу, и начиная с императора Цинь правители Китая долго и трудно мучились над тем, к какому элементу подцепить свое правление. Все претендующие на Китай — завоеватели, узурпаторы, мятежники — должны были хорошо усвоить толкование космических тенденций небес. Так, когда Китай распался в междоусобной войне — к примеру, во времена заката Хань, — мятежные группировки боролись друг с другом средствами космологической пропаганды столь же активно, как и ору-



жием. Каждая из них «прихватывала» какой-нибудь из элементов и бомбардировала соперников небесными проявлениями и предсказаниями, стремясь доказать собственную космическую силу.

Однако для цзиньского двора все происходившее не выглядело ни нормальным, ни китайским. Просто Цзинь была не китайской династией, а одним из маньчжурских племен — чжурчжэнями, — меньше столетия назад спустившимся с покрытых хвойными лесами гор холодного северо-востока для захвата покосов северного Китая. Теоретически они имели полную свободу игнорировать запутанные космологические дилеммы китайской политической традиции. Во-вторых, что более важно, угроза, нависавшая над Цзинь, являлась намного более серьезной, чем нарушение последовательности элементов. Десятью годами ранее, примерно в 1190 году, некогда незаметный и сильно нуждавшийся кочевник из северной степи убедил соплеменников избрать его вождем. Во время научных споров Цзинь новый вождь находился уже в шаге от победы над оставшимися соперниками и превращения их в единое монгольское государство. Вскоре после этого, в 1206 году, соплеменники провозгласили его Чингисханом, верховным вождем монголов и архитектором империи, которая в период своего расцвета в 1290 году будет простираться через всю Азию от восточного побережья России до берегов Черного моря. В течение десятилетий между этими датами монголы будут грабить земли и уничтожать население с бездумной тщательностью, заставив одного из специалистов по Китаю после Чингисхана заметить: «Если даже тысячу последующих лет никакое зло не приключится в стране, то и тогда будет невозможно возместить ущерб и вернуть земли к прежнему состоянию». Фактически в 1214 году, когда партии металла и огня продолжали дискутировать при цзиньском дворе, Чингисхан находился у самых стен Пекина, захватив большую часть цзиньского Китая к северу от столицы и по ходу дела миновав тысячи километ-

ров рубежных стен. Что заставляло маньчжурских Цзиней тратить время на китайские философские абстракции, когда Золотая Орда чингисхановых монголов кусала их за пятки?

Цзинь, последний из череды варварских степных кланов, правивших северным Китаем после крушения китайской имперской власти (в данном случае после падения в 907 году династии Тан), понял — его разрывают типичные для северных покорителей Китая дилеммы: как приспособить традиции степного скотоводства к управлению китайскими земледельцами и как в ходе этого процесса избежать подмены военной дисциплины кочевников, давшей ему победу над китайцами, оседлым образом жизни, который в свое время неизбежно сделает его объектом посягательства для грубых, настоящих кочевых племен. И снова, подобно Северной Вэй до него, государство Цзинь пыталось решать эту проблему, создавая двухуровневую систему управления: один уровень для земледельцев, оказавшихся под его властью, другой для кочевников — и сохраняя устрашающее военное присутствие в степи. Однако в конечном результате, упорно не желая извлекать исторические уроки, династия Цзинь пошла точно по тому же самому пути, на котором себе сломала шею Вэй: во-первых, претерпела активную китаизацию (даже объявив себя космологической наследницей китайской династии Сун); во-вторых, переняла чисто китайский подход к решению проблем пограничной политики — стеностроительство; и в-третьих, была уничтожена степняками, в данном случае монголами под предводительством Чингисхана.

Сама Цзинь пришла к власти, выдворив в 1124 году обратно в степь другую окитаизировавшуюся варварскую династию, Ляо. В 907 году, когда ее основатель Абаоцзи взял свои руки власть, Ляо имела столь же безугречную степную родословную, что и Цзинь, начав существование в качестве киданьских кочевников из Маньчжурии, с северо-востока.

Кидани тревожили Китай со времен династии Суй, но продвинуться на юг смогли лишь в начале X века под водительством Абаоцзи, собравшего своих раздробленных последователей и жителей завоеванных на северо-востоке Китая земель в единое государство путем творческого использования комбинации племенного и китайского подходов: уничтожив сначала соперников и противников, он нанял группу китайских советников, которые помогали ему управлять земельными территориями, выбрал для себя китайский девиз правления, ввел наследование по прямой линии и публично одобрил конфуцианскую философию. В 913 году его дядя саркастически выразил появившееся у киданей ощущение культурного шока: «Сначала я не понял, насколько высок Сын Неба. Потом Ваше Величество взошел на престол. Со всеми своими стражниками и слугами Вы были до ужаса величественны и явно принадлежали не к тому классу, что обычные люди».

Лишь немного помедлив, прежде чем казнить не в меру критически настроенного родственника, Ши-хуанди Ляо начал строить обнесенные стенами города, ввел письменность на основе китайских иероглифов и разделил свое царство на северную и южную половины: первая управлялась методами, принятыми у кочевников, вторая — по-китайски. Его династия даже восприняла китайскую систему экзаменов для подбора чиновников, хотя ключом к успеху скорее следует считать знание степи, чем Конфуция. В одном экзаменационном сочинении кандидаты должны были составить эссе «Как убить тридцать шесть медведей за один день», а способность чиновника добыть трех зайцев тремя выпущенными одна за другой стрелами ценилась так же, как и его умение писать стихи. Его подход, казалось бы, сработал: к 937 году Ляо заполучила части северного Хэбэя и основные проходы в северный Китай, включая Датун в Шаньси.

В течение нескольких десятилетий Ляо обращала свои взоры на территории, лежавшие дальше на юг. Районы Ки-

тая, находившиеся вне пределов Ляо, познали короткий период воссоединения в 960—970-х годах, когда некий удачливый военачальник основал собственную династию, Сун. За три столетия существования Сун воспользуется плодородием южных рисовых полей, чтобы напитать суетливую городскую экономику, процветающую торговлю предметами роскоши и обеспечить возрождение китайского искусства, поэзии, науки, математики и философии, чему содействовало развитие книгопечатания с использованием гравировки по дереву. Но ей так и не удалось вновь объединить китайскую империю. В 979 году, пребывая в эйфории от победы в кампании, в ходе которой был ликвидирован последний оплот сопротивления независимых диктаторов в провинции Шаньси, император Сун повел свою истощенную армию в северный Хэбэй с намерением вернуть территории, захваченные Ляо в 937 году. Экспедиция обернулась поражением: сунские войска были наголову разбиты к юго-западу от Пекина, а императору, раненному стрелой, пришлось бежать на юг в запряженной ослом телеге. Сун так и не сумела восстановить военное преимущество над Ляо, в 1004 году вторгшейся в северный Китай и захватившей ряд территорий в районе Желтой реки. В апогее своего развития империя Ляо достигла на юге светло-коричневых распаханых равнин современного Тяньцзиня, а на востоке — Хэбэя. На западе территория империи пересекала восточную часть петли Желтой реки почти в ее центре и протянулась на север, включив в себя Маньчжурию и северную часть Кореи у самых берегов реки Сунгари. Столетия спустя после крушения династии правление Ляо в северном Китае по-прежнему упоминалось в Европе, где Китай обычно называли Катэй — это название происходило от родового племенного имени Ляо, кидани.

Реализуя амбиции быть Китаем и китайской династией, Ляо еще в 908 году строила стены на северо-востоке, стремясь защитить себя от дерзких степняков, проживавших на

севере, в Маньчжурии. Однако охрана границы — со стенами и гарнизонами с двадцатью двумя тысячами регулярных войск — оказалась неподъемной тяжестью. Расходы на оборону частью оплатила династия Сун, разбогатевшая благодаря сбору двух урожаев риса в год, буму в развитии ремесел и рынкам, процветавшим вдоль южных водных артерий. В 1005 году ей пришлось выплатить Ляо отступные в размере двухсот тысяч рулонов шелка и ста тысяч унций серебра. Однако укрепления Ляо тоже создавались с упором на наказания и крайне непопулярную систему воинской повинности. Любая семья, оставшаяся без дееспособных мужчин, оказывалась экономически приговоренной, поскольку нуждалась в найме подмены, которую зачастую оплачивала деньгами, вырученными от продажи детей и земли. Обогатившись благодаря щедрым субсидиям от Сун, некогда агрессивная династия Ляо в своем старческом маразме уходила во все более пассивную оборону. И хоть эта консервативная политика вполне подходила двору, но в то же время порождала недовольство среди пограничных гарнизонов, поскольку армия кочевников фактически лишалась возможности получать добычу и барыш.

Истинная слабость стен Ляо стала полностью очевидна, когда империю завоевало одно из ее племен-вассалов, чжурчжэни — очередной маньчжурский народ с северных границ империи Ляо. Возмущенный тем, как его народ обманывают и избивают пограничные чиновники, чжурчжэньский вождь по имени Агуда в 1112 году на пиру, устроенном для того, чтобы вассальные племена присягнули Ляо, решительно отказался плясать по пьяному требованию императора Ляо. Отказ не был вызван простой неучтивостью, как могло показаться: в северо-восточном племенном этикете танец традиционно символизировал подчинение. Разгневанный император Ляо хотел казнить непокорного вассала, но в конечном счете его разубедил более сдержанный, однако, как потом оказалось, неосмотрительный канцлер.

Искусные конные воины, закаленные жизнью охотников и скитаниями по лесам северной Маньчжурии, чжурчжэни разгромили семисоттысячную армию Ляо, захватили большую часть Маньчжурии и основали собственную династию, Цзинь. Все это произошло всего за три года после того, как Агуда бросил вызов императору. К 1126 году Цзинь и Ляо полностью поменялись своим географическим и политическим положением: чжурчжэни завладели государством Ляо, а Ляо бежали на север, на прежние земли чжурчжэней. Ошибочно рассчитывая использовать чжурчжэней для ослабления Ляо, Сун помогла в организации набега. Но когда Ляо свергли, Агуда немедленно потребовал от Сун почти вдвое больших ежегодных выплат, чем она выплачивала Ляо: двести тысяч унций серебра и триста тысяч рулонов шелка. Не удовлетворившись и этим, Цзинь в 1125 году прогнала династию Сун из ее столицы Кайфэна, находящейся на территории сегодняшней провинции Хэнань, еще дальше на юг и захватила в плен отрешенного от престола сунского императора и его сына, которых с удовольствием стали называть Маркизом Пропитой Добродетели и Дважды Пропитым соответственно. Уйдя в новую, южную столицу в Ханчжоу, находившуюся неподалеку от восточного побережья, династия Сун спаслась от полного уничтожения главным образом благодаря заболоченности южнокитайских рисовых полей, где страшная кавалерия Цзинь могла лишь беспомощно хлюпать.

Но, придя к власти, Цзинь тоже принялась решительно переосмысливать себя как китайскую династию, сохраняя странную смесь кочевых и китайских обычаев (в конце концов, в своей новой большой империи чжурчжэни по отношению к китайцам были в меньшинстве в пропорции примерно один к десяти). Например, четвертый император Цзинь сохранил традицию кровавой вражды в стиле кочевников: его решение казнить всех уцелевших мужчин из семей Ляо и Сун, оставшихся на территории Цзинь, а также обычай пе-

реводить жен и наложниц убитых соперников в свой гарем вписали его в историю китайской порнографии как кровожадного распутника. В то же время он являлся большим почитателем китайской культуры, горячим поклонником китайской классической литературы, его приверженность к шахматам и чаю завоевала ему среди чжурчжэней кличку Болахань — Подражающий Китайцам.

Династия Цзинь вскоре приступила к строительству собственных стен на севере своего царства, намного дальше линии Великой стены, позднее выполненной в камне династией Мин: в Маньчжурии и Монголии в 1166, 1181, 1188, 1193, 1196 и 1201 годах, единовременно мобилизуя для этих целей до семисот пятидесяти тысяч человек. Цзиньские стены представляли собой технически усовершенствованные сооружения прошлого и включали, на большинстве участков, внешний ров, внешнюю стену, внутренний ров и главную стену. Внутренний ров мог достигать в ширину от десяти до шестидесяти метров. На цзиньских стенах также использовались сигнальные башни, на которых поднимали тревогу при помощи костров по ночам и дыма в дневное время, полукруглые платформы, пристроенные снаружи стен, откуда можно было атаковать налетчиков, бойницы и брустверы на самих стенах, оберегавшие защитников. Вместо того чтобы строить стену в одну линию — если бы она пала, то могла бы поставить под угрозу всю империю, — Цзинь возводила целую сеть оборонительных сооружений. Внешняя стена тянулась примерно на семьсот километров от Хэйлуңцзяна в северной Маньчжурии на запад, в глубь Монголии. Внутренние стены располагались в тысячу километров к северу и северо-востоку от Пекина, составляя широкую эллиптическую сеть укреплений, тянувшихся примерно на тысячу четыреста километров вдоль ее самой длинной диагонали и на четыреста сорок километров вдоль кратчайшей.

О гнетущей удаленности отдельных укреплений от собственно китайской территории — далеко на севере от линии,

по которой сегодня проходит Великая стена, расположенная в паре часов езды от Пекина, — рассказывается в путевых записках ученика даосского мудреца, который со своим учителем отправился из северного Китая в 1222 году на встречу с Чингисханом в Афганистан. Через семь дней после того, как они выехали в северном направлении из Дэси-на, городка, лежащего примерно в ста шестидесяти километрах к северо-западу от Пекина, их группа достигла «Гайлибо, где почва состояла из одних небольших соляных кристаллов».

«Здесь мы наткнулись на первые признаки людей — поселение примерно из двадцати домов, стоявших к северу от соляного озера, которое простирается на значительное расстояние в северо-восточном направлении. Начиная с этого места, рек больше нет, однако много колодцев, выкопанных в песке, откуда добывается нужное количество воды. Можно также путешествовать на несколько тысяч ли на север, не встретив ни одной высокой горы. Через пять дней езды на лошадях мы пересекли линию укреплений Цзинь... Через шесть или семь дней мы неожиданно вышли в великую песчаную пустыню».

Лежащая на высоте тысяча восемьсот метров над уровнем моря, это одна из самых пустынных и негостеприимных исторических границ на севере Китая. В наши дни фактически единственным рукотворным укрытием, которое здесь можно увидеть, являются монгольские юрты или земляные крыши пастушьих стоянок, частично вросших среди зимних снегов в почву пустыни. Их входы снабжены одностворчатыми, запертыми на висячие замки деревянными дверями, навешенными на стены, которые поднимаются из земли словно квадратные глаза с тяжелыми веками. Если в некоторых местах стена остается вполне реальным объектом — примерно два метра высотой и широкая поверху, — то в других она практически исчезла, взбухая выпуклой веной под ковром щеб-



ня и заставляя каменистую пустыню нежно пересыпаться через себя. Сравнившись с землей укрепления значительно легче обнаруживаются зимой, когда ветер наносит снег к одной, чуть выступающей, стороне, помечая малейший подъем стены. И по названию, и по сути цзиньские укрепления мало похожи на то, что теперь называют чанчэн, или Великая стена: в самом деле, источники того времени старательно избегают этого циньского термина, отдавая вместо него предпочтение таким словам, как «пограничная крепость», «барьер», «вал» или просто «стена».

Сам вопрос стеностроительства провоцировал споры: в процесс обсуждения включились большое число чиновников, причем некоторые из них демонстрировали насмешливое отношение к стенам. Когда из-за естественных или экономических причин — последствия засухи — строительство стен пришлось приостановить, один из военных чиновников выступил с мнением, что эта пауза должна стать постоянной: «То, что было начато, уже сроднено песчаными бурями с землей, и сгонять людей на оборонительные работы означает просто истощать их». Однако тогда перевесили экономические расчеты главного министра: «Хоть начальные издержки на стену составят один миллион связок монет, когда работы будут завершены, границе для обороны потребуется всего половина нынешнего количества солдат, а это означает, что ежегодно будет экономиться три миллиона связок монет... Выгоды будут устойчивыми». Император быстро согласился, возможно, мысленно уже направив сэкономленные три миллиона в альтернативные проекты.

В то время как по выбеленным песками горам и равнинам севера в течение десятилетий строились тысячи километров стены, императору Цзинь и его чиновникам так и не пришлось на ум озаботиться строительством укреплений на юге, против Сун. Наоборот, для Цзинь юг представлял собой мальчика для битья, которого можно оскорблять, за-

хватывать и грабить, если в том возникнет потребность. В новом договоре 1141—1142 годов устанавливались еще большие выплаты для Цзинь, которая с тех пор относилась к Сун как вассальному государству. Такая подвижка во взаимоотношениях была беспрецедентной в китайской династической истории: хотя данническая система часто работала в ущерб китайцам, они по крайней мере ощущали свое моральное превосходство. Ведь основное значение даннических отношений заключалось в том, что варвары, совершая перед китайцами коутоу, признавали свое более низкое положение; и только на втором плане выступало то, что северные варвары неизменно получали деньги и подарки, на большие суммы, чем их собственная дань Китаю. В договоре 1141—1142 годов китайцы лишились даже этой возможности «сохранять лицо»: произошла смена традиционных ролей в даннической системе, и Сун было поименовано как «ничтожное государство», существующее из милости Цзинь, а Цзинь прописано как «верховное государство»; кроме того, ежегодные выплаты Сун называли «данью». Неудивительно, что в сунских источниках попытались вычеркнуть столь унижительный эпизод из истории, ухитрившись потерять свою копию текста. К счастью для грядущих поколений, цзиньские чиновники не были столь беспечны и включили материал в свои династийные хроники. Уже в 1206 году, хотя Цзинь и заметно уменьшилась из-за природных катаклизмов — в 1194 году Желтая река резко изменила русло, в результате чего в центральном и восточном Китае произошли разрушительные наводнения, а районы Шаньдуна подверглись засухе и нашествию саранчи, — наступление Сун без труда завершилось мирным договором.

Совсем по-другому смотрелась ситуация на северной границе Цзинь, где правящая династия с тревогой оглядывалась на собственное прошлое, на неопределенное, кочевое состояние племен, которым нечего было терять, но которым многого можно было добиться в ходе непрерывных

войн. Однако, к счастью для династии Цзинь, на протяжении большей части двенадцатого столетия территории, сегодня известные как Монголия, существовали в хаосе племенного соперничества. Цзинь удавалось с достаточной легкостью контролировать их при помощи комбинации военных кампаний, укреплений и дипломатических мер. До тринадцатого столетия монголы, народ, поселившийся на реке Онон в северо-восточной Монголии примерно в 800 году, были одной из многих кочевых групп — найманов, керейтов, татар, — населявших северные степи. Они занимались скотоводством или охотой и жили в юртах из войлока на равнинах или из бересты в лесах. Если земли по Онону в 800 году выглядели как сегодня, то монголы нашли там вполне подходящие для жизни условия: щедро орошаемую, покрытую сочными травами и редкими деревьями равнину с хорошей охотой на оленей в гористых районах дальше к северу.

Впервые Цзинь приступила к укреплению своих северных границ со степью примерно в 1140 году, когда монгольского кагана Кабула, прадеда Чингисхана, пригласили в Цзиньскую столицу Чжунду (сегодняшний Пекин), где его роскошно принимали, имея в виду заключить с ним своего рода союз. Расслабленный дорогой дипломатической выпивкой — кислым кобыльим молоком, Кабул в самый разгар церемонии наклонился к цзиньскому императору и дернул того за бороду. Каковы бы ни были намерения Кабула, их крайне негативно восприняли разгневанные чиновники императора, находившиеся в процессе осознания себя приверженными этикету конфуцианскими китайцами и, соответственно, отказавшиеся заключать какое-либо соглашение с бесцеремонным каганом. Они позволили ему беспрепятственно уехать, но вскоре выслали войска для засады. Хоть Кабулу и удалось укрыться в своей степной ставке, с того момента отношения между двумя государствами испортились навсегда. Вскоре после этого Цзинь перенесла свою месть на племянника и наследника Кабула, Амбакая, который, будучи за-

хвачен татарами, племенем, расположенным между Цзинь и монголами, был выдан Цзинь и впоследствии казнен особо жестоким способом: распят на хитроумном приспособлении, известном как «деревянный осел».

В течение следующих шестидесяти лет Цзинь успешно проводила политику «разделяй и властвуй», не позволяя ни одному из племен оставаться сильным достаточно долго, чтобы представлять слишком большую угрозу. После акта вероломства по отношению к их вождю монголы напали на татар. Когда татары отразили нападение монголов и стали в степи самой мощной силой, Цзинь возобновила союз с монголами против татар. Именно в связи с кампанией против татар Цзинь впервые вступила в контакт с Чингисханом, в то время одним из нескольких вождей, соперничавших за лидерство среди монголов, и предложила ему присоединиться к общим усилиям. Родившийся в 1162 году в семье главы клана по имени Есугей, молодой Чингис имел веские личные причины ненавидеть татар. Ведь это после еды, поданной неким татаринном, Есугей заболел и умер, оставив жену с шестью детьми. Сочтя сыновей Есугея слишком молодыми, чтобы занять место отца, клан бросил всю семью на произвол судьбы, и она выживала, собирая плоды, корни и ловя рыбу на берегах Онона. Худшее было еще впереди. Когда тринадцатилетний Чингис в детской ссоре из-за птицы и рыбы с одним из своих братьев убил его, враждебно настроенные члены клана схватили его и обратили в рабство. Сбежав от колодок и отряда преследователей, он вернулся к семье и последующие годы провел, собирая союзников и обзаводясь побратимами. Неудивительно, что Чингис ухватился за приглашение ударить по своим старым врагам, татарам, и лично в 1196 году захватил в плен татарского хана. Цзинь наградила своего нового вассала, Чингиса, даровав ему титул Смотритель Границы. Спустя двадцать лет стало ясно — она приняла крайне опрометчивое историческое решение.

В 1206 году, устранив всех соперников на лидерство среди монголов, Чингис созвал курултай, народное собрание, на Голубом озере в центральной Монголии, где голубизна небес и вод естественным образом сочеталась с яркой зеленью трав; здесь сосредоточились все условия, на которые мог рассчитывать человек в двенадцатом столетии: защита окружающих взгорий, вода, хорошие пастбища и стометровый холм, с которого военачальник мог обозревать свои войска. Он щедро награждал соратников титулами и подарками и провозгласил себя «объединителем людей войлочных юрт».

Степной режим Чингисхана сулил династии Цзинь неприятности по двум причинам. Во-первых, он создал новую модель монгольского общества, где власть больше не наследовалась — это неизбежно вело к разрушительному соперничеству между семьями и внутри семей, — а гарантировалась преданностью одному признанному всеми вождю (ему самому). Вместо того чтобы направлять значительные военные силы на уничтожение друг друга, к тому времени объединившиеся степные племена были готовы броситься пугающе сплоченной массой на государства, лежащие за пределами степи. Цзинь с этого времени была вынуждена рассматривать племена, в отношении которых она до недавних пор применяла формулу «разделяй и властвуй», как единую силу. Во-вторых, в новый союз монголов вошли более агрессивные к внешнему миру народы. Чингис понимал — воинственные степные племена утратили в лице друг друга объект грабежа и смогут удержаться под единым началом монголов только в том случае, если он обеспечит их хорошей добычей. Ему придется искать цели для набегов вдали от дома.

Исторический гипноз Чингисхановой империи ужаса был таков, что рациональное зерно разрушительных завоеваний порой скрывается за простым перечислением, куда он ходил, кого, что и как уничтожал: миллионы мусульман, убитые в Центральной Азии, побежденные русские князья,

медленно задавленные пиршественным столом победоносных монгольских военачальников, китайские города, полностью вырезанные, за исключением небольшого числа ремесленников и актеров (даже варварам, видимо, иногда требовалось развлечься). Географический диапазон его целей — Китай, Центральная Азия, Персия, Россия — не позволяет выявить общую причину его агрессивности, например такую, как особая расовая ненависть. Его стремление покорять, видимо, лучше всего поддается объяснению как склонность вождя скотоводов-кочевников к грабежу, доведенное до крайности: преданность его людей зависела от щедрых наград, более ценных, чем те, которыми могли стать степные травянистые равнины. Жестокость Чингиса к народам, оказавшимся на пути его военных походов — по преданию, в центральноазиатском оазисном городе Мерве за несколько дней были убиты миллион триста тысяч человек; на каждого монгольского воина пришлось по четыреста убитых, — указывает на заинтересованность в одномоментном удовлетворении потребности в грабеже и полное отсутствие стремления к территориальным приобретениям для себя. Любой завоеватель, намеренный извлекать долгосрочную выгоду из империи, заботится о том, чтобы оставались люди, необходимые для ее производства. Таким образом, завоевания монголов происходили почти случайно. Монголы под водительством Чингисхана изначально представляли собой не более чем феноменально успешную версию степных грабителей, тревоживших Китай и другие оседлые общества, начиная с первого тысячелетия до нашей эры. Разница заключалась в том, что монголы относились к набегам более серьезно, чем их предшественники, неся полное разорение районам, куда направляли своих коней. Разграбив до нитки какой-либо район, они не оставляли себе выбора, кроме как двигаться к следующему — отсюда постепенный захват Китая с 1213 по 1279 год.

Чингису не потребовалось много времени, чтобы разглядеть в качестве объекта для грабежа государство Цзинь, в свою очередь с большой выгодой на протяжении многих лет грабившее сунский Китай. Озабоченный, что удивительно, поисками морального предлога для вторжения, он начал с отслеживания нарушений со стороны Цзинь его военного кодекса чести (всю свою военную карьеру он настойчиво утверждал, будто нападал только в ответ на действия, расцениваемые им как оскорбление или измена клятве в верности). Его стремление воевать исторически объясняется распадом Цзинь его дяди, Амбакайя, а прямым поводом явилось решение Чингиса, что оставаться вассалом Цзинь оскорбительно для его достоинства. Когда посол от нового императора Цзинь, взшедшего на трон в 1208 году, прибыл в степную ставку Чингисхана за данью, призванной подтвердить вассальный статус Чингиса, тот заявил — новый император глупец. «Чего ради мне кланяться ему?» Плюнув в южном направлении — где находилась столица Цзинь, — он ускакал прочь. Следующие три года Чингис потратил на подготовку вторжения, а весной 1211 года повел сто тысяч воинов на юго-запад из Гоби на столицу Цзинь, Чжунду.

Цзинь не смогла должным образом отреагировать, показав как психологическую, так и военную слабость. Уже к 1210 году страх Цзинь перед монголами превзошел здравый смысл: запуганный рассказами о силе монголов, цзиньский двор «запретил простолюдинам распространять слухи о пограничных делах». Как осмысленные меры против всеобщей истерии, так и страусовая политика отрицания не могли сдерживать продвижение завоевателей. Перейдя разделительную линию между степью и Китаем к северо-западу от Пекина, монголы обошли оконечность цзиньских стен и нанесли страшное поражение намного превосходившей их по численности цзиньской армии, оставив за собой трупы чжурчжэньских солдат, словно «сложенные в поленицы гниющие

чурбаки», на протяжении более пятидесяти километров вдоль проходящей по долине границы. Десять лет спустя даосские паломники, проходя по старой пограничной территории по пути к ставке Чингисхана, видели кости, все еще разбросанные по всей местности. «К северу нет ничего, кроме унылых песков и пожухшей травы. Здесь Китай — с его обычаями и климатом — внезапно заканчивается... [Ученики] указывали на скелеты, лежавшие на поле брани, и говорили: «Давайте, если невредимыми вернемся домой, произнесем молитвы за упокой их душ...»

Когда монголы приближались к столице, оставив первую, внешнюю линию обороны Цзинь в нескольких днях верховой езды позади себя — группе даосских паломников, которые, несомненно, передвигались верхом медленнее, чем монгольская Орда, потребовалось десять дней, чтобы добраться до стены от поля брани на границе, — Цзинь попыталась усилить гарнизоны своих крепостей и запросила мира. Однако монгольские военачальники двигались слишком быстро, чтобы предпринимаемые меры оказались эффективными, и захватывали недоукомплектованные гарнизоны и обнесенные стенами города к северу от Пекина без особого труда. Между тем испуганные послы, которые должны были вести переговоры о мире, быстро переметнулись к противнику и раскрыли военные планы Цзинь.

Иногда выдвигаются предположения, будто государство Цзинь пало, так как длинные пограничные стены разрушились после столетий небрежения и к тому времени представляли собой тысячелетние сооружения, нуждавшиеся в тщательном обновлении. Однако до династии Тан практически каждая династия, управлявшая севером Китая, строила и населяла гарнизонами собственные стены, и в недавнее время Ляо и Цзинь делали то же самое. В цзиньских стенах и крепостях фактически не было упущений, за исключением двух фундаментальных с военной точки зрения недостатков статичной обороны. Во-первых, эффективность стен с точки



зрения обороны, как якобы любил говорить Чингисхан, зависит от храбрости тех, кто их защищает. Многие из цзиньских пограничных гарнизонов состояли не из чжурчжэней, а из ненадежных киданей (бывших солдат Ляо), чью верность вскоре поколебали удары монголов. Одна из крепостей к северо-востоку от Пекина, в Губэйкоу, пала без какого-либо сопротивления благодаря измене командующего из киданей. Во-вторых, стены и форты представляют собой мнимые рубежи: они сами могут быть неприступными, а бреши в обороне за их пределами остаются незащищенными. Слишком уж часто мощь укреплений рождала у Цзинь ложное чувство безопасности — когда китайцы отсиживались за стенами, а монголы деловито грабили никем не защищаемую местность вокруг. Лишь один укрепленный проход был взят штурмом во время движения Чингиса на Пекин — мощная крепость Цзюйюн, перекрывавшая проход между двумя горами к северу от столицы. Задержавшись здесь на короткое время, главный военачальник Чингиса, Джэбе, применил один из своих излюбленных тактических приемов: организовав ложное отступление, он выманил из крепости цзиньский гарнизон, бросившийся в преследование, устроил ему засаду, а затем ворвался в открытые ворота укрепления. Еще монголы имели в своем распоряжении богатый набор осадно-штурмовых приемов. Один из них заключался в следующем: они требовали отдать им в виде выкупа всех животных в городе или поселке. Когда успокоенные жители передавали требуемое, монголы привязывали к каждому животному горящую головешку и отпускали на свободу. Испуганные животные бежали назад к себе домой, сея огонь и панику по поселению и расстраивая любые попытки сопротивления атаке монголов. Другой, еще более жуткий способ заключался в использовании китайских пленных в качестве живого человеческого щита: их гнали по направлению к городу, подавляя решимость защитников стен.

В 1214 году, сочтя Пекин и сорок три километра его городских стен слишком хорошо укрепленными и не желая прибегать к длительной осаде, Чингис согласился отвести свои войска после получения от Цзинь огромной компенсации шелком, золотом, лошадьми, мальчиками и девочками. Ему также подарили одну из дочерей императора. Но в скором времени появился новый повод для возобновления боевых действий: бегство цзиньского двора и правительства на юг, в Кайфэн, бывшую северную столицу Сун. Чингис сильно разгневался: «Император Цзинь заключил со мной мирное соглашение, но теперь перенес свою столицу на юг; совершенно очевидно, он не верит моему слову и воспользовался миром, чтобы обмануть меня!» В 1215 году монголы возобновили военные действия и захватили Пекин, отдельные районы которого горели в течение месяца, вырезав его голодающее и измученное население. Судьба цзиньской столицы стала жутким предостережением для будущих правителей, рискнувших помыслить о сопротивлении Орде Чингиса. Когда год спустя посол одного из центральноазиатских государств — будущих жертв Чингисхана — приехал, чтобы самому узнать правду о страшном разорении Пекина, он отписал своему суверену: человеческие кости свалены в кучи по всему городу, земля повсюду пропитана сгнившей человеческой плотью и испражнениями, от разложившихся трупов распространение тифа приняло вид эпидемии.

К 1217 году, после быстрых последних ударов по Маньчжурии, прежней родине чжурчжэней, Чингисхан, бывший Смотритель Границы Цзинь, стал смотрителем всего Китая к северу от Желтой реки. Династия Цзинь оставалась в Кайфэне до 1234 года — так как монгольское вторжение растянулось на двадцать с лишним лет, в ходе которых завоеватели часто «отвлекались» на захват территорий, лежавших между Китаем и восточным побережьем Черного моря, — но ее окончательный крах был предрешен. В песне времен монгольских завоеваний подытоживается ощущение бесполезности цзиньской стены:

Стена была построена под крики боли и печали;  
Луна и Млечный Путь кажутся низкими по сравнению  
с ней.  
Но если бы все выбеленные кости погибших были  
сложены там,  
Они достигли бы той же высоты, что и стена.

Когда монголы завладели северным Китаем, падение юга стало неизбежным. Монголы, непобедимые в кавалерийских схватках, особенно теперь, когда взяли на севере под контроль торговлю лошадьми, от которой зависела Сун, следили, чтобы Сун продавали только слабых и низкорослых коней, порой не больше крупных собак. Где конница оказывалась неэффективной — на залитых водой рисовых полях юга, — монголы изменили тактику и приспособились к новой местности, создав флот. Они стали теснить Сун еще дальше, на самые границы южного Китая, до тех пор пока не был убит в морском сражении у Кантона в 1279 году последний малолетний император.

Ранние монгольские правители Китая — сыновья и внуки Чингисхана — настолько отрицательно относились к самой идее приспособленчества в любом виде к китайскому образу жизни и его размягчающему влиянию — погибли столь многих прежних некитайских династий, — что один из кочевников-экстремистов даже предлагал опустошить (вырезать) северный Китай и приспособить его под пастбища. К счастью, советник из киданей убедил хана, что деньги — а значит, и силу — можно получать, оставляя живым население, так как люди способны платить налоги. Хоть и не существовало геноцида китайцев, однако новый режим постарался сделать все, чтобы местное население оставалось вне сферы управления. При этом была задействована система разделения по этническому признаку — монголы, западные и центральные азиаты, северные и южные китайцы, — на основе которой производилось распределение официальных

должностей. Первые две категории — примерно два с половиной процента всего населения Китая — занимали большинство наиболее влиятельных постов.

Правда, хан Хубилай, внук Чингисхана и первый император-монгол всего Китая, допустил умеренную китаизацию, сделав заявление — спорное, по мнению старой племенной элиты, — что для управления Китаем нужно больше, чем боевые навыки монголов, и сумел при этом избежать строительства рубежных стен. Марко Поло, якобы проведший годы при дворе Хубилая, поражаясь размерам и величелию всего, от дворцов до груш, так и не упомянул в своих «Путешествиях» ни одного вида пограничных стен. Критики произведения Поло используют это упущение для доказательства того, что он никогда и не приближался к Китаю, а просто сплел вместе отрывочные рассказы, услышанные от персидских и арабских торговцев. И хоть многое в описаниях Поло может вызвать сомнения — его заявления, например, о том, что он присутствовал при некоей осаде, завершившейся за два года до того, как он предположительно добрался до Китая, что он был назначен губернатором южной столицы, Янчжоу (назначение, странным образом упущенное в отличающихся скрупулезностью записях китайских чиновников), — тем не менее имеется достаточно подтвержденных фактами наблюдений, касающихся в том числе бинтования ног и практики захоронения умерших: они, по крайней мере частично, звучали убедительно. Когда пришло время строить свою столицу, Даду, на месте современного Пекина, Хубилай оказался более податливым китайскому влиянию и построил собственный дворец, по информации Поло, за четырьмя стенами: квадратной городской стеной в девять с половиной километров, внешней дворцовой (обе побеленные и обустроенные бойницами), внутренней и, наконец, мраморной, составлявшей своего рода террасу вокруг собственно дворца. Внутри дворца Хубилай сделал легкий жест в сторону своего племенного

прошлого — задрапировал интерьеры занавесями из шкур горностая, — но в остальном отказался от традиционной монгольской простоты, диктуемой кочевым образом жизни его предков. Стены залов и покоев, указывал Марко Поло, были «сплошь покрыты золотом и серебром и украшены изображениями драконов, птиц, всадников, разных зверей и батальными сценами».

«Потолок украшен таким же образом, так что кроме золота и картин нигде ничего не увидишь. Зал настолько просторен и широк, что там вполне можно накрыть столы на более чем шесть тысяч человек. Количество покоев просто поразительно... Крыша, пылающая алым, зеленым, синим, желтым и всеми другими цветами, настолько удачно покрыта глазурью, что сверкает подобно хрусталию, а блеск ее можно увидеть издалека».

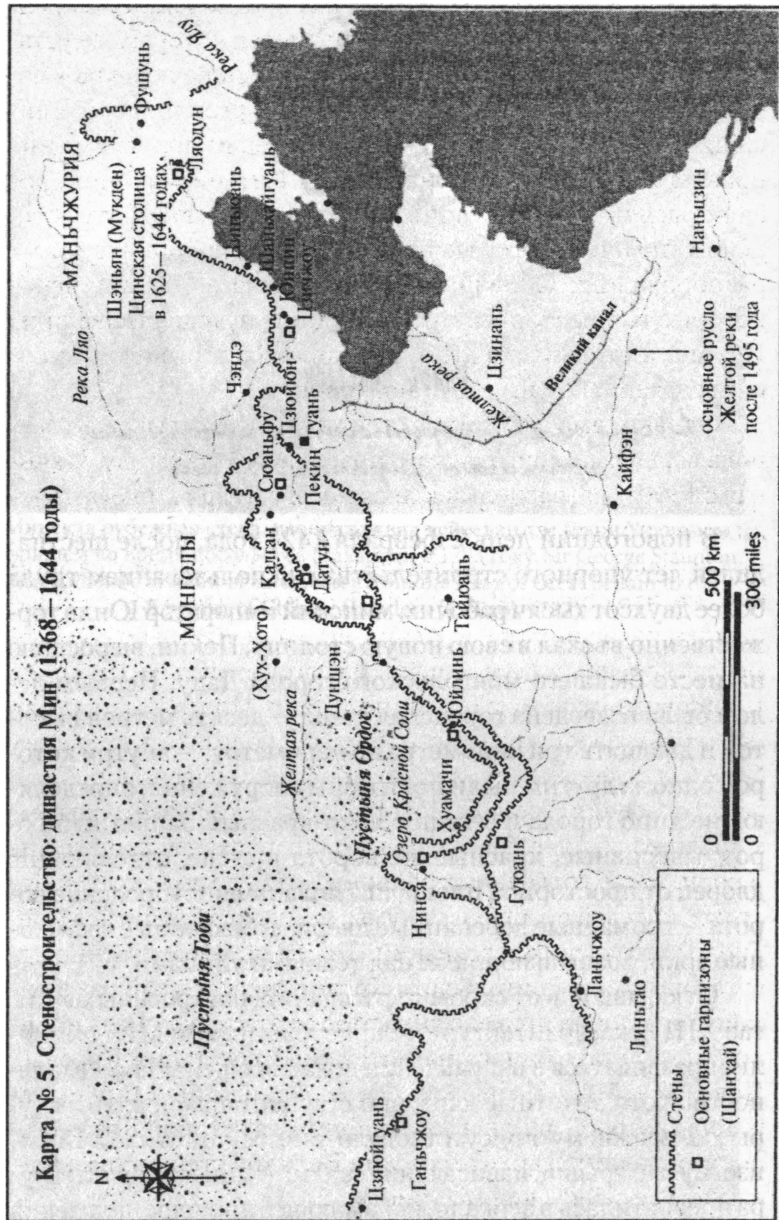
За стенами дворца город представлял собой не скопление временных юрт, а был «заполнен изящными особняками, гостиницами и жилыми домами... вся внутренняя часть города построена квадратами, подобно шахматной доске, с такой мастерской точностью, что никакое описание не отдаст ей должного».

Любопытно, что монголы — больше известные как поджигатели и насильники, чем эстеты, — оставили после себя одно из самых совершенных строений, которое сегодня составляет часть обнесенных стеной укреплений неподалеку от Пекина: Облачную Террасу (Юньтай) — белокаменную арку семи метров и тридцати сантиметров высотой, построенную в проходе Цзюйюн к северу от столицы. Покрытая буддийскими надписями на шести различных языках, резьбой, изображающей драгоценные камни, животных и драконов, эта арка является памятником космополитическому Рах Mongolia, выросшему из грязи и крови периода собирания монгольской империи. Это был открытый проход, передразнивающий своей тонкой, бесполезно церемониальной

красотой функциональный сбой, как предполагалось, крепкого оборонительного сооружения, перед которым ее установили. Монголы являлись сторонниками не перекрывающих доступ стен, а свободно текущей торговли и соединяющих разные части их огромной империи дорог: в конце правления Хубилая в монгольском Китае функционировали тысяча четыреста почтовых станций, чью работу обеспечивали пятьдесят тысяч лошадей, находившихся в их распоряжении. Облачная Терраса стала воротами, через которые императоры и простолюдины путешествовали из Пекина в степь и обратно, направляясь в разные уголки панъевразийской империи монголов.

Однако само отсутствие стен могло все же сыграть свою роль в падении монгольского правления в 1368 году. Начиная с 1300 года, расплзавшаяся по югу Китая нищета породила антиправительственные мятежи, частота и сила которых все нарастала. Историки медицины высказываются в том смысле, что обнищание китайцев связано частично с сокращением численности населения, вызванным или по крайней мере ускоренным перемещением торговых путей из пустынь Шелкового пути в травянистые степи Монголии, а также переносом на юг Китая возбудителей болезней в кишках блохами седельных сумок монгольских кочевников. Как в эпоху освоения Западом Нового Света туземные народы вымирали из-за появления европейских болезней вроде оспы и кори, так и в отдельных районах Китая до двух третей местных жителей погибали от чумы, распространившейся в период монгольских завоеваний. Таким образом, именно отсутствие стен в монгольском Китае единственный раз в китайской истории привело династию к катастрофе. Ведь именно в результате одного из мятежей — восстания Красных Повязок — Чжу Юаньчжан основал династию Мин, императоры которой явились величайшими в истории Китая стеностроителями и архитекторами Великой стены в том виде, в каком ее сейчас видят туристы.

Карта № 5. Стеностроительство: династия Мин (1368—1644 годы)





## Глава восьмая

### *История Открытости и Изоляции: граница при ранней Мин*

В новогодний день 2 февраля 1421 года, после шестнадцати лет упорного строительства с использованием труда более двухсот тысяч рабочих, минский император Юнлэ торжественно въехал в свою новую столицу, Пекин, выросшую на месте бывшего монгольского города Даду. Первым делом была возведена городская стена — десять метров высотой и двадцать три километра по периметру, — внутри которой одно за другим были построены сооружения, определяющие лицо города и сегодня: ярко-красный Запретный Город; массивные, красные же ворота в стене, отделяющие дворец от просторной площади Тяньаньмэнь; городские ворота — громадные деревянные двери, помещенные в каменные арки, возвышающиеся над тесными улицами.

Отказавшись от скромности зданий, построенных в Китае XIII века, архитектурные пристрастия при Мин принялись развиваться в направлении подавляющей монументальности. Хотя визитные карточки старокитайской архитектуры по-прежнему присутствовали в высоком стиле Мин — изогнутые крыши, нависающие скаты, — минская архитектура превратилась в зеркало, искажающее прошлое, подменив





Минская рубежная стена, изображённая лейтенантом Генри Уильямом Пэришем во время посольства Макартни в 1793 году. Sir George Staunton, *An authentic account of an embassy from the King of Great Britain to the Emperor of China...* (London: G. Nicol, 1797).



Стена, построенная государством Чжао во Внутренней Монголии, прим. 300 г. до н.э. Daniel Schwartz/Lookatonline.



Пастух и его стадо в Монгольской степи.  
Roy Chapman Andrews, Across Mongolian Plains  
(London: D. Appleton&Co., 1921).



Китайский рисунок  
(Мин) варваров сюнну.  
Wang Qi, San cai tu hui.



Ши-хуанди, первый император и  
строитель первой Длинной стены  
в северном Китае.  
Wang Qi, San cai tu hui.



Трамбовочные работы при  
строительстве китайских стен.  
Guo Po, Er ya yin tu (1801).

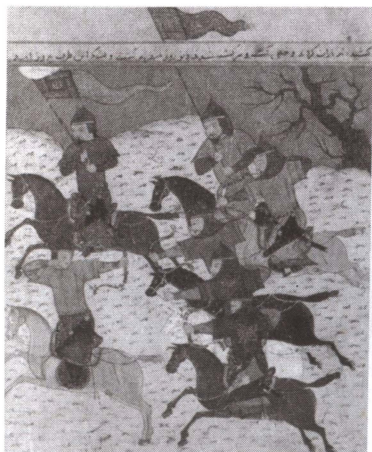


Участок стены эпохи Хань. М. Aurel Stein, Ruins of desert Cathey,  
Vol. II (London: Macmillan, 1912).

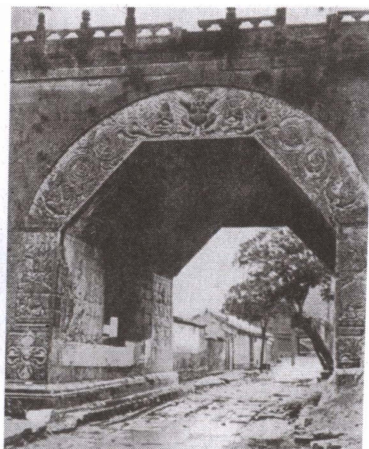




Цзиньская стена в Монголии.  
Daniel Schwartz/Lookatonline.



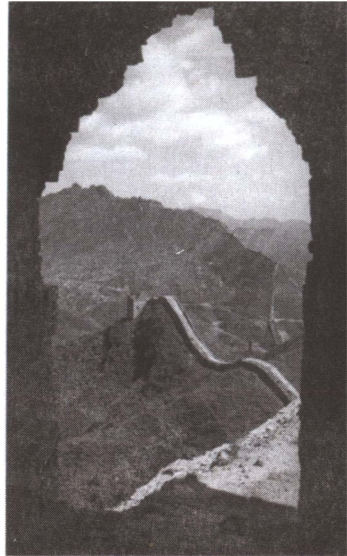
Монгольские воины во время  
учений. Из персидского  
манускрипта XIV века.  
Jami al-Tawarikh by Rashid ad-Din.



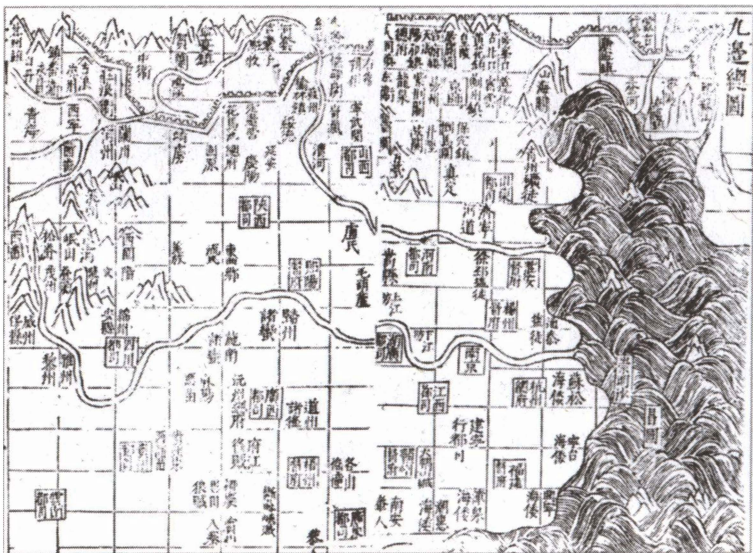
Облачная Терраса. William Edgar  
Geil, The Great Wall of China  
(New York: Sturgis & Walton  
Company, 1909).



Минский рисунок печи для обжига  
и коромысла.  
Wang Qi, San cai tu hui.



Частично восстановленная  
минская стена в Цзиньшаньлине  
неподалеку от Пекина.



Минская карта пограничных гарнизонов.  
Wang Qi, San cai tu hui.

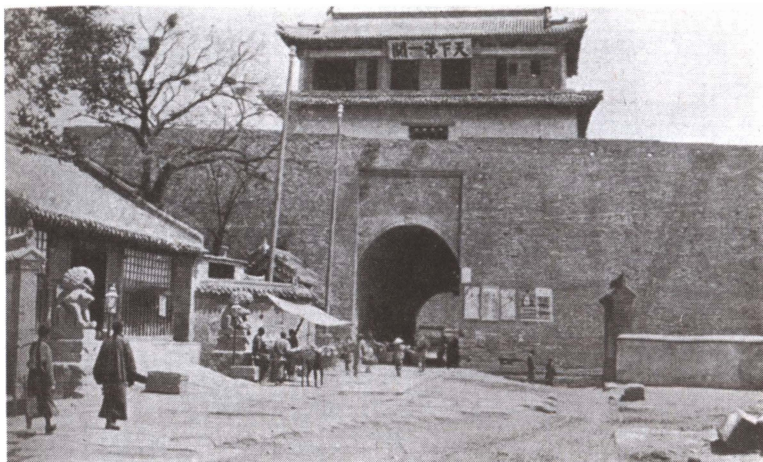




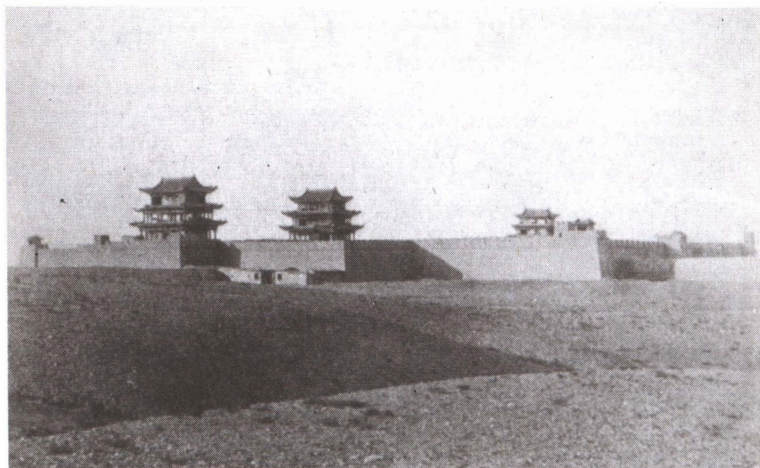
Стена на земле Ордоса, северо-западный Китай.  
William Edgar Geil, The Great Wall of China.



Участок минской стены, проходящий через деревню  
в северо-восточном Китае. John Hedley, Tramps in dark Mongolia  
(London: T. Fisher Unwin Ltd., 1910).

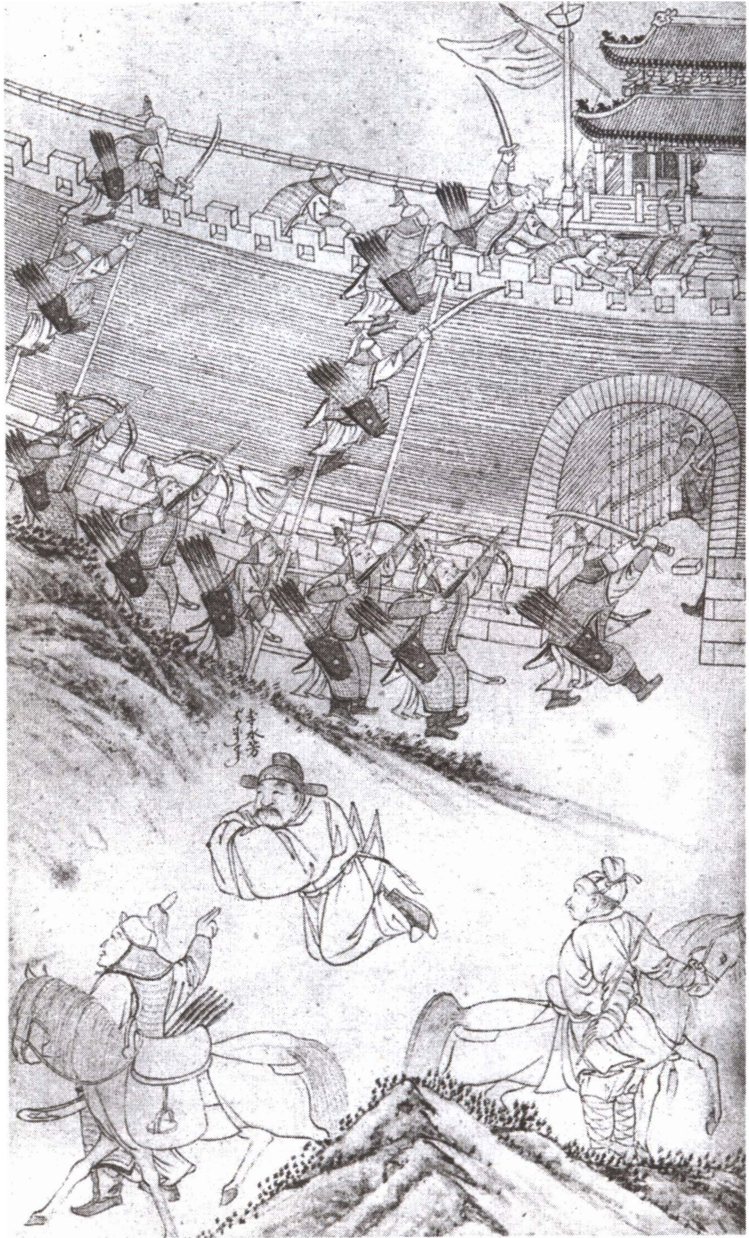


Первый проход в Поднебесной в Шанхайгуане.  
William Edgar Geil, The Great Wall of China.



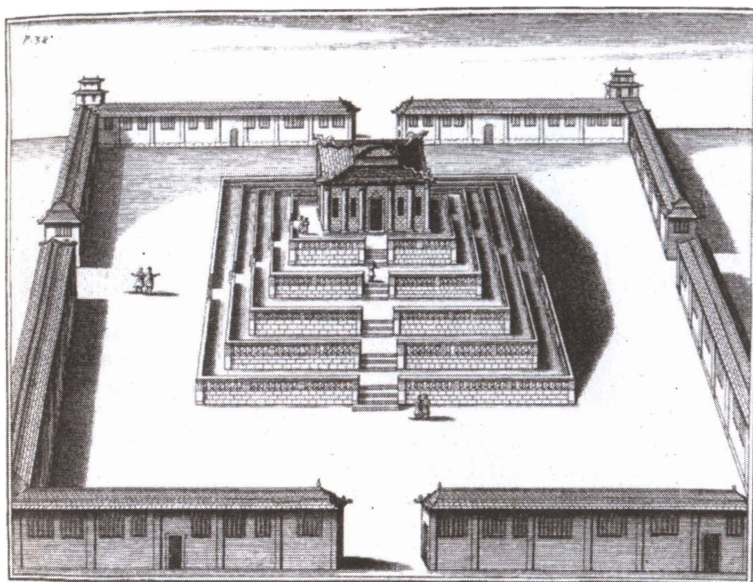
Цзяюйгуань, северо-запад Китая.  
M. Aurel Stein, Ruins of desert Cathey, Vol. II.





Ли Юнфан капитулирует. Manzhou shilu, Vol. I (Liaoning: 1930).





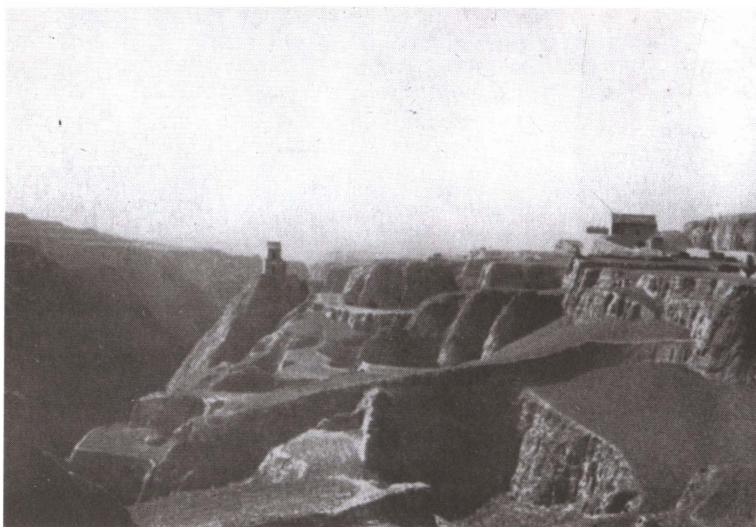
Изображение трона китайского императора. Louis D. Le Comte, *Memoirs and Observations...* (London: Benj. Took, 1697).



Аудиенция лорда Макартни у китайского императора, запечатленная Пэришем. Staunton, *An authentic account of an embassy from the King of Great Britain to the Emperor of China...*



Немецкая карикатура XIX века, изображающая, как армии Запада собираются, чтобы штурмовать китайского гиганта. Collection Claude Estier, *Histoire de la Chine en 1000 Images* (Paris: Cercle Européen du Livre, 1966).



Лессовые горы в северо-западном Китае. Harry Franck, *Wandering in China* (London: T. Fisher Unwin Ltd., 1924).

Китайские солдаты  
передвигаются  
по Великой стене,  
начало 1937 г.



Ричард Никсон на восстановленной Великой стене,  
Бадалин, февраль 1972 г.





Минская стена неподалеку от Пекина реставрируется коммунистическими властями. Daniel Schwartz/Lookatonline.

прежнее стремление китайских строителей к гармонии пропорций поклонением перед растянутыми масштабами: в жертву протяженности стен и преувеличенно глубоко посаженным крышам была принесена их высота. В Запретном Городе результаты превзошли все ожидания: огромные, тяжелые, покрытые черепицей крыши напоздали, словно выбранные не по размеру головные уборы, на укороченные в высоту стены, казалось, жалобно стонавшие под гнетом собственного чванства. В дополнение ко всему яркая имперская цветовая гамма — большие площади белого мрамора, желто-золотая черепица крыш, темно-красные стены, синяя, зеленая и золотая мозаика — крикливо подчеркивает характер всего ансамбля. В притягательности Запретного Города нет никакой тонкости: он впечатляет масштабом имперского самомнения, чередой громадных белокаменных дворов, следующих один за другим, приподнятых над землей аудиенцзалов, мраморными мостами и лестницами; все построено жестко симметрично в прямоугольнике, длинная сторона которого составляет километр сто метров. Его пропорции заставляют посетителей чувствовать себя гномами, понуждая двигаться по комплексу медленно, уступая гнетущему имперскому видению времени и пространства. В сущности, совершенно некрасивый Запретный Город поражает главным образом своей авторитарной помпезностью, эстетикой убийственной высокопарности.

Архитектурные проекты Юнлэ соперничали и, возможно, превзошли соответствующие замыслы его предшественника, Ши-хуанди, в стремлении пропитать воплощение абсолютного имперского правления недоступным величием и святостью, нарочито направленными на то, чтобы вызвать робость как у китайцев, так и у иностранцев. Обширные общественные площадки, церемониальные залы и лабиринты жилых помещений и административных учреждений, которыми заполнен Запретный Город, угнездились внутри трех концентрических наборов стен: его собственных, стен боль-

шого императорского города (который включал в себя имперские министерства, зернохранилища, мануфактуры) и собственно стен основного города. К югу от города располагались храмы Неба и Земли, комплекс храмов и алтарей, построенных государством среди парковых территорий, по площади почти столь же обширных, как земли, отведенные под Запретный Город. Каждый штрих архитектуры новой столицы, таким образом, нес на себе жесткую, автократическую символику. Расположение Запретного Города в центре тройного набора отгораживающих стен, ориентированных по частям света, наталкивало посетителя на единственный неумолимый вывод: китайский император, Сын Неба, сидящий на троне, окруженный, заточенный в центре своей столицы — вселенная в гармоничном микрокосме, — и физически, и духовно воплощает собой космический центр мира.

Выбор Пекина, расположенного намного ближе к Монголии, чем старая южная столица Наньцзин, в качестве имперского центра отражал ясный посыл относительно молодой минской империи. После четырехсот пятидесяти лет иностранной оккупации Китая вплоть до основания династии Мин в 1368 года решение Юнлэ перевести столицу в Пекин, так близко к степи, стало результатом новой и полной уверенности в способностях династии поддерживать безопасность своей империи, а границу содержать в мирной покорности.

Юнлэ хотел сделать свидетелями церемоний в день нового года как можно больше людей. В 1421 году в Пекине собрались тысячи послов из Азии и с берегов Индийского океана. Все они должны были совершать обряд коутоу перед китайским Сыном Неба. Знаки почтения со стороны этих сановников явились плодом двух десятилетий тщательно спланированной дипломатии императора. К 1421 году он провел две из своих пяти кампаний против монголов и добился дипломатического нейтралитета племен, населявших

дальний запад. С 1405 года, используя технику мореплавания, намного превосходящую все имевшееся в то время на Западе, Юнлэ отправил с восточного побережья Китая на Яву, Цейлон и даже к самой восточной Африке шесть отдельных флотов крупных плоскодонных судов — каждое более шестидесяти метров длиной, это в несколько раз больше Колумбовой «Санта-Марии» — с заданием провести исследования и установить дипломатические отношения. Назад они привозили экзотические товары, животных и толпы дипломатических представителей из дальних царств, стремившихся установить даннические, а значит, и торговые отношения с минским Китаем. Китайские суда называли «кораблями-сокровищницами». Перед отплытием их грузили сокровищами, символизировавшими китайскую цивилизацию: фарфором, шелком и яшмой, — предназначенными для того, чтобы поразить правителей и жителей десятков стран, которые, по словам адмирала-евнуха Чжэн Хэ, он посетил. Почти за столетие до того, как Колумб отправился в Америку, Китай изобрел собственную форму не признающего границ морского империализма. Его экспансионизм был полярно противоположен отгораживавшему от мира стеностроительству, которому отдавали предпочтение многочисленные предшественники Юнлэ.

Примерно двести лет спустя минский Китай представлял собой совершенно другую картину. Реальная политика открытого экспансионизма, проводившаяся Юнлэ, была отброшена императорами-домоседами, склонными ко все более частым приступам острого политического изоляционизма. Запретный Город более не являлся космополитичным центром притяжения иностранной экзотики — он превратился в раскрашенную яркими цветами тюрьму для своих имперских обитателей, а Пекин стал городом, подвергавшимся осаде восхищенных послов с данью не менее часто, чем алчными монгольскими грабителями. К семнадцатому

столетию династия Мин полностью замкнулась в себе, пытаясь запретить на замок границы вокруг Китая: по своему открытому побережью — путем запрета на торговлю с иностранцами; на северной границе — при помощи самой солидной, дорогостоящей и детально продуманной системы обнесенных стенами пограничных укреплений, когда-либо создававшейся китайскими династиями. Некоторые их части выстроили из кирпича и цемента и снабдили большим количеством башен и бойниц — такой сегодня Великая стена известна миллионам посетителей. Но даже когда в 1644 году отдельные участки стены еще находились в процессе строительства и реконструкции, иностранные захватчики с северо-востока прорывались через нее, надеясь покорить империю, которую стена должна была защитить.

Для тех, кто готов их увидеть, семена разгрома минского Китая были посеяны уже в самих величественных планах Юнлэ. В своем Запретном Городе за тремя стенами Юнлэ создал символ жестко очерченного церемониала правления династии Мин, гроб, в котором она позднее задохнется. И несмотря на их очевидный космополитизм, морские предприятия Юнлэ являли собой как прагматическую, деятельную инициативу, так и эгоистические начала императорского Китая. Главной целью этих экспедиций, похоже, была продуманная международная охота за коутоу: убедить как можно больше иностранцев признать культурное превосходство Китая, подтвердить и затвердить положение Китая как центра мира, окруженного вассалами-данниками. Когда деньги на такие экспедиции иссякли, китайские императоры просто еще сильнее ушли в свое китаеццентристское мировоззрение, еще больше отгородились стенами — фигурально и физически, — своих представлений о главенствующей роли Китая.

Тем не менее в ранний период правления династии Мин мало что из этого лежало на поверхности — например, пограничной стены не существовало; не было даже мыслей о



ней. 7 сентября 1368 года, начала правления династии Мин, тогдашние представители монгольской династии Юань, поспешно оставив Даду, бежали через белокаменную арку Облачной Террасы в направлении «роскошного курорта», своей летней столицы Шанду (или, в транслитерации Колриджа, Занаду), расположенной в южных степях современной Внутренней Монголии. Монгольские императоры ежегодно перемещались между своими столицами, совершая двадцатитрехдневное путешествие поздней весной и рассчитывая спрятаться от удушливой жары пекинского лета в прохладных горах и лесах в окрестностях Шанду с его мраморным дворцом, обширными охотничьими угодьями и пастбищами со специально выведенными белыми кобылами и коровами, которые давали молоко только для ханов и их семей.

На сей раз, однако, их отъезд стал поспешным и вынужденно лишенным всяких церемоний, так как монгольская царская семья спасалась не просто от жаркого, сухого пекинского лета, худшая часть которого в любом случае была уже позади. В день их отъезда Сюй Да, один из генералов первого императора Мин, разгромил защищавшую столицу армию к востоку от Даду. Неделей позже минские войска преодолели городские стены и захватили город. В качестве финального, подчеркнувшего победу жеста Мин переименовала выбранное монголами название города Даду (буквально — Великая Столица) на Бэйпин (Север Умиротворен), переместив собственную столицу на юг, в Наньцин (Южная Столица).

Чжу Юаньчжан, в 1368 году провозгласивший себя первым императором династии Мин, Хуньу (буквально — Подавляющая Военная Сила), был человеком, которого заставило действовать отчаяние. Родившись в очень бедной крестьянской семье, он медленно продвигался с самых низов китайского общества наверх, каким-то образом пережив чуму, голод, нападения разбойников и пиратов, а также меж-

доусобную войну, унесшие за последние полтора столетия миллионы его земляков. Когда Чжу исполнилось шестнадцать, почти все его родные один за другим в течение каких-то трех недель умерли от голода и болезней. После того как последний приют оставшегося в одиночестве, осиротевшего Чжу — буддийский храм, где он стал нищенствующим монахом, — был разрушен монгольскими солдатами, Чжу Юаньчжан подался в мятежную крестьянскую секту под названием «Красные повязки», исповедовавшую утопический культ, который призывал страждущих крестьян восставать против монгольских властей в ожидании, как считали, близившегося прихода на землю Майтреи, Будды богатства и Царя Света. Этот культ распространился по большей части центрального и южного Китая, обзаведясь региональными центрами силы и вождями, среди которых Чжу Юаньчжан возвысился после ряда впечатляющих побед над соперниками, включая морское сражение 1363 года, во время которого его партизанские отряды уничтожили в юго-восточном Китае — вероятно, при помощи взрывчатых веществ — триста тысяч вражеских солдат.

В 1368 году, невзирая на свою усталость, Хуньу почти сразу послал — прямо вслед за убегающими представителями династии Юань — Сюй Да на север от Пекина укреплять пограничные проходы. Его главной целью стал Цзюйюнгунань — первый проход к северу от города, именно тот проход, который серьезно задержал монголов во время их похода на столицу сто пятьдесят лет назад, проход, который монгольская династия лишила оборонительной ценности, установив в нем открытую декоративную Облачную Террасу. Со времен Враждующих Царств проход Цзюйюн классифицировался как одна из «ключевых крепостей в Поднебесной». Это долина длиной пятнадцать километров всего в шестидесяти километрах от Пекина, раскинувшаяся среди зеленых гор, самой высокой и самой близкой из которых являлась гора Бадалин, блокировавшая ее восточную оконеч-

ность. По сведениям одного из источников, построенное Сюй Да укрепление «оседдало две горы, протянулось по территории в тринадцать ли и в высоту составило сорок два фута». В других документах о Сюй Да говорится: он «построил из камней крепость, где три года спустя разместился гарнизон в тысячу человек». Китайцы, Хунъю показал это совершенно ясно, вернули себе первенство, накрепко запершись от степного волка.

Минские императоры никогда не забывали унижений, связанных с монгольской оккупацией. Память о монгольских завоеваниях преследовала их, превратив вопрос безопасности с севера в навязчивую идею, которая в конечном итоге привела к параличу и банкротству династии. Враждебность Мин к иностранцам была всеобщей по размаху, но не по уровню угроз. Японцы, корейцы и аннамиты, насмешливо говорил Хунъю, «не более чем москиты и скорпионы», но северные варвары представляют собой постоянную и страшную «опасность для нашего сердца и живота».

«С древних времен правители руководили империей. Всегда было делом Китая занимать внутренние земли и управлять варварами, и варвары находились за границей и подчинялись Китаю. Не бывало такого, чтобы варвары занимали Китай и управляли империей. Во времена заката звезды династии Сун северные варвары, придя и поселившись в Китае, создали династию Юань. Что касается нашего китайского народа, должно быть, Небо повелело, чтобы мы, китайцы, усмирили их. Как могли варвары управлять китайцами? Боюсь, срединные земли давно провоняли бараниной, а люди находятся в смущении. Поэтому я повел армии дальше, чтобы навести чистоту. Моя цель — изгнать монгольских рабов, покончить с анархией и убедить людей, что им нечего опасаться, очистить Китай от позора».

Однако несмотря на ненависть минского Китая к «северным варварам» и сильное чувство стыда из-за уступки

господства иноземцам, монгольская кровожадность навсегда изменила китайскую политическую культуру, сорвав мягкую плоть церемоний с китайского абсолютизма и обнажив его жесткий, деспотический костяк. Монгольское завоевание привило китайскому обществу новую для него практику крайнего насилия, приучило жителей к невиданному до тех пор уровню жестокости. Будучи патологически подозрительным в вопросе наличия вокруг него заговоров, Хуньу с 1380 года и до конца своего правления провел серию чисток, начавшуюся с его канцлера Ху Вэйюна, заподозренного в сговоре с монголами, и закончившуюся казнями или насильственным самоубийством многих из его лучших военачальников. К моменту завершения чисток — в их ходе даже его зять, обвиненный в нелегальной продаже чая, был принужден убить себя — жизни лишились примерно сорок тысяч человек, и среди них многие наиболее способные чиновники. Вскоре после его воцарения образованные люди начали страшиться призыва на службу в имперское правительство. Те же несчастные, которые уже были загнаны на службу, на всякий случай прощались с семьями, если получали вызов на аудиенцию к императору, и обменивались с коллегами поздравлениями, если к ночи их головы оставались на плечах.

Опять же, как и монголы, ранние правители династии Мин очень мало интересовались масштабным укреплением границ, и до конца пятнадцатого столетия стеностроительство велось с небольшой интенсивностью. Хотя боязнь монголов все время преследовала династию, императоры раннего периода предпочитали не прятаться за стенами, а имитировали тактику противника, нанося глубокие удары по степи. Главная причина пренебрежения правителей ранней Мин строительством стен заключается в том, что они им просто не были нужны. Обладая хорошо организованной, закаленной в боях армией, Хуньу и его сын Юнлэ могли совершать походы в степь, держа монголов в узде. Импера-

торы ранней Мин, чтобы держать в страхе степные народы, полагались не на стены, а на менее осязаемое, но значительно более эффективное средство — «внушение трепета» перед военной мощью (вэй).

Главным вкладом Хунь в оборону границы стало укрепление двух линий опорных пунктов — внутренней и внешней, — расположенных на территории Монголии и в северном Китае и предназначенных не для закрепления фиксированной границы, а функционировавших как базы для проведения военных кампаний и оказания влияния на происходящее в степи. Самые верные подчиненные Чжу были посланы в пограничные районы для строительства опорных укреплений на линии между двумя конечными точками — Цзяюйгуань на западе (буквально, проход Приятной Долины) и Шаньхайгуань (проход Между Горой И Морем) на востоке. Обе точки имеют очевидные стратегические преимущества. Первая представляет собой поселение в песчаном оазисе, находящемся между двумя горными хребтами, ведущими в сторону оконечности Ганьсуского коридора, вторая — блокирует проход в Китай вдоль побережья со стороны Маньчжурии и Кореи. И все же это была не Великая стена: в конечном счете императоры Мин соединят отдельные стратегические опорные пункты и проходы вдоль внутренней линии северных укреплений петляющими участками — местами двойных и тройных — стен. Но это в будущем. В свое время внешняя линия укреплений — которая тянулась от восточной оконечности Ляодуна до вершины петли Желтой реки на расстояние от Пекина в своей самой северной точке примерно на двести пятьдесят километров, — олицетворяла суть политики Мин в отношении степи. Она располагалась слишком далеко от собственно китайской территории, чтобы иметь какое-либо чисто оборонительное значение. Эти укрепления формировали базу экспансионизма ранней династии Мин, являвшегося не чем иным, как политикой управления и степью, и Китаем в стиле монголов.

Начальники, которых Хунью посылал на границу наблюдать за строительством фортов, становились болезненно одержимы выполнением возложенных на них задач, стремясь не вызвать нареканий со стороны своего взыскательного правителя. Легенды повествуют о страхах генерала, посланного строить стену высотой шесть метров и длиной семьсот вокруг Цзяюйгуаня. Он старался уложиться во временной график и смету расходов, изначально представленные императору, и таким образом избежать ужасного наказания. Его триумф, когда он все успешно закончил, удостоверяется кирпичом — единственным кирпичом, оставшимся от строительных материалов, запрошенных им перед началом строительства. Легендарный кирпич уложен на одном из скатов форта.

Уверенный военный старт, данный династии Хунью, духовно продолжил его сын Юнлэ, лично водивший войска в глубь монгольской территории. Однако Юнлэ критическим образом подорвал оборонительные возможности династии Мин, выведя гарнизоны из семи из имевшихся восьми фортов, возведенных в степи его отцом, и оставил войска только в Кайпине, расположенном к северу от новой столицы, Пекина. Да и этот гарнизон был отведен через шесть лет после его смерти. Создание столь великолепной столицы в непосредственной близости к степи, затем отказ от военных объектов, необходимых для поддержания безопасного, динамичного присутствия в степи, сделали Пекин очевидной мишенью для монгольских грабителей и вынудили императоров поздней династии Мин вернуться к последнему средству, к опустошающей казну политике статичной обороны — стеностроительству.

Перенеся столицу в досягаемое для ударов монголов место, Юнлэ хоть и создал геополитическую основу, на которой позднее придется строить тысячи километров минских пограничных стен, к тому, что стена появилась в известном

сегодня виде, привели действия трех других деятелей. Это были бездарный молодой человек, ставший в 1436 году китайским императором, алчный евнух и амбициозный, обладавший харизмой монгол. Никто из них троих никогда в жизни не брал в руки лопату и не поднимал кирпича, но противоречия, возникшие между ними в 1449 году, исключили всякую возможность плодотворного дипломатического диалога между двумя сторонами, толкнув китайцев к упрямому изоляционизму, а монголов — к продолжению агрессивной линии.

В 1448 году к Пекину подошел двухтысячный отряд монголов. Цель их миссии, по всей видимости, была мирной: они прибыли для участия в общепринятом в минском Китае дипломатическом событии — масштабном, тщательно разработанном представлении Минской даннической системы. Монголы питали большие надежды на получение прибыли. С тех пор как данническую систему — в чьих рамках иностранцы якобы подчиняли себя китайскому императору подношением подарков и выполнением предписанных ритуалов, демонстрировавших вассальную зависимость, — ввели в норму в период династии Хань, экономически она работала в ущерб Китаю. Китайцы сохраняли «лицо» и получали подтверждение своему китаецентристскому мировоззрению; некитайцы фактически получали деньги, а также китайские товары первой необходимости и предметы роскоши по бросовым ценам в обмен на несколько поклонов и небольшое количество своих товаров.

К 1448 году минская данническая система финансировалась не так щедро, как прежде, однако рассказы о богатствах, предлагаемых лишь тем, кто был готов коснуться лбом земли перед китайским Сыном Неба в прошлые десятилетия, продолжали ходить. Путевые записки персидского посольства, которому посчастливилось присутствовать в Пекине в 1421 году во время презентации новой столицы, полны описаниями щедрых банкетов — видимо, неистоцимы

были запасы «гусей, дичи, жареного мяса, свежих и сушеных фруктов», «фундука, жожоба, грецких орехов, очищенных каштанов, лимонов, маринованных чеснока и лука». Изобилие еды запивалось «различными пьянящими напитками». Самым великолепным из всех был пир из тысячи блюд, во время которого императорская еда готовилась за стеной-ширмой из желтого атласа и вносилась под аккомпанемент оркестра, сопровождавшийся вращением церемониальных зонтов и зрелищным выступлением акробатов. После того как было совершено необходимое число (восемь) поклонов, посольству выделили подарки: только на одного султана пришлось восемь мешков серебра, три комплекта королевских халатов с украшениями, двадцать четыре комплекта нижних одежд, больше девяноста соколов, два коня, сотня стрел, пять копий и пять тысяч бумажных денег. После каждого банкета путешественники отдыхали в роскошных условиях: на парчовых подушках, коврах и подстилках, а прислуживали им «девушки замечательной красоты». Монгольское посольство, должно быть, исходило слюной от такой перспективы.

Однако за декоративной атласной стеной даннических отношений — учебный курс китайских церемоний, обязательный для «варварских» посольств, императорские процессии, коутоу, оркестры, акробаты, пиры и обмен подарками — между монголами и китайцами уже несколько лет нарастала напряженность. Ни одна из сторон не считала, что данническая система давала то, что нужно. Монголам выгоды от посольств с данью начинали казаться ничтожными. Несомненно, их ожидания подогревались воспоминаниями о богатых дарах, подносившихся во времена Юнлэ, и к 1439 году монголы уже роптали: подарки в рамках даннической системы стали значительно скромнее, чем прежде. Для китайцев подобные жалобы выглядели просто жадностью и казались недостойными — неуместными для вассала, который должен покорно благодарить за любые китайские кро-



хи, упавшие со стола Сына Неба. Монгольская политика между тем противостояла любым попыткам достичь соглашения относительно размеров дани. В 1430-х годах монгольские племена впервые после краха монгольской власти в Китае объединились под началом одного вождя, Эсэнэ. Спустя десять лет Эсэн контролировал огромную территорию, протянувшуюся между Синьцзяном и Кореей. Единство выдвинуло перед монгольским владыкой серьезные экономические требования. Чтобы удовлетворять возникший конгломерат степных народов и сохранять их единство под своей рукой, Эсэн должен был дать им материальные стимулы. Учитывая относительную нехватку в Монголии пятнадцатого столетия ресурсов, потребность в масштабных поставках китайских товаров большей частью честным и мирным путем через данническую систему стала довлеющей.

Довольно скоро Эсэн начал каждый год посылать в Китай даннические миссии якобы на поклон к китайцам, но на самом деле рассчитывая получить китайские товары — в том числе и первой необходимости, вроде одежды и зерна, — в обмен на определенную степень покорности со своей стороны и на такие богатства степи, как лошади и меха (в 1446 году данническая миссия Эсэнэ привезла в Китай, помимо прочего, сто тридцать тысяч беличьих шкур). Очень скоро китайцы почувствовали, что Эсэн извлекает выгоду из даннической карусели. Во-первых, он привозил в Китай огромное количество степных товаров, таким образом оказывая на китайцев давление, чтобы они взамен предлагали все более многочисленные дары. К 1446 году китайское правительство отказывалось принимать тысячи шкур животных. Во-вторых, одной из крупнейших статей косвенных расходов даннической системы для китайцев была организация развлечений — банкетов, дневных рационов, размещения — для посольств. Чем крупнее миссия и чем дольше она остается в стране, тем больше должно быть ее денежное содержание. К 1430-м годам китайцы уже сильно подозревали,

что монголы пользуются их гостеприимством в своих целях: короче говоря, в рамках даннической системы варвары начали мошенничать за счет китайцев. Еще в 1424 году династическая хроника сетовала: «Варвары так горят желанием получить прибыль, что ни месяца не проходит без того, чтобы кто-то не появлялся с данью, а солдаты и простолюдины... должны сопровождать их и прислуживать». В 1437 году произошел вопиющий случай с одним посольством с северо-востока: было отправлено около сорока человек в качестве сопровождающих лиц всего для пяти предназначенных в качестве дани коней. До 1440-х годов монгольские ежегодные миссии включали в себя не более нескольких сотен человек. Однако с 1442 по 1448 год Эсэн посылал в среднем по тысяче человек в год, каждый из которых нуждался в еде и награде, при этом многие из них — по мнению китайских чиновников — вели себя нечестно и привозили дань плохого качества.

Взаимные подозрения резко усилились в 1448 году, когда посольство из двух тысяч человек заявило о наличии дополнительной несуществующей тысячи человек, с тем чтобы выудить у закусивших удила китайцев больше подарков. Обнаружение мошенничества дало минскому двору идеальный предлог для сокращения квоты подарков на восемьдесят процентов. Разозлившись еще сильнее из-за возникшего недопонимания, в результате которого ему якобы пообещали, будто его сыну разрешат посредством брака породниться с китайской императорской семьей, Эсэн послал войска против районов Китая к северо-западу и северо-востоку от Пекина.

Китайцы ответили не самым умным образом, демонстрируя то беззаботность, то яростную воинственность. Поначалу они либо не обращали внимания на сведения о том, что Эсэн собирается с силами для нападения, либо, что едва ли лучше, отправляли учтивых посланников выяснить у него, насколько верны полученные сведения. Затем импе-

ратор Тяньшунь, незрелый молодой человек двадцати одного года от роду, внезапно объявил о планах карательной экспедиции против Эсэна на северо-западе. Его чиновники осторожно облачили свой протест в робкие конфуцианские фразы, но их ужас от самой идеи был очевиден: «Сын Неба хоть и является самым возвышенным из людей, не должен лично ввергать себя в такие опасности. Мы, чиновники, хоть и являемся глупейшими из людей, однако настаиваем на том, что это не должно случаться». К несчастью, в заблуждениях по поводу своих способностей военного руководителя императора поддерживал его бывший наставник, Ван Чжэнь, первый из плеяды излишне самоуверенных евнухов в период династии Мин.

Хотя евнухи состояли на службе у каждой китайской династии начиная с Шан — изначально в качестве охранников дворцового гарема, затем — доверенных слуг, должностных лиц и даже де-факто главных министров императора, — они всегда пользовались в истории Китая дурной славой; их репутацию политических пакостников можно сравнить только с женской. Стихотворение из «Книги песен» («Шицзин»), одного из чжоуских канонических текстов начала первого тысячелетия до н.э., отражает общепринятую в истории точку зрения:

Хаос рожден не небесами,  
а женщинами.  
Ничего полезного с точки зрения воспитания  
или наставления  
Никогда не исходит от жен и евнухов.

Вековые инсинуации о злодействе частично являются проблемой источников. В течение всей китайской истории те, кто владел пером или кистью и тушью, были мужчинами, конфуцианскими учеными-чиновниками — естественными заклятыми соперниками в борьбе евнухов и женщин за власть. Однако несмотря на то что исторические тексты

явно предубеждены против евнухов, в истории имеется яркий пример разлагающего влияния некоторых из них на политическую практику. Наличие такого влияния стало особенно большой проблемой во время правления династии Мин, когда число евнухов быстро росло. Частично это происходило из-за социальных трудностей (добровольная кастрация стала обычным делом, поскольку стали рассматривать основанную на лишении мужества карьеру в императорском дворце более надежным источником существования, чем непредсказуемую жизнь в пораженной нищетой сельской местности), частично из-за моды на обмен подарками в имперской культуре (слуги-евнухи стали желанным и частым предметом обменов между императором и его многочисленной семьей), а частично благодаря акциям отдельных императоров. Когда Юнлэ в 1403 году узурпировал трон, ему пришлось опираться главным образом на армию евнухов — людей, лично преданных ему, — а не на гражданских чиновников и советников. Нужно было бороться, вести дела и шпионить в интересах искоренения в рядах приверженных традиции имперских чиновников, не согласных с кровавым заговором против законного наследника. Созданная им модель зависимости от услуг евнухов продолжала существовать и при большинстве его преемников: довольно скоро Императорский Город, да и вся империя, буквально кишели евнухами и учреждениями, которыми они руководили. Сам Императорский Город представлял собой скопление управлений, казначейств, складов и мануфактур под управлением евнухов, где производились как товары повседневного спроса, так и предметы роскоши. Во всей империи не существовало отрасли управления, где не было бы евнухов. Они активно соперничали с противостоявшими им гражданскими чиновниками и шпионили за ними.

Теоретически не было ничего плохого в наличии дублирующей прослойки функционеров: чем больше служащих у государства, тем большего оно может добиться, — на прак-

тике же, хоть в среде евнухов и имелись трудолюбивые, способные люди, усиление их власти вело к падению эффективности и расколу государства. Принципиальная проблема, связанная с евнухами, а также с дворцовыми дамами, заключалась в том, что они попадали в имперские штаты не посредством упорядоченной системы подбора кадров — в отличие от конфуцианских чиновников, для поступления на государственную службу проходивших через непростые экзамены, — а по прихоти императора. Евнухи не имели стабильной, гарантированной карьерной лестницы для роста, и их личные перспективы зависели от благоволения императора и того, что им удастся выжать из двора. Привлекательность евнухов в глазах императоров как раз и заключалась в рабской зависимости, в личном характере отношений: императоры использовали их в качестве внутреннего круга своих приверженцев для разыгрывания комбинаций против гражданских чиновников. Евнухи являлись орудием абсолютизма, самым неприглядным выражением чего стала составленная из них секретная полиция — организация, действовавшая по всей стране и с мрачным усердием подвергавшая пыткам любого заподозренного в мятежных настроениях против императора.

Одним из самых разрушительных долгосрочных последствий распыления специальных агентов деспотизма в китайском обществе и правительстве стала дестабилизация политики. Всякое решение или политическая установка, связанные с прихотью императора или лично им назначенных агентов, представляли огромную трудность для организации какой-либо разумной системы оценки политики. Победа в политических дебатах зависела от достижения любыми средствами благосклонности императора или его фаворитов в данный момент; поскольку эти последние могли неоднократно меняться во время любых затяжных политических дискуссий, то тщательное, долгосрочное планирование становилось практически невозможным. Между тем культ же-

стокости при династии Мин означал: наказания за неудачу или неудовольствие императора будут ужасными. Только в 1641—1644 годах три высокопоставленных министра по воле императора были вынуждены совершить самоубийство. Служба в правительственных структурах при династии Мин была связана со страшным нервным напряжением.

А в пограничных делах особенно пагубный эффект имело соединение двух известных составляющих успеха в карьере евнуха — алчный эгоизм и необходимость угождать прихотям императора. Несмотря на то что связанные с военными походами опасности — расходы, военное превосходство противника, невозможность добиться окончательной, решительной победы над монголами в просторах их степей — были очевидны для многих, идея о крупной, эффектной, рискованной экспедиции в степь оказалась особенно привлекательной для дворцовых евнухов вроде Ван Чжэня. Прежде всего крупная пограничная операция давала возможность амбициозному и жадному евнуху соединить добычу со славой и, таким образом, обеспечить себе прочное положение придворного фаворита. Во-вторых, карьера евнуха зависела от потакания прихотям императора, и в правление династии Мин это чаще, чем когда-либо, означало, что евнухи всеми способами раздували в своих совершенно некомпетентных в военном деле патронах-императорах воинственную манию величия по отношению к Монголии, уверяя их, будто они вполне способны преподать вероломным монголам урок на поле брани.

Однако воинственный пыл какого-нибудь императора и его евнуха сам по себе автоматически не вел к катастрофе. В сочетании же с резким военным ослаблением они могли поставить династию на колени и вынудить к радикальному переосмыслению пограничной обороны. К 1449 году некогда впечатляющая военная машина династии Мин была не в состоянии бросить вызов объединенным силам монголов. Еще в конце XIV века схема обеспечения военной безопасности

Хунью включала в себя создание наследственного класса воинов с предназначенными для них земельными угодьями. Пока офицеры и солдаты будут производить себе подобных, размышлял Хунью, постоянный приток военных, причем таких, которые сами себя станут кормить и одевать, сделается гарантированным.

Пятьдесят лет спустя после установления правления династии Мин этот грандиозный план начал сталкиваться с серьезными проблемами. Проводившаяся Хунью политика селекции военных не привела к успеху в деле выделения гена военного таланта: он и большинство бывших при нем военачальников не сумели передать потомкам свою храбрость, проявленную на поле брани. И императоры Мин, и военные чиновники в процессе существования династии становились все менее энергичными, управление армией все больше переходило в руки гражданских чиновников, а сама она стала часто испытывать пагубное влияние скорее политических, чем стратегических интересов, подчиняться больше императорским прихотям, чем разумному планированию. Кроме того, для тех, у кого имелись деньги, всегда находилась способ избежать обязанностей, связанных с наследственной воинской службой: богатые семьи платили бедным за то, что те их подменяли. Коррумпированные военачальники сделали минскую армию орудием незаконного обогащения, превратив военные угодья в собственные имения, солдат — в своих крепостных для обработки земель и строительства дворцов, присваивая отпущенные государством средства на их содержание, припасы и обмундирование. И хотя благодаря росту численности семей наследственных военных ряды армии теоретически тоже должны были расти, в реальности большинство тех, кто числился в войсках, находились в самовольной отлучке. К середине XV века качество минской армии — коррумпированной, слабо дисциплинированной, плохо подготовленной и снабжаемой — стало заметно ухудшаться.

Карательная экспедиция 1449 года на северо-западе против Эсэна, живо поддерживаемая жадным до выгоды и славы евнухом Ван Чжэнем, была обречена на провал с самого начала: она утонула в затяжных дождях, столкнулась с некомпетентностью и манерностью. 4 августа император выступил из Пекина в сторону пограничного района Датун во главе армии в полмиллиона человек, собранной в страшной спешке всего за два дня. Улучив момент, наперерез паланкину своего правителя бросился некий высокопоставленный государственный чиновник, умоляя того подумать о стране, а не только о себе. Император промолчал, предоставив Ван Чжэню облить грязью незваного советчика, а затем продолжил путь к границе.

Когда армия, сопровождаемая не по сезону проливными дождями, следовала через проход Цзюйюн, шестидесятипятилетний военный министр — гражданский чиновник без всякого военного опыта — был уже серьезно ранен, несколько раз упав с коня. Китайцы, которых на протяжении всего пути преследовали злобные черные тучи, наконец завершили утомительный трехсоткилометровый тринадцатидневный переход на запад к Датуну и оказались на поле, заваленном трупами китайских солдат: то были следы знаменитого сражения, в ходе которого Эсэн разгромил гарнизон Датуня. «Все сердца, — сообщается в хронике похода, — охватил холодок ужаса». В конце концов, после уговоров своих заместителей евнухов отказаться от экспедиции, Ван Чжэнь приказал объявить: поход завершен с триумфальным успехом, и армия возвращается в Пекин. Китайская армия, вероятно, смогла бы отступить в целостности и сохранности, если бы Ван Чжэнь позволил ей двигаться по южному пути, через свой родной уезд. Испугавшись, однако, что солдаты могут нанести ущерб его огромным личным имениям, Ван настоял на более уязвимом северо-восточном пути. Поиграв в злобные прятки со все больше лишавшимися присутствия духа китайцами, люди Эсэна 30 августа ударили



по арьергарду армии. Храбрые китайские офицеры сражались до последней стрелы в колчане и даже продолжали биться луками, как дубинами, прежде чем монголы порвали их на части. Находившаяся впереди на два дневных перехода императорская свита могла бы безболезненно ускользнуть через проход Цзюйюн в столицу, если бы Ван Чжэнь (обеспокоенный задержкой обоза с его личным багажом, состоявшим из тысячи повозок) не объявил привал у плохо укрепленного поста в Туму, намереваясь выяснить, где находятся его ценные вещи. Когда несчастный военный министр запротестовал, заявив о необходимости быстро уходить, Ван Чжэнь закричал: «Ты, глупый книжный червь! Что ты понимаешь в военном деле? Еще одно твое слово, и ты поплачешься головой». Министр провел ночь 31 августа, рыдая вместе с коллегами в своем шатре, а Эсэн и его конница тем временем быстро окружили лагерь.

Хотя накануне шел сильный дождь, китайцы обнаружили — Туму напрочь лишен запасов воды, а единственная речка поблизости блокирована людьми Эсэна. Томимые жаждой, голодные и запуганные, они были разбиты во время общего штурма монголов 1 сентября 1449 года.

«Китайская армия дрогнула, стала хаотично отступать и превратилась в толпу. «Бросайте на землю оружие и доспехи, и вас пощадят!» — кричали монголы. Не обращая внимания на своих офицеров, китайские солдаты утратили контроль над собой, стали срывать с себя одежду и побежали в сторону монгольской кавалерии только для того, чтобы та порубила их в куски. С неба падал дождь стрел, монголы приближались. Личная конная охрана императора окружила его и попыталась пробиться, но безуспешно. Сойдя с коня, император сел на землю среди града стрел, которые перебили почти всех его слуг».

Спокойный и каким-то чудом невредимый — таким монголы обнаружили его — император был взят в плен.

Ничего не было потеряно для прагматичных китайцев, которые удивительно быстро оправились после потрясения, связанного с утратой своего Сына Неба. Сообразительные чиновники в Пекине провозгласили плененного императора Великим Старшим Императором — другими словами, дали ему пинка — и подняли его младшего брата до положения Младшего, или Истинного, Императора. Одного настолько глупого, чтобы протестовать, придворного без проволочек казнили. Новое правительство принялось готовиться к обороне Пекина от монголов. Когда Эсэн подъехал к воротам города, рассчитывая восстановить на престоле старого императора в качестве марионеточного правителя, которого женили на его дочери — естественно, в обмен на громадный выкуп, — ему вежливо, но твердо сообщили: «Это алтари Земли и Зерна имеют большое значение, а правитель не важен». То есть интересы государства перевешивают интересы отдельного правителя и один замещенный император очень похож на другого. Прежде чем податься обратно на север, Эсэн выместил свою досаду на окрестностях, однако не смог взять ни Пекин, ни какой-либо другой город со стеной. Когда китайцы, выказав не более чем сдержанное сожаление, позабыли о Тяньшуне, его ценность как заложника стала падать, и в 1450 году Эсэн вернул его всего лишь в обмен на восстановление даннических отношений и небольшое количество оскорбительно пустяковых подарков. Бывшего императора по приказу младшего брата, не испытывавшего особой радости по поводу его возвращения, немедленно посадили в угловое помещение Запретного Города. Не сумев получить богатого вознаграждения, на которое он рассчитывал, потребовав выкуп за императора, Эсэн «потерял лицо» среди подчиненных племен и в 1455 году был убит одним из соплеменников.

Давнишние противники Эсэна, евнухи, также пострадали от последствий Туму. После гибели Вана в сражении чи-

новники страшно отомстили Ма Шуню, одному из оставшихся в живых евнухов — помощников Вана при дворе. Случилось нечто из рук вон выходящее, прецедентов и повторений этого не было во всей политической истории: во время аудиенции у императора произошла драка на кулаках, и один блюститель нравов, не в силах сдерживать ненависти к соперникам-евнухам, набросился на Ма, свалил его и принялся избивать. Другие чиновники незамедлительно отбросили всякую церемонность и кинулись в свалку. Поскольку обычного оружия под рукой не оказалось, в драке задействовали импровизированные орудия; чиновники в конечном итоге выбили евнуху глаза и забили насмерть его же собственными туфлями. Испуганный новый император, пытаясь скрыться с места кровавой драки, стал на цыпочках красться из зала приемов, однако новый военный министр схватил его за халат и усадил на место, заставив таким образом своим присутствием легализовать спонтанную казнь.

Несмотря на перетасовки в правительстве и смерть Эсэна, катастрофа у Туму вывела пограничную политику династии Мин на самоубийственный путь. Никогда более монголов не пугала перспектива военных походов минской армии. При нескольких известных исключениях процесс военного упадка, ясно проявившийся к 1499 году, неуклонно развивался в течение последующих десятилетий. К концу XV века минские императоры были с еще большей очевидностью, чем Тяньшунь, не способны возглавить военные походы в степь. Когда исполненный серьезных намерений, но робкий император Хунчжи (около 1488—1501 годов), видимо, менее всего подходивший на роль полководца из всех императоров династии Мин, позволил себе заявить: «Император Тайцзун из нашей династии (Юнлэ) часто водил войска за Великую стену; есть ли причина тому, что мы не могли бы сделать то же самое?» — его ошеломленному военному министру достало разума дипломатично ответить: «Божественные боевые качества Вашего Величества, не-

сомненно, ничуть не хуже, чем у императора Тайцзуна, но теперь наши генералы, а также их пехотинцы и конные войска намного хуже». Туму стал концом военной репутации династии Мин на севере и позволил монголам осмелеть настолько, чтобы пересмотреть линию границы. И Хуньбу, и Юнлэ неустанно трудились над созданием буферной зоны вдоль границы, заключая соглашения с дружественными племенами и выставляя гарнизоны и сторожевые башни на сотни километров в глубь степи. Однако после 1449 года монгольские племена начали просачиваться на юг, в Ордосский район, оседая по петле Желтой реки и подбираясь все ближе к собственно китайской территории.

Во-вторых, хотя Туму высветил серьезное внешнеполитическое противоречие — стремление монголов к торговым отношениям с китайцами и нежелание этого со стороны китайцев, — китайцы теперь были слишком слабы, чтобы разрешить его силой, а минский двор не допускал дипломатического решения. Поскольку набеги и торговые контакты, предпринимавшиеся отдельными племенами, непрерывно чередовались до конца столетия, китайского императора и его чиновников все сильнее раздражало и злило нарастающее присутствие монголов в Ордосском районе. Поражение при Туму еще более углубило и оформило настрой минских китайцев против монголов. После 1450 года словесные и физические нападки на монголов — особенно проживавших в Китае — участились и стали более жестокими. До 1450 года, несмотря на болезненную историческую память о монгольской оккупации, минский Китай с удовольствием принимал монгольских солдат в свои армии и позволял лояльным монголам селиться в районах северной границы и даже в столице: в Пекине в XV веке проживали, видимо, десять тысяч монголов. После Туму отношение к ним ужесточилось — стало даже бытовать мнение, что подозрительных монголов следует казнить для общего примера. «Поскольку они не при-

надлежат к нашей расе, — мрачно объявил один из высокопоставленных государственных чиновников, — то у них, видимо, и души другие». Установилась новая политическая норма, в соответствии с которой любое соглашательство с монголами считалось изменой, в то время как оскорбительные нападки на них или пренебрежительное отношение к обороне — скольких бы жизней на границе или унций серебра это ни стоило — считалось вершиной добродетельно-го патриотизма.

Однако самое примечательное то, что минский двор оказался неспособным извлечь уроки из политического фиаско Туму, что-либо почерпнуть из разрушительного влияния жестокой раздробленности управления для воспитания духа единства и сотрудничества в политической сфере. Кровавая месть гражданских чиновников своим соперникам евнухам лишь усилила взаимную неприязнь между двумя властными группами. Очередная кровавая бойня последовала за дворцовым переворотом в 1457 году, в ходе которого бывший император-пленник был восстановлен, а тех, кто поднялся в 1449 году, пытаясь спасти династию Мин, задушили, обезглавили или изгнали. Дворцовые интриги усилились, приведя к практически полному политическому параличу. Пограничная политика превратилась в политический футбол: мяч оказывался то у одной, то у другой придворной фракции. Каждая группировка озвучивала гневные патриотические банальности, каждая наперебой старалась добиться благосклонности непредсказуемых императоров, затворившихся в Запретном Городе и злобно вскармливавших в себе бессмысленное чувство превосходства над иностранцами, бесчинствующими на границе.

На фоне расового высокомерия, военного бессилия и жестокого раскола стеностроительство стало казаться единственным жизнеспособным с точки зрения обороны и удовлетворяющим психологически выходом.

Пока придворные забивали друг друга насмерть тупфлями, пограничные чиновники на местах страдали от последствий политического паралича в центре. Хотя после Туму были разосланы приказы укреплять оборону границ, отчаянно честный доклад 1464 года с горечью сообщает об истинном состоянии дел:

«Монголы печально известны своим пристрастием к организации набегов, однако наши пограничные начальники занимаются своими делами и совершенно разленились. Стены городов и укрепления не отремонтированы, боеприпасы и оружие находятся в плачевном состоянии. В практике вопиющие злоупотребления: зажиточные солдаты ежемесячно дают взятки своим начальникам, избегая, таким образом, службы, а бедным остается либо терпеть холод и голод, либо дезертировать. Вот почему охрана границы находится в столь плачевном состоянии».

Среди таких многострадальных правителей на местах оказался Юй Цзыцзюнь, усердный чиновник, преданный делу улучшения условий в северо-западном регионе, который находился под его управлением. А жители провинций, соединявших основание петли Желтой реки, вели в основном жалкую жизнь. Части этих провинций — восточная Ганьсу, Нинся, Шэньси — всегда числились среди самых бедных районов Китая. Гористые, засушливые, они орошались лишь редкими дождями, их периодически засыпали пески, которые несли на юг ветры из Внутренней Монголии. Земледелие там было возможно, но при постоянной, тщательной ирригации. В разоренном войной Китае 1930-х годов Мао Цзэдуну пришлось выбрать именно этот район в качестве относительно безопасного центра управления своими находившимися в окружении коммунистическими партизанскими войсками. К тому же это была территория, нищета и изолированность которой останавливала и войска правого

националистического правительства, упорно, с 1927 года, пытавшегося уничтожить коммунистов, и японских захватчиков с северо-востока, прославившихся своей крайней жестокостью, продемонстрированной ими во время попыток завоевать Китай накануне и в ходе Второй мировой войны. В минскую эпоху экономические условия здесь оказались еще хуже, а иностранные завоеватели из Ордоса с готовностью наносили удары через сухие лессовые нагорья этой зоны, забирая в населенных пунктах все, что могло пригодиться (одежду, зерно, металл, животных, женщин, детей), и уничтожая все, чем они не могли воспользоваться или легко превратить в рабов, — дома и мужское население. Юй Цзыцзюнь нашел здесь нищее, ограбленное и нуждающееся в защите население. Несколько лет упорной работы в столь бедном и отдаленном регионе — учреждение школ, поощрение учеников, обучение местных жителей обработке земли, повышение обороноспособности благодаря производству металлического оружия, умиротворение монголов посредством торговли — заставили губернатора понять: необходимо безотлагательно решать проблемы, связанные с опасной близостью Ордоса, где хозяйничали монголы. В 1471 году он представил императору доклад, где предлагал для защиты местного населения построить между китайскими населенными пунктами и Ордосом стену девятиметровой высоты.

Военный министр в Пекине не пришел в восторг от этой идеи, но ничего другого предложить не мог. Споры о границе неспешно велись больше десяти лет. Все еще не смирившись с утратой Ордоса, двор отказывался рассматривать оккупацию региона монголами как нечто большее, чем временная неудача. Чиновники сочиняли пачки авантюрных военных планов — например, отправку крупных сил вдоль внешней границы Шэньси или выделение ударного отряда в три тысячи человек для охоты на вождей монголов и их уничтожения, — большая часть которых встретила одобрение императора, но так никогда и не была реализована.

Однако стены по-прежнему оставались нежелательным вариантом. Они ассоциировались с их нелюбимыми и недолговечными поклонницами — династиями Суй и Цинь — стоимостью и тенденцией рушиться (в первом упоминании Длинных стен — циньский термин — в династической хронике за 1429 год, одном из немногих упоминаний такого рода, зловеще констатировалось, что они рушатся после сильного дождя). Запутавшись в несбыточных планах, проектировщики в Пекине тем не менее полагали: все же будет дешевле, лучше и — что уж совсем спорно — проще решить проблему путем вытеснения кочевников из Ордоса силой. В мае — июне 1472 года, когда песчаные бури быстротечной пекинской весны прекратились, уступив место неподвижной, душной влажности лета, министры обнаружили, что в очередной раз заседают по пограничной проблеме.

Когда дискуссия зашла в тупик, поднялся Ван Юэ, талантливый сорокашестилетний воин-чиновник. У него за плечами был двадцатилетний опыт государственной службы, но он по-прежнему жаждал крупного военного успеха, который прославил бы его как военачальника, обеспечил известность и (во всяком случае, он на это надеялся) прочный наследственный титул для его потомков. Хотя он начал взбираться по ступеням гражданской карьерной лестницы, пройдя систему экзаменов в сравнительно молодом возрасте, когда ему исполнилось двадцать пять лет, Ван оставался бесцеремонно резким и практически мыслящим военным. Даже во время аудиенций у императора он обычно поддегивал вверх традиционно длинные рукава своего мандаринского халата, отказываясь жертвовать привычной свободой движений ради императорского этикета. Видимо, почувствовав в Ване жажду славы, а возможно, больше не нашлось никого достаточно смелого, чтобы принять пост, двор назначил его вторым по старшинству начальником в экспедицию, которая предпринималась для очистки от кочевников территорий, расположенных в петле Желтой реки. Ван Юэ



стал начальником штаба, а его непосредственного начальника оптимистично прозвали Военачальником, Который Усмиряет Варваров. Ван Юэ был амбициозен, но не безумен. Несмотря на то что пекинские бюрократы приказывали ему раз и навсегда выбросить монголов из Ордоса — района площадью восемьдесят тысяч квадратных километров, — в его распоряжение для этих целей вверили всего сорок тысяч солдат. Перспективы снабжения войска также выглядели бледно: обе северные провинции, Шэньси и Шаньси, пожелтели от засухи и, перемогая осень, готовились к лютой, как всегда, зиме. Мобилизованные рекруты — и это неудивительно — разбежались перед лицом неприятной перспективы либо умереть от голода, либо замерзнуть еще до прибытия в ледяную пустыню Ордоса. Но когда Ван, вставший на восьмистах километрах холодной, рыхлой, неприкрытой северо-западной границы, начал осторожно просить пополнения, политики, сидевшие за двумя, если не за тремя, стенами в Пекине, обвинили его в трусости. Бай Гуй, военный министр, насмеялся из-за стены Императорского Города, заявляя, будто один кочевник способен напугать тысячу минских солдат.

В результате возникла заминка — Ван отказывался действовать без пополнения, а правительство отказывалось его предоставить. Именно этот момент Юй Цзыцзюнь и выбрал, чтобы напомнить правительству о выгодах строительства стены через этот район: мол, потребуется всего пятьдесят тысяч местных жителей по сравнению со ста пятьюдесятью тысячами солдат и ста десятью тысячами носильщиков, необходимых для осуществления военной кампании (которых надо как-то прокормить на бедных землях северо-запада). К тому же стену можно будет возвести из местных материалов, что позволит закончить работу за два месяца. В конце, вероятно, желая подсластить пилюлю сидящим в Пекине приверженцам войны, Юй добавлял, что это даст региону шанс восстановиться, перед тем как начнется любое новое крупномасштабное наступление на север. В январе 1473 года

Юй, Ван и его начальник, Военачальник, Который Усмиряет Варваров, придумали компромисс между фракциями войны и строительства стены, спланировав небольшую карательную экспедицию, рассчитывая напугать — на время — монголов и заставить их покинуть регион, а затем приступить к строительству стены.

Новая стратегия делала ненужной присылку дополнительных войск, поскольку Ван Юэ решил воевать не в китайском стиле, требовавшем наличия крупных армий с огромными, громоздкими и уязвимыми обозами, которые выдавали их намерения за недели и даже месяцы до того, как они приблизятся к какому-нибудь противнику, а с дерзостью кочевников. Другими словами, он воевал нечестно. 20 октября 1473 года он повел четыре тысячи шестьсот отборных всадников, два дня и две ночи скакавших в глубь пустыни, к озеру Красной Соли, лежащему в зоне известняков, вдоль которой Ордос переходит в пустыню. Там, как и ожидалось, Ван обнаружил не кочевое войско, смазывающее маслом луки перед битвой, а пасторальное монгольское поселение из войлочных юрт, возле которых монгольские женщины занимались своими повседневными делами: носили воду, стирали, готовили еду, присматривали за животными, делали вещи, необходимые в быту (одежду, шкуры, мясо, молоко). Практически все монгольские мужчины, способные сражаться, ускакали на юго-запад для участия в нападении на китайский гарнизон. Кроме небольшого отряда охраны, остались лишь те, кто был не способен обороняться: самые старые и малые. Ни у кого в стойбище не имелось ни малейшего шанса устоять против всадников Ван Юэ — юрты стояли у озера, отрезавшего путь к бегству. Сотни людей были убиты, юрты разграблены, а затем сожжены, скот — сто тридцать три верблюда, тысячу триста лошадей, пять тысяч крупного рогатого скота, десять тысяч овец — захватили в качестве добычи. Перспективы для тех, кто выжил — оставшихся без крова и средств к жизни в местности, где зима прихо-

дит рано, где даже в октябре температуры могут опускаться ниже нуля, — были безрадостными. Когда известие докатилось до монгольского отряда, занятого набегом на юге, он поспешил назад к своим женщинам и как раз попал в расставленную ему китайцами ловушку. Оробев — в первый и последний раз на долгую перспективу — перед китайскими войсками, оставшиеся в живых монголы отошли обратно на север. Их на время выбили из Ордоса.

Получив на короткое время исключительно чистый горизонт, Юй Цзыцзюнь приступил к строительству самой длинной непрерывной стены, построенной в период правления династии Мин. «Когда проблемы внутренних территорий были, таким образом, разрешены, — отмечается в «Истории династии Мин», — под начало Цзыцзюня были направлены мобилизованные рабочие».

«Он делал насыпи, строил стены, копал рвы по непрерывной линии длиной более тысячи семисот семидесяти ли, от Циншуйин на востоке до Хуамачи на западе. Через каждые два или три ли он ставил башни и валы с помостами для организации системы предупреждения и более низкие стены против пустых валов, которые образовывали выгородки в форме корзин, чтобы прикрывать наблюдателей от стрел. Работа, включавшая строительство одиннадцати фортов, пятнадцати пограничных башен, семидесяти восьми малых башен и семисот девятнадцати частоколов на вершинах холмов, потребовала участия сорока тысяч рабочих в течение менее трех месяцев. Прикрытая стеной территория была включена в сельскохозяйственный оборот, принося ежегодно урожай в шестьдесят тысяч даней\* зерна».

Отмеченная более чем восьмьюстами опорными пунктами, сторожевыми постами и сигнальными башнями стена Юя змеей извивалась на протяжении девятисот десяти километров с востока на запад по естественной пограничной

---

\* Один дань = 3,990 т.

зоне, образованной Желтой рекой, где Китай начинал переходить в Монголию. Однако это еще не было постоянным сооружением из кирпича и известкового раствора, которое соответствует общепринятому представлению о Великой стене: одна более поздняя хроника ссылается на слова тех, кто сомневался в прочности стены Юя, опасаясь, что «стены, построенные из земли вперемешку с песком, легко рушились, и на них невозможно было положиться, когда случались набеги». Сам Юй в одной из своих памятных записок, представленных двору, подчеркивал, что предлагаемая им стена не будет строиться из кирпича или камня, заслон будет состоять из местной лессовой почвы северо-запада. «Сегодня, — писал он в начале 1470-х годов, — от старой границы остались только камни, но сохранились высокие горы и крутые склоны. Мы должны построить рубежную стену, которая будет повторять рельеф этих гор и контуры земли, порой копая и выдалбливая, порой строя валы, порой вырывая траншеи, соединяя все в одну непрерывную линию». Отметим осторожное использование Юем термина «рубежная стена» (бянь цян) и то, как он старательно избегает термина чанчэн, Длинная стена, который еще связывался с катастрофой, постигшей династию Цинь.

Если стену и в самом деле построили высотой девять метров, как изначально рекомендовал Юй Цзыцзюнь, то сегодня от нее в том виде, в каком она строилась, осталось сравнительно немного. Как и в случае с ханьской стеной на дальнем западе, песчаные бури давным-давно источили или засыпали эту стену, построенную на лессе и из лесса, лишь немногим менее рыхлого, чем песчинки, которым предстояло похоронить ее (семьдесят пять процентов почвы под Юйлинем, одним из основных гарнизонных городов вдоль линии прохождения стены Юя, составляет песок). Процесс обветшания начался рано: в конце XVI века проезжавший француз-иезуит отмечал: стена вокруг Юйлиня так засыпана песком, что через нее можно перескочить верхом на ло-

шади. На самом деле сохраняются длинные участки желто-коричневого вала из утрамбованной земли, которые закрывают оконечность лессовых возвышенностей от начинающегося дальше к северу плато Монгольской пустыни. Почти все стены, некогда построенные из камня или выложенные им, уже давным-давно разобраны крестьянами, которые в поисках строительного материала для личных целей оставляют после себя лишь основание из утрамбованной земли. Кажется, здесь развалины стен являются органической частью самого ландшафта: похожие на замки из песка валы поднимаются из земли, постепенно возвращаясь назад подобно выступающей и исчезающей ткани шрама. Ни один из крупных, самых впечатляющих из сохранившихся в этом районе фортов, похоже, не является частью главного творения Юя: Башня, Сдерживающая Север — крупный, четырехъярусный, тридцатиметровый красавец форт, имеющий в длину примерно семьдесят восемь метров и в ширину шестьдесят четыре — построена из кирпича лишь в 1608 году.

И все же, несмотря на недолговечность, стена Юя послужила материальным образцом стеностроительного бума восемнадцатого столетия, а также всесторонне предвосхитила обстоятельства, при которых в течение последующих ста пятидесяти лет поднимется кирпичная пограничная стена: общий военный упадок, дипломатическая негибкость, дворцовые интриги и приводящие к параличу политические иллюзии. Однако негативные факторы, послужившие причиной возведения северо-западной стены, скоро забылись. К 1482 году стена Юя уже, казалось, доказала свою пригодность, когда банда монгольских налетчиков заплутала среди стен и рвов. «Растерявшиеся и не в силах найти выход, они были изгнаны с разбитыми носами, после чего пограничный люд еще больше полюбил творение Цзыцзюня». Рубежные стены на время исправили свою плохую историческую репутацию и снискали благосклонность Мин.

Воодушевившись, Юй Цзыцзюнь не закончил со своей стеной на северо-западе, ограничившись лишь восточной стороной петли Желтой реки. Вслед за продолжавшимся военным упадком династии Мин в конце XV века столица в Пекине, некогда символ заносчивости Мин в отношениях со степью, превратилась в объект, который необходимо оборонять, в излюбленную цель набегов кочевников с севера, защищенную всего двумя гарнизонными поселениями — Сюаньфу к западу и Датунем к северу. Условия в Сюаньфу и Датуне были вполне сравнимыми с теми, которые существовали в петле Желтой реки до того, как Юй употребил там свое благотворное влияние: крестьяне и солдаты пребывали в отчаянной нищете, а укрепления — и естественные и рукотворные — были крайне слабы (территория между Датунем и степью, лежащей к северу, преимущественно равнинная и не имеет естественных оборонительных преград). В 1484 году Юй, поставленный во главе военных гарнизонов Сюаньфу и Датуня, как и можно было предположить, стал выступать за дополнительное стеностроительство.

Но к 1484 году покладистость двора пошла на убыль. Еще в 1470-х годах предложенная Юем компромиссная комбинация из земляных стен и торговли едва не наткнулась на вето со стороны тех, кто вершил политику, пока воинственные министры, сидя в безопасности в Пекине, спорили до хрипоты не о том, бросать ли войска против монголов, а сколько нужно послать войск. Десятью годами позже новые планы Юй Цзыцзюня по стеностроительству столкнулись с дворцовой интригой и полицией Ван Чжи, всемогущего евнуха — главу секретной полиции, стремившегося, как и Ван Чжэнь до него, еще более упрочить свое положение при императоре, добившись военной славы в ходе пограничной кампании, и поддержавшего при дворе фракцию войны. Прежний союзник Юя, Ван Юэ, с энтузиазмом и присущей ему энергией занялся очередной кампанией, а сам Юй протес-

товал против действий пограничных командиров, провоцировавших местное население применением насилия. На сей раз баланс сил при дворе сложился не в его пользу. Считая, что евнухи являются «испорченными человеческими существами», которые вводят в заблуждение «неразумных и молодых правителей», он по глупости так и написал в памятной записке императору, где призвал вернуть евнухов к обязанности заниматься хозяйственными делами дворца. Вскоре работы по строительству новой стены Юя были остановлены, после того как евнухи воспользовались докладом некоей инспекции, где говорилось, будто строительство слишком дорого и вызывает недовольство среди населения, и где Юя обвиняли в коррупции и nepотизме. Юю предстояло умереть в 1489 году. Последние восемь лет жизни он провел, находясь в подвешенном состоянии между службой и отставкой, опасаясь всякой клеветы и бесчестья. Юй представил минскому двору один из его последних шансов избежать затягивающей воронки дорогостоящей конфронтации с севером посредством умеренной, незатратной комбинации обороны и дипломатии. Однако поскольку предложенный Юем компромисс был отвергнут, императоры династии Мин в XVI—XVII веках будут вынуждены сначала измотать свои армии, потом спустить казну и израсходовать трудовые ресурсы на бесконечные войны и стены.



## Глава девятая

### *Стена растет*

В 1507 году родились два мальчика: один в Хубэе, провинции, являвшейся житницей материкового Китая; другой в Монголии. Первый, Чжу Хоуцун, стал императором Китая; второй, Алтан-хан, — великим объединителем монгольских племен XVI столетия. Хотя им так никогда и не довелось встретиться — первый не позволил бы такого унижения своего величия, — столкновение их мировоззрений породило дипломатический тупик, в свою очередь, ставший причиной возникновения Великой стены из кирпича и камня, приведшей в сильный восторг лорда Макартни в конце XVIII века.

Его министры, вероятно, и не надеялись или не ожидали, что у Чжу Хоуцуна способно проявиться нечто столь агрессивное, как собственное мировоззрение. Его возвели на трон именно из-за его очевидной безликости. Когда Чжу Хоуцун сел в 1522 году на трон как император Цзяцзин, правительство еще опраивалось после аллергии, вызванной его предшественником, Чжэндэ, слабохарактерным, эксцентричным женолюбом, посвятившим себя главным образом чрезмерным возлияниям, военным играм с тиграми и похищением женщин для своего гарема, но чувствовавшим от-



вращение к повседневной рутине, которая приводила в движение маятник правительства и страны: к аудиенциям с чиновниками, встречам с посланниками, к продуманно символическим церемониям. Когда Чжэндэ внезапно умер в возрасте тридцати одного года из-за несчастного случая во время катания на лодке, не оставив ни наследника, ни официально поименованного преемника, его племянника Чжу Хоуцун наугад выбрал энергичный крупный сановник, несомненно, в надежде, что тот окажется более любезным и покладистым, чем его неуправляемый предшественник. Семья Чжу Хоуцуна не имела большого веса при дворе и не могла влиять на ход придворных интриг, которые обычно определяли исход борьбы за власть в империи: во время воцарения его старую слепую бабушку сослали в императорскую прачечную, а мать, дочь дворцового стражника и вдова провинциального правителя, жила в фамильном имении в Хубэе.

Но именно безвестность Цзяцзина сделала из него крайне нетерпимого и бескомпромиссного правителя по отношению к своим чиновникам, женам и особенно к монгольским «варварам», само существование которых он расценивал как возмутительное оскорбление лично себе. Цзяцзин страдал манией до мелочей придерживаться этикета и очень любил появляться перед публикой, чему мешало лишь то обстоятельство, что это было по-настоящему небезопасно. В основе его опасений лежала необычность его пути к трону. Он не располагал ни очевидным правом на трон благодаря родству, ни естественной общительностью и харизмой лидера (в детстве Чжу Хоуцун считался тихим, много читавшим мальчиком). Новый император старался основать свою легитимность на особом педантизме в вопросах ритуала и церемоний, выискивая или выдумывая прецеденты для укрепления своих позиций, безжалостно искореняя оппозицию переменам, связанным с укреплением собственного статуса. За два первых года его правления семнадцать чи-

новников забили насмерть и еще сто шестьдесят трех сослали за оспаривание воли императора о присвоении его прежде всеми забытой матери положения вдовствующей матери-императрицы. Хотя такой подход укрепил его авторитет как императора, позволив ему оставаться у власти сорок четыре года — второе по продолжительности правление за весь период существования династии Мин, — он также сделал его замкнутым, озлобленным и болезненно высокомерным.

Последствия для пограничных отношений оказались серьезными. Занятость императора вопросами личного престижа критически обострила в нем традиционный комплекс китайского культурного превосходства и презрение в отношении севера. С годами чувство враждебности лишь усилилось, дойдя до мелочности: в поздние годы правления он стал требовать, чтобы при каждом упоминании в эдиктах или памятных записках иероглифы, обозначающие «северные монголы», писались как можно мельче. Если в нем будило гнев само существование монголов, то ни о каких идеях торговли или договорных отношениях с ними не могло быть и речи. А именно в торговле в первую очередь монголы теперь нуждались и хотели ее. Однако ее прекратили в любой регулярной форме в 1500 году. Возник порочный дипломатический круг: чем более агрессивными выглядели монголы в глазах императора, тем менее он был склонен разрешить торговлю; чем чаще они совершали набеги, тем больше он их ненавидел. И все повторялось в том же духе.

К 1530-м годам Алтан-хан, младенец, родившийся в том же году, что и Чжу Хоуцун, вырос и превратился для китайского императора в монгольский *bête noire* \*. Получив по наследству управление племенами к северу от Шаньси, Алтан превратил своих подданных из занятого мелкими набегами сброда в объединенное войско завоевателей. Он основал новый военный центр степи в Хух-Хото, сегодняшнем административном центре автономного района Внутренняя

---

\* Ужас, беда, напасть (фр.).

Монголия, соответственно всего в двухстах, трехстах и четырехстах километрах от Датуна, Сюаньфу (двух ключевых оборонительных пунктов на севере) и Пекина. Хух-Хото Алтан-хана являлся не просто широко известной степной ставкой, а впечатляющим массивом зданий, построенных в китайском стиле — их возвели при помощи китайцев, нашедших пристанище в Монголии, — и самым прекрасным из них по праву считался обнесенный стеной императорский дворец, чье архитектурное решение основывалось на минских образцах. Надпись, вывешенная над дворцовыми воротами: «Внушать благоговейный страх китайцам и варварам», — позволяла понять масштаб амбиций Алтан-хана, а его новый город предоставлял ему и его всадникам такую возможность на выбор налетать на центры власти Китая, какую не могла дать старая монгольская столица Каракорум.

Но в действительности Алтан-хан не был Чингисханом: его набеги осуществлялись скорее ради китайского шелка, одежды и продовольствия, чем для захвата земель, и примирительная политика Китая, разрешившая бы торговлю и дани, драматически снизила бы напряженность в районе границы. Алтан не испытывал всеподавляющего чувства расового превосходства монголов и замыслов, которые двинули Чингисхана к югу от степи, заставили династию Юань законодательно оградить управление от китайцев и толкнули первое поколение монгольских правителей Китая выступать за уничтожение населения и превращение страны в пастбища. Алтан никогда не проявлял какого-либо интереса к завоеванию территорий в Китае за пределами скотоводческо-аграрной зоны Ордоса и даже давал восхищенные оценки фундаментальным принципам китайской политической культуры. Если бы Цзяцзину когда-либо пришлось в голову прогуляться по Хух-Хото, то на главных воротах дворца он с одобрением прочел бы девиз, отчетливо отражавший прокитайские настроения: «Правление ради цивилизации и развития».

Десятилетия середины XVI века стали тяжелым временем для степи — лишь изредка племена Алтана не испытывали угрозы голода, — превратив вопрос дани и торговли (лошади и меха в обмен на зерно и бобы) в реальное дело жизни и смерти. «Весной, — сообщал один из минских чиновников, наблюдавший за племенами Алтана, — они частенько умоляют наших патрульных купить их скот: одного быка за горсть или примерно столько риса или бобов... Те, кто уж совсем в трудном положении, снимали с себя шубы или приносили шкуры или конский волос, чтобы отсрочить голод еще на один день». Янь Сун, бывший в 1550-х годах главным министром, вероятно, оказался недалек от истины, когда описывал Алтана и его орду как «всего лишь отряд разбойников, охотящихся за едой, — не о чем беспокоиться». Но когда император отказался позволить торговлю, означавшую для монголов выживание или голодную смерть, они излили свою досаду на соседей и утолили голод в набегах по всему северному Китаю.

В 1541 году, не в первый раз, Алтан представил через посланника прошение принести дань. Цзяцзин приказал не принимать прошения, усилил гарнизоны в Сюаньфу и Датуне и объявил награду за голову Алтана. На следующий год Алтан направил нового посланника в Датун, чтобы повторить просьбу. Правильно уловив политические ветры, дующие из Пекина, губернатор арестовал посланника; того выволокли на базарную площадь и порубили в куски. Довольный таким дипломатическим вероломством, император ясно дал понять, что удовлетворен и одобряет такую линию, повысив в должностях и наградив всех, кто был причастен к этому делу.

Алтан-хана разгневал столь возмутительный поступок, и северным провинциям Китая — особенно Шаньси — пришлось на себе испытать ужасные последствия непримиримости китайского императора в течение восьми особенно черных лет, последовавших за кровавым убийством посланни-

ка Алтан-хана в 1542 году. «Разбойники возмутились, — как-то нехотя сообщает «История династии Мин», — и предприняли великое вторжение, вырезая деревни и крепости». Это была самая что ни на есть карательная операция кочевников, обрушивших бурю разрушения на выбранные цели, лишивших деревни всего, что можно было использовать. «Каждый раз, совершая набеги на Китай, они забирали каждый грамм железа и каждую пядь хлопчатобумажной ткани», — сетовал один из чиновников. Вскоре в опустошенной провинции Шаньси — она едва могла прокормить себя и в лучшие времена — начался голод. В течение 1540-х годов монголы все глубже и глубже вгрызались в территорию Китая, жгли, убивали. Но главное, они забирали все, что, как считали, могли получить путем торговли, но в чем им было отказано из-за упрямства Мин: зерно и вещи — и повседневного спроса (металл и посуда), и предметы роскоши (правда, их оказалось до обидного мало в опустошенных приграничных провинциях Китая).

В 1545 году все повторилось: голод, прошение принять дань, жестокий отказ и возмездие — голод и мор на севере заставили Алтана добиваться торговли. Рассчитывая на такую же награду, которая была выдана в 1542 году, слуга одного из чиновников убил монгольских посланников. Император не удосужился хоть как-то серьезно наказать его. В 1547 году головы очередных монгольских посланцев были присланы к минскому двору. Через два года, возвращаясь после набега на Сюаньфу, к западу от Пекина, монголы оставили зловещую угрозу — записка, привязанная к стреле, выпущенной в сторону китайского лагеря, гласила: если торговля не будет возобновлена, монголы в ту же осень нападут на столицу.

Такого тупика в отношениях между китайской империей и степью еще не бывало. Ни одна династия настолько последовательно не отказывалась от контактов с севером — сравним, например, частые даннические миссии, которые

принимал двор династии Хань, посылку принцесс, объезды с процессиями, устраиваемыми Суйским императором. И в скором времени после этого дипломатическая каменная стена стала воплощаться в физические формы. В условиях, когда монгольская ставка в Хух-Хото господствовала над равнинными землями, ведущими к Датуну, минские военачальники в 1540-х годах принялись возводить стены на северо-западе от столицы, на бесплодных равнинах к северу от Датуна и Сюаньфу. Создавалась двойная линия, образующая оборонительный эллипс, который начинался на восточной стороне петли Желтой реки, выдавался на север от Датуна, затем по дуге шел на юг, до соединения с северной частью неподалеку от прохода Цзюйюн. Идея заключалась в том, чтобы защитить районы Шаньси, опустошенные набегами в 1530—1540-х годах, и создать двойную или даже тройную линию обороны прохода к Пекину со стороны Хух-Хото и Ордоса, заполняя прореху в обороне, оставшуюся в северо-западном валу Юй Цзыцзюня (который к 1520—1530-м годам в любом случае уже начинал разрушаться). Хотя местность, где стояла внешняя, самая северная стена, была холмистой — средняя высота составляла тысячу метров — и, соответственно, холодной, сухой и негостеприимной, на отдельных участках она представляла собой совершенно плоскую равнину и не имела серьезных естественных препятствий. К югу шла внутренняя стена, стратегически использовавшая более гористую местность; проход у Яньмэня, непосредственно к югу от Датуна, лежит на линии пиков высотой от полутора до трех тысяч метров. Некоторые из них являются священными горами Китая: например, Утай и Хэн — места паломничества, где сегодня гнездятся буддийские храмы с ярусными крышами. Один из них, Храм, Парящий В Воздухе, беззаботно примостился на перекаладинах, вбитых прямо в скалу.

К 1547 году военачальник, возглавлявший строительство, сообщил: еще несколько месяцев работы, и пятисот-

километровая «преграда, разделяющая китайцев и варваров, будет завершена». По мере хода строительных работ, ведущихся в этом районе другими военачальниками, ромб оборонительных сооружений, намеченных к северу и западу от Пекина, в последние десятилетия династии Мин неуклонно вырастал в восьмисотпятидесятикилометровую стену, в отдельных местах состоящую из участков в две, три или даже четыре линии, которые через каждые несколько сотен метров прерывались башнями и сигнальными вышками. Из оригинальных построек 1540-х годов сегодня можно увидеть сравнительно немного: ни один из земляных фортов вокруг Датуна не обкладывался кирпичом в стиле полюбившейся туристам Великой стены до 1570-х годов. Сегодня меж иссушенных складок, утопленных в унылую коричневую местность вокруг Датуна, видны разрушенные, в основном земляные стены — по большей части непрерывные на протяжении нескольких десятков километров, побитые ветрами, дождями и песком. И опять их либо растащили местные крестьяне, использовавшие землю и камень для строительства домов или устраивавшие в прежних стенах захоронения, либо их порушили во время японских вторжений в 1930-х годах. Но там, где они сохранились, изначальные восьмиметровые фундаменты, слишком широкие для нынешних руин всего в три-четыре метра высотой, позволяют представить физическую статью оригинальных стен, которые выросли из блеклых равнин северной Шаньси. Названия сохранившихся фортов демонстрируют помпезность, присущую оборонявшемуся империализму минского Китая: Внушающий Благоговейный Страх Козлоподобным Варварам, Добывающий Победы.

До конца 1549 года двор плотно сидел в Пекине, уверенный в непогрешимости своего упрямства и в прочности новых рубежных стен. До того момента укрепления, построенные в 1540-х годах, помогали: кочевники Алтан-хана не могли пробиться через несколько сотен километров стены,

прикрывавшей северо-западные подходы к Пекину. Но после этого — когда кочевники доскакали до самой восточной или западной оконечности стен — они стали бесполезны. Пока китайцы не были готовы создать непрерывное ограждение по всему периметру своей территории — план, по крайней мере теоретически, обсуждавшийся в конце века, — и мобилизовать практически все мужское население империи для его охраны (этого династии Мин так и не удалось осуществить), кочевники находили варианты обхода стены и текли, словно вода, по пути наименьшего сопротивления.

К 1550 году Алтан-хан и его монголы сообразили — для преодоления стены им достаточно проехать некоторое расстояние до бреши в оборонительных сооружениях на северо-востоке от Пекина. На западе Датун и Сюаньфу частично еще держались, так как начальник Датун платил кочевникам, голодавшим после пятимесячной засухи, чтобы они не нападали. Однако в конце сентября — в самый сезон для набегов, когда на полях северного Китая колосится урожай и работают люди, беззащитные и уязвимые вне своих городов и городских стен, — монголы вышли севернее столицы и разбили лагерь чуть больше чем в тридцати километрах от Пекина, в Тунчжоу. Этот город стал последним, где минские армии остановились для передышки, прежде чем выбить монголов из Пекина в 1368 году. Кочевники три дня грабили и жгли пригороды столицы. Правда, пригороды — это не сам город, центр управления с кварталом императорских строений. Однако стратегически и символически они были жизненно важными для столицы. Непосредственно к северу от Пекина находилось излюбленное место отдыха минского двора — зеленая, радующая глаз чуть всхолмленная местность с разбросанными по ней павильонами, летними особняками, речками, храмами и заросшими лотосами озерами. Все перечисленные красоты тянулись на протяжении нескольких десятков километров вдоль многочисленных поселений с их повседневной жизнью и производством. Да-



лее спокойная местность переходила в дикие, поросшие кустарником горы, по которыми извивалась Великая стена, какой ее представляет всеобщее воображение. В качестве последнего оскорбления Алтан 30 сентября лично во главе семисот солдат подошел к северному фасу городской стены и постучался в ворота Аньдин (Ворота Спокойствия И Безопасности), изначально предназначенные служить триумфальными для императоров, возвращавшихся из победоносных походов на север.

Паника и злоба распространились по всему городу. Пока горожане беспомощно смотрели с башен над городскими воротами, как горят пригороды, самые богатые из них — думая о своих владениях к северу от города — громко сетовали на то, что чиновники прячут армию и позволяют монголам безнаказанно бесчинствовать. Они были правы: главный министр Янь Сун посоветовал военному министру не посылать войска из столицы. Он указал: если военные поражения рядом со степью или в степи, в сотнях километров от китайских гражданских очевидцев, могут быть объявлены при дворе великой победой, поражение под городской стеной скрыть от толп, глазающих с парапетов, будет невозможно. Расчетливо спасая лицо, Янь также основывал свою позицию на практических моментах. Хотя по официальным спискам столичные войска насчитывали сто сорок тысяч человек, к воинской службе привлекли значительно меньше половины этого числа; остальных зачислили в строительные рабочие (не обязательно в интересах государства: солдат частенько своевольно забирали высокие сановники или евнухи для собственных целей). Те, кого собрали для боя в 1550 году, представляли собой жалкую толпу. «Хроника династии Мин» повествует: армия из пятидесяти — шестидесяти тысяч человек, выведенная против врага, «начала хныкать и пускать сопли при виде монголов и отказалась драться. Лица офицеров посерели, военные не могли ничего поделать, только в ужасе, раскрыв рты, смотрели друг на друга».

Для прибывшего подкрепления в городе не оказалось провизии, и голодные помощники просто присоединились к орде грабителей, хватая все, что попадалось под руку.

Цзяцзин никого не щадил, раздавая обвинения. 2 октября он объявил через глашатаев от южных ворот Запретного Города — с той стороны, которая сегодня смотрит на пространство площади Тяньаньмэнь, — что все его чиновники безответственны и коррумпированы. 6 октября заробевшего сражаться военного министра казнили и заменили прагматичным губернатором Датуна, подкупившим монголов, чтобы те прошли мимо крепости, находившейся под его командованием. Видимо, только личное несчастье спасло голову Вэн Ваньда — официального надзирателя за новыми стенами вокруг Датуна — от прямых обвинений императора: после смерти отца он в 1549 году оставил двор и должность и вернулся справить траур в родную провинцию Гуандун, на юге.

Алтан отправил пленного китайца передать императору еще одно послание, где вновь просил разрешения принести дань (на самом деле торговать). Не желая, как всегда, опускаться до контактов с варварами, двор ловко обвел Алтана вокруг пальца. Сначала китайцы ушли от прямого ответа на просьбу, изложенную в письме, поставив под сомнение его подлинность на том основании, что оно было написано не по-монгольски. Потом они потребовали от Алтана вернуться в Монголию и передать просьбу о торговле по принятым бюрократическим каналам — через губернатора пограничного города Сюаньфу.

Поразительно, но Алтан-хан, поставивший на колени весь северный Китай, согласился с их требованием и покорно покинул пригороды столицы. Как можно было предсказать, император так и не пошел на желанное торговое соглашение. Поддавшись приступу дипломатического реализма после похода хана на Пекин, в 1551—1552 годах Цзяцзин позволил открыть торговые рынки, но уже в 1552 году, когда

ему снова стало тошно от унижительной сделки с варварами, пересмотрел свою новую политическую линию, казнил чиновников, ответственных за открытие рынков, и запретил всем даже упоминать о возможности торговли с монгольскими ордами, заявив: всякий чиновник, позволивший работу рынков, будет наказан смертью. Набег следовал за набегом, а реалистично настроенные пограничные чиновники, которым приходилось иметь дело с последствиями императорского упрямства и которые возражали против бескомпромиссной политики, пребывали в страхе за свою жизнь. Ян Шоуцян, один из военных чиновников с северо-запада, вспоминал: «Губернатор Датун был сурово наказан за то, что допустил контакты с иностранными варварами... все, занимающие ответственные посты, боятся». Даже относительно сговорчивые, выступавшие за торговлю чиновники глубоко усваивали современную им культуру расового презрения, называя монголов алчными «собаками и баранами», тающими «звериные желания, глубокие, как горные ущелья».

Результатом такой политики, помимо кровопролития — только в 1567 году десятки тысяч китайцев были убиты в ходе монгольских набегов на Шаньси, Хэбэй и район Пекина, — стало завершение сооружения стены по границе Китая к востоку от Пекина с целью заткнуть брешь в обороне, где монголы пробрались в 1550 году. Прежде эта часть границы оставалась открытой на протяжении тысячи двухсот километров. И пока эта брешь заполнялась каменными валами и тысячью двумястами башнями, существовавшие форты на западе укреплялись материалами столь же твердыми, как правительственная политическая линия: в середине — конце XVI века поднялась Великая стена не из утрамбованной земли, а из кирпича и камня — в том виде, в каком ее знают сегодня. Но даже при всем том она меньше впечатляла своих строителей, чем впоследствии туристов: как и Юй Цзыцзюнь до них, современники называли сформировавшуюся стену династии Мин не Великой или даже Длинной, а просто Ру-

бежной или Девятью пограничными гарнизонами. В ней видели девять опорных пунктов, расположенных между Ляодуном и Хэбэем на востоке и Ганьсу на западе и соединявшихся между собой стенами.

Последние, северо-восточные, дополнения к стене остаются показательными участками всего сооружения длиной более шести тысяч километров, являя известные на весь мир пейзажи со стеной из камня и кирпича, змеящейся по хребтам заросших кустарником гор. Одновременно вышел приказ приступить к дорогостоящим и долгим работам по восстановлению стены дальше на запад: три года и четыреста семьдесят унций серебра за каждый километр в Сюаньфу, пять лет и общая стоимость четыреста восемьдесят семь тысяч пятьсот унций серебра вокруг Датуна. В 1576 году обновление стены на северо-востоке считалось необходимым. Начиная с того времени и до падения династии Мин в 1644 году было построено из кирпича несколько протяженных и наиболее впечатляющих из дошедших до наших дней участков стены: в 1608 году — Башня Подавления Севера неподалеку от Юйлиня на северо-западе; в 1574 году — Великие Северные Ворота Столицы, кирпичный арочный проход высотой двенадцать метров в Чжанцзякоу — на полпути между Хух-Хото и Пекином, Китаем и Монголией, — устроенный во внешней линии стены; в том же году — южные ворота Форты Завоевания Победы возле Датуна, опять же поднимающиеся над землей на двенадцать метров, украшенные крупными иероглифами, означающими «Гарант», вырезанными с внешней стороны стены, и «Добывающий победы», самоуверенно высеченными на ее внутренней стороне.

От западной оконечности стены посреди пустынного оазиса Цзяюйгуаня до конечного пункта на востоке, где она подходит к береговой линии в Шаньхайгуане, каждый бастион, форт, амбразура, каждая доска с иероглифами на минской стене, похоже, рассчитаны стать материализованным

заявлением страны, чей покой она охраняет, и минского правительства, задумавшего ее строительство: разграничить, включить и исключить.

Эти две крепости на оконечностях стены с самого начала несли на себе практически идентичные именные доски, надписи на которых отражали бескомпромиссное культурное самомнение, царившее на тысячах километров разделявшей их рубежной линии. На дальнем западе, на воротах Цзяюйгуаня, доска (уничтоженная в XX веке) некогда извещала всех: «Первый укрепленный проход в Поднебесной»; в Шаньхайгуане, на востоке, обращенном к морю, сохранившаяся надпись все еще объявляет волнам и скалам, что это «Первый проход в Поднебесной». Архитекторы стены посвятили свою работу очевидной цели: установить пределы (цивилизованного, китайского) мира. Своими загнутыми крышами и опрятными ровными стенами и Цзяюйгуань, и Шаньхайгуань с чисто китайской напыщенностью извещают — стена подходит к своей официальной конечной точке. Даже несмотря на то что укрепления в действительности уходят дальше, исчезая в западной пустыни и поворачивая в сторону Маньчжурии на северо-восток, эти два прохода оказались эффектными, запоминающимися ограничителями стены. Оба являются сложными укрепленными комплексами — западный занимает два с половиной квадратных километра, восточный — почти полтора квадратных километра, — каждый представляет собой комбинацию ворот, башен, служебных построек и даже, как в случае Шаньхайгуаня, храмов. Цзяюйгуань, изогнутые скаты трехъярусных башен которого размещены в идеально правильном квадрате украшенных амбразурами стен, выглядит несколько чужеродным, вырастая из западной пустыни, словно построенный из песка знаменитый китайский замок, перенесенный из тесноты лоскутного, земледельческого Китая. На востоке серокоричневые кирпичи — характерный цвет, получаемый при китайской технике обжига — главного форта Шаньхайгуа-

ня стояли щитом от побережья и гор к северу. Его довольно мрачные, слепые, похожие на тюремные стены завершались — опять немного неуместно — изящно изогнутыми скатами крыш, характерными для китайской архитектуры. В Цзяюйгуане, на воротах, обращенных на восток, видна надпись: «Ворота в Блистательную Цивилизацию»; другая надпись над воротами, смотрящими на запад, в духе патерналистского империализма возвещает: «Доброжелательно относиться к далеким странам». Все шесть тысяч километров законченной минской стены своей архитектурой и архитектурой стоявших при ней фортов являются памятником самосознанию страны, которая ее возвела: единой культуре и психологии, по крайней мере теоретически, объединявших территорию радикальных естественных контрастов, состоявшую из пустынных оазисов на западе и поросших лесами гор на востоке.

Однако не следует воображать, будто стена, ныне заросшая и местами разрушенная до основания — в наши дни суровые слепые ярусы громадной Башни Для Подавления Севера лихо щеголяют густой травой и даже странным образом храбро проросшим сквозь них деревом, — когда-либо проходила по данной территории в качестве унифицированного или даже просто непрерывного сооружения. Термин «Великая стена» — если вообще и употреблявшийся минскими строителями, то крайне редко — вызывает в воображении некую монолитную преграду с бойницами, протянувшуюся с запада на восток в стиле наиболее известных северо-восточных участков стены. Однако, как указывает одно из названий минской стены того времени, Девять Пограничных Гарнизонов, оборона по главной линии прохождения стен организовывалась вокруг ключевых пунктов. В некоторых местах линия обороны существовала в виде одиночной, двойной или даже тройной стены, на отдельных участках петлявшей совершенно непонятным образом, с разрывами и брешами, которые были прикрыты башнями, форта-

ми и укрепленными пунктами, частью отстоявшими к северу или югу от главной линии.

Идя на восток, от песков Цзяюйгуаня, стена охраняет тысячи километров границы, зоны, где соседствуют китайцы и некитайцы. В Шэньси и Шанси, провинциях, на которые приходилась львиная доля как торговли с кочевниками, так и их набегов, вокруг стены поднимаются башни, сторожевые пункты, с чьих стен контролировались обмены с варварами — на них официальные власти в лучшем случае нехотя закрывали глаза. Красноречивым памятником чиновной подозрительности к такой торговле являются гнетуще высокие, напрочь лишённые украшений стены Башни Для Подавления Варваров, построенной для надзора за обменами между монголами и китайцами на ярмарках лошадей. Этот западно-центральный отрезок стены частенько навевает ассоциацию с классической территорией дикой границы: голая ровная местность, пересекаемая неожиданными крутыми оврагами, помеченная руинами давно заброшенной стены — забытыми символами старой внешнеполитической линии.

Если в западном направлении стена порой появляется в виде сооружения из утрамбованной земли, проходя по равнинам и плато, из которых для нее и был взят материал, то к северу и востоку от Пекина она поддается нарочитому эксгибиционизму, словно не в силах устоять перед тем, чтобы не продемонстрировать мастерство китайских архитекторов и строителей. Здесь возведенные из кирпича и камня зубчатые коридоры порой доходят в верхней части до четырнадцати метров в высоту и шести — в ширину. Простроченные скошенными бойницами для лучников и смотровыми щелями и перемежающиеся фортами и башнями, подъемами и спусками, они, как-то зацепившись на разрезающих местность хребтах гор, вьются в восточном направлении к морю. На всем протяжении они венчают высоты, порой уходя в сторону от основного направления к побережью извилистыми ответвлениями вспомогательных укреплений,

подпирающих главную линию. Это те виды Великой стены, которые вызывают всеобщее восхищение и которыми заполнены страницы путеводителей. Их образчиком являются Бадалинь или Мутяньюй, подретушированные, наиболее посещаемые туристами участки стены в нескольких десятках километров к северу от Пекина.

Крюк к соседним, более разрушенным участкам — в Цзиньшаньлине или Сыматае, например, — дает лучшее, неприкрашенное ощущение виртуозности строителей стен. Здесь, где проход по стене не вымощен аккуратными ступенями, рабочими, нанятыми государственным бюро по туризму, где зубцы не везде заляпаны свежим коммунистическим цементом, где растут естественные, а не заботливо высаженные деревья и кусты, которые местами пробиваются наружу сквозь каменную кладку, где проход, по которому вы идете, не везде успокаивающе прикрыт стеной по обеим сторонам, а порой осыпается по крутым склонам, вы получаете более отчетливое представление о труднодоступности местности, о цепкости клочковатой растительности, пронзающей кладку, об узости и крутизне хребтов, по которым вьется стена. Здесь, где нет канатных дорог, вам приходится подниматься в гору так, как это делали прежние строители — солдаты или крестьяне, выполнявшие свою трудовую повинность, или заключенные. Чтобы хоть отдаленно прочувствовать их усталость, поднимите двадцатикилограммовую каменную плиту и получите близкое ощущение. Когда вы остановитесь перевести дух на одной из башен, вырастающих через каждые шестьдесят — двести метров, и посмотрите в иззубренные осколками кирпича полукруглые окна, вам будет легче ощутить обособленность строительной работы, одиночество охраны стены, тишину, которая, возможно, предшествует схватке, если представить готовых к набегу захватчиков, затаившихся в густой растительности ниже по склону.

Как они это делали?



Стеностроительство всегда выдвигало перед китайскими правительствами логистические проблемы — прежде всего, как найти и прокормить необходимую рабочую силу. Однако новая минская стена породила трудности совершенно иного уровня. В прошлом, даже при Юй Цзыцзуне в XV веке, китайские стены возводились из материала, который можно было взять на месте: утрамбованную землю или тростник, облицованные местным камнем или деревом. Но минские стены конца XVI века, построенные из кирпича и каменных плит и снабженные дополнительными башнями, отстоящими друг от друга на двести пятьдесят—пятьсот метров, сигнальными платформами и массивными кирпичными фортами, были совсем другим делом. Для их строительства требовались бóльшая по количеству и более квалифицированная рабочая сила, а также ресурсы — обширная сеть мастерских по обжигу кирпича, каменоломни и транспортные пути неизбежно вздували количество потребного правительству серебра.

С тех пор как на севере китайской империи были построены стены, процесс строительства оброс толстым слоем фантастических легенд — вспомним старинные рассказы о волшебном коне и кнуте Ши-хаунди, или о создании им девяти солнц, чтобы заставить рабочих трудиться непрерывно, или о том, как Великая стена возникла из уставшего дракона, упавшего на землю, — как будто подвиг такого монументального строительства, как возведение длинных рубежных стен, не под силу простым смертным. Ни одна стена других династий не окутана таким количеством мифов, как минская, и особенно ее кирпичная версия XVI века.

Сказочные разъяснения самых головокружительных подвигов при строительстве минской стены, предлагаемые народными летописцами, сводятся к следующей формуле. Отчаявшийся надсмотрщик, который не может ни есть, ни спать из-за страха наказания, ожидающего его, если он не

сумеет в срок закончить свой участок стены, беспокойно бродит по ночам среди холмов и рек в районе строительной площадки, пока не встречает некоего таинственного старца. И тот, спросив надсмотрщика о причине столь явного страдания, предлагает построить стену за него. Конкретная природа помощи старца варьируется из сказания в сказание. В одном из рассказов о строительстве прохода Цзыцзин (буквально Фиолетовая Ежевика), примерно в ста десяти километрах к западу от Пекина, старец плетет проход из ежевичника, через несколько дней чудесным образом превращающегося в каменный. В другом повествовании старый даос призывает армию солдат-призраков, чтобы помочь правительственному чиновнику отринуть страх, который обуял того, когда он пытался построить шлюзовые ворота в особенно труднопроходимом ущелье.

Иногда на помощь приходят фантастические животные. В одном сказании раскрывается тайна того, каким образом строительные материалы доставлялись на участок стены в Хуайжоу, проходивший по холмам и горам к северу от Пекина. Горная местность здесь делала невыполнимым подъем огромных, тяжелых каменных плит, не было поблизости и ровных площадей земли, из которой можно было бы делать кирпичи. Надсмотрщик ничего не может поделать, пока один местный житель, Ли Ган, не сообщает ему о расположенном в десяти километрах подходящем поле. Его посылают делать кирпичи. Пока все хорошо, однако тут Ли Ган оказывается перед проблемой, как подвозить кирпичи строителям в горах. К своему счастью, он засыпает, и ему снится, будто фея из Лотоса дает ему кнут и требует отправиться за Лotosовую Гору и взять волшебного вола, который поможет ему перевезти кирпич. Ли Ган отправляется в путь, и, как было обещано, мощный вол перевозит десятки тысяч кирпичей. Поздравив вола с таким подвигом, Ли Ган просыпается и видит — кирпича на месте нет. Он спешит на место стройки, и — о чудо! — его рабочие уже кладут кирпич. По другой

легенде некое божество ударяет кнутом по нескольким огромным каменным плитам, превращая их в горных козлов, и тогда они сами взбираются по склону наверх. Когда они добираются до вершины, божество снова бьет их кнутом, и те опять оборачиваются камнями, послушно ожидая своего превращения в башни и стены.

Исходя из природы местности и использованных при стеностроительстве материалов, можно описать условия работ в более реальных терминах. Там, где это было доступно, материал добывался поблизости и использовался в возможно менее обработанном виде: земля, камни, дерево и тростник применялись для заполнения или облицовки стены. Базовая строительная технология оставалась прежней и знакомой: трамбовка имевшихся под рукой материалов между стенками, сложенными из дерева, камня или кирпича, в идеале обожженного из местной глины. Для скрепления кирпичей в облицовке применялось несколько видов раствора, но в одном знаменитом рецепте, который был в особом почете у китайских строителей стен, точно применялся клейкий рис. В некоторых местах, особенно на холодных, открытых пространствах бассейна Желтой реки, от стены сохранилась лишь земляная основа. Внешняя защитная оболочка либо выветрилась, либо ее растащили местные жители для своих нужд, либо она вообще не существовала, а стена изначально была не более чем плотно спрессованной земляной насыпью. Однако далее на восток и глубже в историю династии Мин насыпные стены начинали приобретать кирпичную облицовку. В местности вокруг Датуна, которую первой сильно укрепили в XVI веке, лишь пятнадцать из семидесяти двух больших фортов были построены до 1425 года; пятьдесят два возвели в основном между 1540 и 1570 годами; что касается остальных, то твердая облицовка там появилась в последние семьдесят лет существования династии. В открытых, равнинных районах местную почву можно было копать и обжигать в кирпичи. В небольших куполо-

образных печах, поставленных возле строительной площадки, этот процесс занимал от восьми до четырнадцати часов. Если поблизости не находили подходящей открытой местности, кирпичи приходилось перевозить издалека — один кирпич, обнаруженный у западной оконечности стены и имевший печать, на которой помечены дата и место обжига, был произведен в восьмидесяти километрах от нее. По достаточно ровной местности кирпичи — самый крупный размером 60×24×18 сантиметров — могли переноситься людьми или перевозиться на животных: вьюками, телегами, тачками или, если в удобной близости имелись реки, лодками. При переноске вручную почетом пользовалось коромысло: две корзины, подвешенные на веревках или цепях к концам жерди, укладывавшейся на плечи. Там, где местность была изрезана в такой степени, что передвижение с тяжелым грузом становилось неоправданно опасным для человека, образовывалась живая цепочка, по которой материалы передавались по склонам горы из рук в руки. Где рельеф местности делал практически невозможным использование кирпича, строители фактически вырезали стену из вершины горы.

Высоту стен определял характер местности: на относительно открытой местности стены были выше (семь-восемь метров), чем в горах, где хребты, на которых устраивались фундаменты, обеспечивали стенам естественные оборонительные преимущества и требовали от них высоты не более нескольких футов. Во всех случаях, однако, поверхность, на которой планировалось возводить стену, должны были предварительно выровнять при помощи рядов камня или кирпича. Полы по верху стен, где возможно, мостились, чтобы по ним можно было передвигаться верхом — в самых широких местах, на каменных стенах к северу от Пекина, по пять лошадей в ряд. Где применялся кирпич, по верху всего строения устраивалась зубчатая стенка с амбразурами, обеспечи-

вая прикрытия, из-за которого патрульные или стражники могли смотреть наружу.

По всей стене на определенном расстоянии поднимались платформы, башни или форты — к северу, югу и устроенные в самой стене, — имевшие самые различные функции, но, являясь частью сложной тактической оборонительной структуры, эти сооружения использовались для наблюдения, связи, боя и в качестве укрытия. Частота таких постов зависела от рисков безопасности, которые несла окружающая местность: в местах, грозящих военной опасностью, башни могли отстоять друг от друга всего на тридцать — пятьдесят шагов, хотя нормативное расстояние, видимо, было где-то между пятьюстами метрами и четырьмя километрами. Сигнальные станции, естественно, должны были располагаться в пределах видимости и слышимости друг от друга; сигнал тревоги можно было подать дымом (в дневное время), огнем (ночью) или выстрелом пушки. Если эти сигналы работали адекватно, рубежная стена становилась системой связи, которая, теоретически, объединяла западную окраину Китая с восточной: уже при династии Тан сигналы могли передаваться за один день и ночь примерно на тысячу километров. Хотя мало известно о том, как именно работали сигнальные башни — минские источники в действительности рассказывают мало конкретного о природе сигналов, либо чтобы сохранить их в тайне, либо потому, что коды и без того хорошо знали те, кто их использовал, — устав эпохи Тан намекает на особенный характер этой системы, описывая три костровые «клетки», устанавливавшиеся на башнях, которыми утром и ночью передавалось сообщение о спокойствии (один костер), информация об опасности (два костра) и о реальном приближении боя (три костра). В одном из военных руководств эпохи Мин дается разъяснение, каким образом тревога передавалась от границы к политическим центрам: «На каждой наблюдательной башне, будь то день или ночь, три человека будут иметь на руках три факела,

одну пушку размером с кубок и два ручных орудия. Если за границами или на морском берегу патрули встретятся с десантным отрядом противника, в дневное время они станут, подавая сигнал, махать флагами и стрелять из пушек; в ночное время они, подавая сигнал, зажгут факелы и станут стрелять из пушек. Люди на башнях легко примут сигнал и в дневное время выставят двенадцать больших белых флагов, а на соседних башнях поднимут огромный флаг. Эти сигналы в одну сторону должны дойти прямо до префектуры, в другую — до поселения, где расположен военный штаб. В случае если в дневное время небо затянуто тучами или стоит туман, так что флаги невозможно увидеть, они должны зажечь заранее приготовленные вязанки камыша. Они станут зажигать их в определенной последовательности: если горит одна вязанка, а на соседней башне в ответ зажжен свой костер, то они могут на этом остановиться; но если соседняя башня не зажгла в ответ свой костер, они должны поджечь следующую вязанку камыша. Если тревога случится ночью, патрули на наблюдательных башнях вблизи моря пускают горящие стрелы, поднимают шум и поджигают только одну вязанку камыша, потому что в ночное время огонь должен быть ярким и потребности во втором костре нет. Соседние башни также немедленно зажигают по травяному костру. От башни, расположенной в непосредственном месте появления противника, посылается человек, который кратчайшим путем направляется к местоположению командования и другим официальным пунктам, чтобы сообщить о численности противника, а также время и обстоятельства его высадки».

У сигнальных башен также имелись коды для передачи информации о численности приближающегося противника: один костер и один пушечный залп — до ста нападающих; по два костра и выстрела — от пятисот до тысячи; три — тысяча и более; пять — десять тысяч.

Башни разнились по размерам: некоторые приказывали строить вдвое выше стены, другие высотой в девять метров или в половину этой высоты. Существовали две основные разновидности: монолитные (фактически являвшиеся платформами для наблюдения и боя) и пустотелые (возможно, служившие складами, сигнальными башнями и жилыми помещениями). И хотя строить их было труднее, пустотелые башни выполняли больше функций, чем монолитные, к тому же у них не существовало таких серьезных недостатков с точки зрения безопасности, как у монолитных башен — если патрулю приходилось быстро отступить к стене, спасаясь от противника, цельная башня не могла предоставить убежище. Стражники могли добраться до безопасного места, лишь спустившись по стене на веревках. В 1553 году, после стычки с отрядом монголов неподалеку от Датуна, некий китайский солдат едва спасся живым — его подняли на веревках по внешней стене башни солдаты, составлявшие ее гарнизон. В пустотелых башнях, приспособленных для того, чтобы в течение месяцев служить жильем для стражников, имелись запасы — кровать, чашки, тарелки, вода, зерно, соленые овощи, топливо (в основном бычьи или волчьи экскременты). В пустотелых башнях также мог быть устроен бункер с окнами, дающими возможность отстреливаться — из луков или ружей — от приближающихся налетчиков. Сигнальные башни могли вместить от пяти до десяти человек обслуживающего персонала, в то время как башни для наблюдения или для боя функционировали как миниатюрные гарнизоны, укрывая в себе пятьдесят и более человек; среди самых больших следует отметить Башню Для Приема Далеких Народов в Сифэнкоу на восточном участке стены — громадное сооружение, способное укрыть десять тысяч человек.

Таков был замысел, хоть и не обязательно реальная работа имперской схемы. Взять, например, Башню Для Приема Далеких Народов, разрушавшуюся в течение последнего столетия (или около того) правления династии Мин и

выступавшую в глазах проходивших мимо монголов всего лишь символом упадка Китая. На протяжении напряженной эпохи минского стеностроительства ремонтировать стену приходилось так часто, что она фактически не могла эффективно функционировать как единое целое на всем своем протяжении.

Расходы оказывались неизбежно огромными: участок стены, строившийся на востоке в 1560—1570-е годы, начинался с запланированного бюджета в шестьдесят пять тысяч унций серебра. Также требовали постоянного финансирования ремонтные работы на стенах как на востоке, так и на западе: в 1574 году почти двадцать одна тысяча унций серебра была вложена в укрепительные работы на восточном участке. На дальнейшее строительство укреплений в 1576 году планировалось затратить больше трех миллионов трехсот тысяч унций серебра — значительно больше трех четвертей годового дохода центрального правительства в конце шестнадцатого столетия. Минское правительство неизменно недофинансировало данные проекты — в 1576 году министерство выдало какие-то жалкие пятьдесят четыре тысячи шестьсот унций серебра, полагая, что все равно результаты, возможно, и не будут столь впечатляющими, как того хотели бы строители.

Такая скупость, видимо, объясняет легкость, с какой маньчжуры прорывались с северо-запада, постепенно завоевывая Китай в 1620—1644 годах: реальное состояние минской стены (в чем нет никаких сомнений!) далеко не соответствовало идеалу. Однако эта линия аргументации содержит слишком много веры в базовый стратегический смысл стеностроительства. Слабость династии Мин более трагически связана с людьми, направлявшими пограничную политику, и с солдатами, служившими на границе. К концу шестнадцатого столетия минская армия пребывала в состоянии бесхозности — ей недодавали денег, она отличалась плохой организованностью и недисциплинированностью — и



не могла противостоять удару маньчжурских войск. Продление минских стен привязало китайцев к политике статичной обороны, в принципе непригодной для противостояния в высшей степени мобильным противникам, которые, как продемонстрировал в 1550 году Алтан-хан, неизменно игнорировали сильно укрепленные пути в пользу неприкрытых.

Политические и социальные последствия заслоненной стеной напряженности между китайцами и монголами были очевидны для каждого, кто провел хоть какое-то время вблизи границы. «Трупы солдат валялись на полях, — отмечал пограничный чиновник в 1570-х годах, — повсюду бродили бездомные люди, города и поселки лежали в руинах, запасы продовольствия иссякли, пограничные чиновники не могли защитить даже себя самих, а императорский двор был настолько занят, что у него не оставалось времени поесть».

Однако в 1571 году у китайцев в руках появился серьезный дипломатический шанс, за который и ухватились два политика, достаточно умные, прагматичные и смелые, чтобы доказывать — простым сидением за стенами мира ни за что не добиться: только дипломатия и торговля могут заставить север повиноваться. Разъяренный тем, что обещанную ему невесту выдали замуж за другого кочевого царя, любимый внук Алтана бежал в Китай и сдался. Главный министр Мин, Чжан Цзюйчжэн, вместе с одним из губернаторов с северо-запада, по имени Ван Чунгу, убедил двор использовать внука в качестве рычага давления на Алтана, убедив его принести клятву верности Мин в качестве данника и купив его добросовестность открытием пограничных рынков. Алтан с радостью ухватился за это предложение, согласившись даже переименовать свою столицу Хух-Хото — базу, с которой он десятилетиями набрасывался на Китай, — по унижительному для него выбору китайцев, в Гуйхуачэн (Город, Вернувшийся В Лоно Цивилизации). 13 июня 1571 года на Террасе Пасущихся Лошадей, прямо перед стенами Да-

туна, чей гарнизон он терроризировал все последние сорок лет, Алтан был наречен Шуньи-ваном — Послушным И Добродетельным Принцем. «Слушайте, восемьсот тысяч конных войск Китая и четыреста тысяч конных войск северных варваров, — провозгласил Алтан-хан перед всеми, кто его слышал. — Никогда больше мы не будем покушаться на границы Китая». Произошел обмен данью и подарками, и торговцев из южного Китая пригласили для торговли на северной границе, а Чжан Цзюйчжэн надеялся воспользоваться возникшей передышкой для улучшения пограничной обороны. «С тех пор, — сообщает «История династии Мин», — страдания пограничных районов прекратились. С востока на запад все солдаты и гражданское население семи пограничных районов на протяжении нескольких тысяч ли линии границы переживали счастливые времена. Оружие не применялось, военные походы сократились на семьдесят процентов».

К 1582 году, однако, и Чжан Цзюйчжэн, и Алтан-хан умерли, а вместе с ними умерло и их стремление к компромиссу. Снова стала нарастать напряженность, а с ней количество войн и расходы. Окончательно разложившаяся армия Мин осталась беззащитной перед лицом новой великой силы, поднимавшей голову на северо-востоке, где среди рек, полей, лесов и степей Маньчжурии одна мелкая племенная рыбешка по имени Нурхацци приступила к строительству империи. Спустя шестьдесят лет Пекин будет добавлен к завоеваниям его династии, однако не без помощи важной бреши в пограничной стене, созданной неким У Саньгуем, китайским стражем основного прохода между Китаем и Маньчжурией, который в 1644 году отрекся от умиравшей династии Мин с их многочисленными стенами и пригласил маньчжурских завоевателей в Серединное Царство.



## Глава десятая

### *Великое падение Китая*

Любой, кто решил прогуляться по Шаньхайгуаню, проходу в пограничной стене, контролировавшему доступ от полей, лесов, степей и рек полуварварской Маньчжурии к земледельческим равнинам северо-восточного Китая, примерно во время китайского нового, 1644 года, видимо, не ощущал в сети его зеленовато-коричневато-серых стен ничего тревожного. Для тех, кто работал на обнесенной стенами крепости, жизнь, вероятно, шла в основном как обычно — на работу, с работы — примерно с 1381 года, когда династия Мин приступила к строительству форта на восточном побережье: трамбовалась земля, обжигались и перетаскивались кирпичи, строились и укреплялись стены. Даже сегодня, лишь частично сохранившись, стены вокруг города составляют в длину четыре километра триста метров, в высоту четырнадцать метров, а в ширину — семь и сходятся у центрального сооружения ансамбля, двухэтажной крепости, гордо объявляющей себя Первым Проходом В Поднебесной. Ее слепые, монолитные четырнадцатиметровые бастионы венчаются тяжелыми загнутыми скатами. В 1644 году они должны были выглядеть еще более устрашающе-спокойными. В предыдущем столетии планировщики, которые пек-

лись о безопасности, усилили обращенную на запад заднюю часть форта воротами Гунчжэнь мэнь (Ворота, К Которым Приходят Поклониться Пограничные Племена). Начав в 1643 году и продолжив в 1644 году, строители укрепляли новые ворота, символизировавшие имперское гостеприимство, еще одной внешней стеной, обращенной на запад (оба сооружения давно обрушились). Думается, если бы позволили обстоятельства и время, к внешней стене достраивали бы новые и новые укрепления, лишь бы только смягчить тревоги минских проектировщиков по поводу границы.

В истории не зафиксировано, что было на уме у тех, кого согнали на работы по самому последнему укреплению стены в минусовую температуру, обычную для января на северо-востоке Китая: ощущали ли они, помимо обычной усталости, болей в спине, плохой одежды и еды, грубости надсмотрщиков, тщетность всего предприятия накануне конца династии; понимали ли, что строят бесконечные ненужные стены вокруг безнадежно прогнившего политического центра. Однако возможно, даже вполне вероятно, на восток стали доходить слухи о катаклизмах, потрясавших центр мира, Пекин: что беспорядки, начавшиеся пятнадцать лет назад в Шэньси, охватили весь северный и центральный Китай, что бунтовщики вот-вот захватят столицу, что минская династия, обанкротившаяся и покинутая своими чиновниками, находится при последнем издыхании, что бывший пастух взял да и объявил себя Сыном Неба. Строители в Шаньхайгуане почти наверняка уже знали — их крепость является практически последним минским бастионом в северо-восточном Китае. Маньчжурские варвары в последние двадцать — тридцать лет один за другим захватывают китайские опорные пункты на северо-востоке, а сейчас нависают над Шаньхайгуанем, ожидая момента, чтобы разрушить последнюю крепость и забрать себе труп минской династии. И все же они продолжали работать.

В тот же день нового года в тысяче ста километрах от Шаньхайгуаня, в древней столице Чанъань, проходила церемония провозглашения новой династии, Шунь. После восьми с лишним лет непрерывного разграбления северного Китая Ли Цзычэн, бывший пастух, почтальон, а затем предводитель мятежников, родом из Шэньси — северного оплота многих наиболее удачливых завоевателей Китая, узурпаторов власти и революционеров, — набрался решимости присвоить себе Небесный Мандат, брошенный прогнанными Минами. Ли, любивший называть себя Лихим Принцем (Чуан-ван), фактически не представлял, как управлять страной, зато выдвинутый им лозунг приводил под его знамена всех бойцов, с которыми сталкивались его войска: за справедливость для простых людей, против вымогательств минского правительства. Между ним и Пекином лежало восемьсот километров с деревнями и поселениями, чьи жители уже напевали оптимистические гимны, славя в них, в ожидании освобождения от тяжкого гнета налогов и трудовой повинности, Лихого Принца.

Где-то в трехстах семидесяти пяти километрах к северо-востоку от Шаньхайгуаня, в городе Мукден (Маньчжурия), другая семья, алчущая трона, готовилась нанести свой удар по минской столице. Маньчжурская династия Цзинь, как и Ли Цзычэн, не могла похвастаться высоким происхождением: всего несколько поколений назад они были полукочевыми торговцами женьшенем и вели свой род от разложившихся варваров, изгнанных из Китая монголами в 1230-х годах. Однако амбициозность, дерзость и безжалостная воинская дисциплина за три десятилетия превратили их вождя, Нурхаца, из мелкого князька, имевшего всего лишь тринадцать комплектов доспехов для снаряжения своих приверженцев, в основателя и правителя маньчжурского государства, полностью независимого от минского Китая. Довольно скоро Нурхаца, как и многие маньчжурские претенденты до

него, стал бросать жадные взгляды на сам Китай. В 1629 году маньчжуры дошли до самых пригородов столицы, но отступили из-за нехватки войск и пушек. Однако, уходя к себе на северо-восток, они угоняли с собой китайских специалистов в области артиллерии, чьи знания дадут им ключ для преодоления минских укреплений, до тех пор сдерживавших их. В течение следующего десятилетия — годы ушли в основном на то, чтобы бить и медленно разрушать форты и стены, составлявшие минскую линию обороны за Шаньхайгуанем, — маньчжуры, тщательно выбирая время, сосредоточились на том, чтобы показать себя способными управлять Китаем: поощряли находившихся под их юрисдикцией китайцев к занятию земледелием, а не охотой на зверей и птиц; создали правительство, являвшееся зеркальным отражением минского; организовали экзамены для набора чиновничества; выбрали династии новое имя, Цин, звучащее так же обнадеживающе, как и Мин. Они даже построили собственный Запретный Город в своей столице, Мукдене. Хотя дворцовый комплекс, располагавшийся на двенадцати акрах, составлял лишь десятую часть от пекинского оригинала, его низкие красные стены и крыши с тяжелыми скатами и желтой черепицей были придавлены тем же чванством, что и их более старый и массивный китайский предшественник. Маньчжурам оставалось лишь пребывать в постоянной готовности к броску на Китай, пока тот рвал себя на части. Им не пришлось долго ждать.

Примерно в трехстах километрах к западу от Шаньхайгуаня, в Пекине, складывалась именно та катастрофическая ситуация, на которую рассчитывали враги династии Мин на востоке и западе. Когда Ли Цзычэн со своей миллионной армией готовился к последнему наступлению через северный Китай, столицу, казалось, обволокла атмосфера апокалипсиса. Склонность горожан к слезливой сентиментальности обострилась благодаря превратностям пекинской

зимы — температуры опустились до двадцати градусов по Цельсию и сопровождались секущими ветрами с песком. Когда они проходили мимо ворот Запретного Города, им слышался призрачный шум битвы и скорбные крики. Чиновники, столпившиеся за главными воротами дворца на рассвете дня нового года, более приземленно объясняли любые слышимые стенания: плачущий император спрятался в Запретном Городе и, слишком сломленный свалившейся на него бедой, не может принимать новогодние пожелания от своих покорных чиновников. Возвращаясь на рассвете по своим резиденциям, чиновники и все люди на улицах не поднимали лиц, стараясь хоть как-то защититься от пыльной бури, разразившейся ранним утром, и спрятаться от мора — вероятно, оспы, — распространившегося в то время по северному Китаю и в столице.

У императора имелись основания впасть в депрессию: от его правительства остались одни клочки, его чиновничество парализовано банкротством финансов и политики, его армия, которой не платили, едва шевелилась. По оценке министра финансов, на середину апреля 1644 года «для покрытия трат на военное обеспечение обороны границ требуется пятьсот двадцать тысяч унций серебра в месяц. В первом месяце у нас еще были [налоговые] поступления... Во втором месяце поступления прекратились полностью». Проведенная в том году проверка министерства финансов показала: в имперской казне имеется всего четыре тысячи двести унций серебра; к началу 1644 года долг правительства только по жалованью в армии составлял несколько миллионов унций серебра. Войска Ли Цзычэна приближались к Пекину, а столичным гарнизонам месяцами не платили деньги и не выдавали продовольствия. Когда император потребовал, чтобы ему дали лично проинспектировать содержимое его казны в Запретном Городе, привратник попытался остановить его, притворившись, будто не может найти ключи. Когда императору в конце концов удалось

пройти внутрь, он не нашел там ничего, кроме красной шка- тулки, хранившей всего лишь пачку квитанций.

Главной причиной банкротства военной машины Минов оказалось то, что в государственном бюджете никогда не было средств, чтобы платить армии. Изначальный план основателя династии Мин, Хунъю, состоял в том, что армия должна находиться на самообеспечении: в качестве составляющей его проекта заселения и оживления земледельческой части Китая Хунъю передал большие куски временно разоренных, но тем не менее первоклассных сельскохозяйственных угодий армии. Он затем выделил каждой из семей наследственных военных до пятидесяти му (около семи акров) пахотной земли, с которой они должны были кормиться. Однако на протяжении пятнадцатого столетия, по мере того как минские императоры становились все более домашними и невоинственными, общественный престиж армии упал, а потомственная военная служба стала пустым, неработающим механизмом. Самые влиятельные армейские семьи превращали солдат в личных слуг, а предприимчивые офицеры извлекали солидную выгоду из «торговли свободой» со своими людьми: брали с них ежемесячную плату за освобождение от воинских обязанностей. Те, кто не мог себе позволить «свободу», просто дезертировали, оставались лишь те, кто был слишком слаб или не способен убежать. Хотя к концу XVI века на военной службе официально числились миллион двести тысяч солдат, многие гарнизоны довольствовались лишь двадцатью процентами своего списочного состава. Нигде упадок в армии Минов не был столь вопиющим, как в столичном гарнизоне в 1644 году. Когда Ли Цзычэн шел на столицу, смогли отыскать только десять или двадцать процентов солдат из официально числившихся под знаменами семисот тысяч. Большинство из них были преклонного возраста, слабые или голодающие.

Убедить людей сражаться можно было только адекватной платой и снабжением. Но и те небольшие деньги, кото-



рые официально числились в наличии, растворялись по пути к солдатам, остро в них нуждавшимся: когда император проследил за движением пятидесяти двух тысяч унций серебра, предназначенных для гарнизонов на северо-восточной границе, то обнаружил — все до последней монеты необъяснимым образом было потеряно по дороге к границе. Неудивительно поэтому, что минским военным не хватало ни физических сил, ни решимости встречать грудью врагов династии. «Когда стеганешь плеткой одного солдата, — сетовал один из минских генералов, — он встает, зато другой ложится». Полунаемная, полумобилизованная армия воплощала в себе худшие черты обеих военных систем: дорогостоящий сброд, состоявший по большей части из ни на что не способных людей. «Все, кто носит оружие, — писал Маттео Риччи, монах-иезуит, живший в Китае между 1583 и 1610 годами, — влачат жалкое существование, поскольку они занялись этой профессией не из любви к своей стране и преданности своему королю и не из стремления к чести и славе, а как слуги того, кто дает им работу».

Сундуки Минов пустовали по двум весьма простым причинам: слишком много денег уходило и недостаточно приходило в казну. С XV века, и особенно в XVI веке, императоры династии Мин швыряли деньги на проекты как личного, так и общественного характера — десять миллионов четыреста тысяч унций серебра потратили на могилу императора Ваньли, тридцать три миллиона восемьсот тысяч унций серебра пустили на войну в Корею в конце XVI века, и то и другое с промежутком в несколько лет. Непомерные траты на стеностроительство уже отмечались. Минские императоры почти никогда не отделяли общественное от личного, когда размещали бюджетные средства империи: в XVI веке императорские дворцы перестраивались по меньшей мере четыре раза после разрушений, причиненных неосторожным обращением с огнем. Только последняя перестройка обошлась в более чем семьсот тридцать тысяч унций се-

ребра. И императоры подавали пример: если они не собирались ни в чем себя ограничивать, то так же вели себя и их родственники. В начале правления династии членам императорской семьи выделили огромные имения и щедрое содержание на безопасном расстоянии от столицы, рассчитывая нейтрализовать их как политическую угрозу императору. По мере существования династии и неизбежного разрастания клана цивильный лист распухал до тех пор, пока к концу XVII века содержание императорской семьи не стало съедать половину налоговых поступлений от двух крупных провинций, Шаньси и Хэнань. Правительство даже предпринимало отчаянные меры — приостанавливало выдачу принцессам разрешений на брак, — видимо, пытаясь притормозить вызывавшую тревогу скорость их размножения.

Однако минский Китай оставался большой страной, местами очень богатой, и должен был бы обеспечить правительство налоговыми поступлениями, потребными для финансирования его проектов. В период поздней династии Мин Китай, вероятно, был ведущим поставщиком в глобальной торговле предметами роскоши — особенно это касается керамики и тканей, фарфора и шелка, — привлекая в страну большое количество серебра из Нового Света и из Европы через португальцев, испанцев и голландцев, расположившихся по его окраинам. Хотя выгоды от такой торговли просачивались во все слои китайского общества — получение выносливых растений из Нового Света, особенно батата, часто становилось жизненно важным для тех, кто жил на беднейших, самых засушливых землях Китая, — именно меньшинство китайских городских торговцев больше всего наживалось на ней. По мере того как серебро все в большей степени становилось доминирующим средством платежей, делая ресурсы и рабочую силу гораздо мобильнее, сельское хозяйство — остававшееся прежним — уступало свои позиции городским промыслам и торговле. Поселки и города переживали бум, поскольку обеспеченные люди переводили

свои капиталы из сельского хозяйства в промышленное производство: в ремесленное дело и переработку таких товарных культур, как сахарный тростник, хлопок и табак. Однако эта бурная и высокодоходная городская экономическая деятельность вела к серьезному обнищанию и дестабилизации сельского большинства Китая. Те, кто мог покинуть сельскую местность, так и делали: землевладельцев видели все реже, они переезжали в города; квалифицированные рабочие получали достойную заработную плату в городских мастерских; неквалифицированные ожидали найма на малооплачиваемую работу в промышленности. Почва уходила из-под ног китайских сельских общин, не способных перебраться в города: поскольку основные капиталы землевладельцев перемещались в крупные населенные пункты, их элита больше не вкладывала средства в такие общинные проекты, как ирригационные работы, крайне важные для выращивания риса. Для этой элиты сельские имения становились скорее дойной коровой — их крестьяне-арендаторы финансировали жизнь и деловые проекты в городах. Серебро, которое они производили, давало возможность богатеть финансовым посредникам вроде торговцев и ростовщиков, а не живой, работающей общине, поддерживавшей благосостояние каждого своего члена. Сельские доходы быстро падали: поскольку городская экономика процветала и цены росли, ценность сельских земель уменьшалась. По мере роста населения — чему способствовали завезенные из Нового Света культуры — сельские заработки тоже уменьшались.

Хоть это и пагубно сказывалось на простых людях, однако упадок сельских общин не обязательно вел к оскудению императорских закров. В конечном счете денег в обороте было столько же (если не больше), как всегда, просто центр обогащения сместился из сельской местности в город. Между тем правительство не сумело должным образом приспособиться к новой реальности. Основатель династии Мин на своем горьком опыте познал ужасы сельской нищеты, по-

теряв всю свою родню во время голода и болезней. После того как он изгнал монголов, восстановление сельской экономики потребовало от него затраты значительных сил: ирригация, посадка лесов, заселение земель, подачки крестьянам в виде денежных поощрений и снижения налогового бремени (с 1371 по 1379 год площади обрабатываемых земель почти утроились). Однако китайские крестьяне в конечном итоге платили большую цену за прежнее сочувственное отношение к себе: внимание Хунъю к сельской экономике означало, что его преемники неизбежно станут смотреть на крестьян как на главный источник государственных доходов. В результате минская система налогообложения так и не смогла подстроиться к массивному уходу богатства в города и продолжала пытаться выжимать из сельской местности больше и больше: зерновые налоги и трудовая повинность для государственных проектов, или деньги, чтобы избежать трудовой мобилизации. Наиболее платежеспособные либо мигрировали в города, либо были освобождены от налогов. Правительство передало право пользования значительной частью доходов от освобождения от трудовой повинности местным ученым-землевладельцам — успешным соискателям государственных экзаменов на замещение должностей — и их окружению. Когда задача получения средств из сельской местности осложнилась из-за того, что и деньги, и люди уходили оттуда, государство стало направлять еще больше сил на изъятие своей доли налогов, перестав при этом уделять внимание другим важным, направленным на поддержку общины задачам, таким как общественные работы и правосудие.

Очередные тяжелые удары по хрупкой китайской экономике нанесли мировые кризисы 1620-х и 1640-х годов. Голландская блокада, прекращение Испанией экспорта серебра из Акапулько и политические беспорядки на островах Южного моря (Филиппинах, Суматре, в Индонезии) сильно сократили приток серебра в Китай. Поскольку по-

ток слитков в страну стал единственным фактором, позволявшим определенным слоям населения Китая сдерживать вызванную им инфляцию, то, когда этот поток внезапно иссяк, даже богатейшие районы сразу же впали в депрессию.

Итак, в 1644 году, когда последний император династии Мин упивался жалостью к себе по поводу состояния экономики и правительства, некий сановник из военного министерства оказался, несомненно, прав, следующим образом объясняя проблему императора:

«Землевладельцы и богатеи в настоящее время одеваются за счет ренты и кормятся от налогов; купаясь в праздности, они высасывают костный мозг из населения. В мирное время они манипулируют торговлей, чтобы подчинить людей и монополизировать огромные доходы. Когда приходит беда, следует ли нам ожидать, что народ разделит превратности землевладельцев и богатеев, отдавая ради них свои силы? Когда богатые становятся еще богаче, обирая народ, а бедные становятся все беднее, пока не окажутся не в состоянии выживать?»

Фундаментальной проблемой минского Китая являлось то, что он прекратил существовать в качестве единой империи. Сохранение монументального политического образа китайской империи зависело от того, насколько ее администраторы придерживаются идеи, что управление должно работать в интересах объединенного общества. Поскольку китайские имперские институты — налоговая система, армия, правительство и на высшем, и на низшем уровнях — погрязли в извлечении наживы, эгоизме и неэффективности, чувство лояльности к власти Минов стало ослабевать. Это, в свою очередь, разрушало ощущение психологического единства, необходимое для политического сцепления Китая в течение столетий до того, как действенность современных технологий начала помогать тоталитарным системам контролировать разобщенное население. Слуги и народ минского

Китай в лучшем случае вяло штопали расползавшуюся материю империи, ожидая благоприятных времен, чтобы проявить себя; в худшем, как Ли Цзычэн, активно работали на ее разрушение.

У Пекина, однако, оставался последний шанс. Хотя качество имперских армий постоянно ухудшалось уже в течение примерно двух столетий, хотя преданность Минам повсеместно падала, одна, последняя воинская сила оставалась боеспособной и верной: сохранившиеся гарнизоны на северо-восточных рубежных стенах вокруг Шаньхайгуаня. Минская стена и ее люди готовились пройти тяжелейшее испытание.

В начале 1644 года, когда Китай все больше оказывался ввергнутым в хаос распада, предательства и некомпетентности, когда Ли Цзычэн со своим войском двигался на восток в сторону столицы, когда разобщенные, малочисленные гарнизоны Пекина распределялись по городским стенам — один человек на девять метров стены, — оборона на северо-востоке в стратегически важном пункте у Шаньхайгуаня зависела от последнего известного минского военачальника, У Саньгуя. Тридцатидвухлетний уроженец Ляодуна (северо-восточной провинции на границе между Китаем и Маньчжурией), взошел по военной иерархической лестнице в своей родной провинции с необычайной скоростью. С момента объявления маньчжурами войны Минам северо-восток стал самым тяжелым участком границы во всей империи, даже более угрожаемым, чем граница с монголами. У начал службу на северо-востоке в возрасте двадцати двух лет. Спустя пять лет он командовал отрядом в тысячу шестьсот человек. Через три года, в 1642 году, его назначили бригадным генералом провинции, на чрезвычайную командную должность, учреждаемую в военное время.

Быстрый рост У Саньгуя стал возможен частью благодаря его военным способностям, а частью из-за внезапного

ухода из минской армии в Ляодуне нескольких высших военачальников. Когда маньчжуры начали активные военные действия против Минов в 1618 году, минская оборонительная линия растянулась по большой, снабженной крупными гарнизонами и стенами петле к северу от Шэньяна, старой маньчжурской столицы Мукдена, прежде чем спуститься на юг, к реке Ялу на китайско-корейской границе. С 1618 года маньчжуры один за другим захватывали эти дальние пограничные гарнизоны, начиная с Фушуня, что в десяти километрах к востоку от Мукдена. Вместо того чтобы бросить свои войска — испытывавшие в тот момент нехватку в артиллерии — на штурм обнесенного стеной укрепления, предводитель маньчжуров, Нурхацци, поставил Ли Юнфана, китайского командующего в Фушуне, перед альтернативой, в спокойных выражениях изложив ее в письме. «Если будет сражение, то стрелы, выпущенные нашими солдатами, будут поражать все, что попадется на глаза. Если попадут в вас, то вы, несомненно, умрете... Старые и малые внутри городской стены наверняка подвергнутся опасности, вам перестанут платить чиновничье жалованье, а затем понизят в должности». Если же, наоборот, «вы выйдете и сдадитесь... я позволю вам жить, как вы жили прежде... я дам вам более высокую должность, чем та, которую вы имеете сейчас, и стану относиться к вам как к одному из моих чиновников первого класса». В скором времени Нурхацци предлагал Ли — запертому в замерзающем, лишенном средств, окруженном варварами укреплении — мирные условия сдачи. Генерал принял условия Нурхацци после всего одной атаки маньчжуров.

Сдача Фушуня — первый из длинной череды переходов китайцев на сторону противника на северо-востоке — стала страшным ударом, стратегическим и психологическим, для китайского двора. На военном уровне превосходство Китая над маньчжурами заключалось лишь в том, что первый держался за стенами. Раз огражденный стеной оборонительный

пункт сдан, китайцы уже никогда не вернут его назад в битве на открытой местности, в которой маньчжуры были явно сильнее. На психологическом уровне, так легко склонившись к сотрудничеству с противником, командующий обороной Фушуня сделал насмешкой шовинистический империализм, в который был окрашен каждый аспект китайской политики в отношении севера и который был двигателем возведения стен и наполнял их сооружениями и постами типа Башни Для Подавления Севера, Воротами, К Которым Приграничные Племена Приходят Поклониться и Чиновника, Который Умиротворяет Варваров. То, что Ли Юнфан с готовностью переметнулся к противнику, ясно показало, что ничего особого в китайской культуре нет в сравнении с «варварским» режимом северо-востока, и уж точно ничего такого, за что стоило умирать.

Лояльность правительству была не той добродетелью, которую могла воспитать охрана минских стен на самом высоком или на самом низком армейском уровне. Для всех, кто был этим занят, пограничная служба в лучшие времена олицетворяла холод, одиночество и неблагодарную работу, и ни для кого она не являлась чем-то большим, чем простая солдатчина. Переднюю линию на стене составляли команды на тысячах башен, которыми были уставлены все ее шесть тысяч километров. Самыми уютными — хотя в приложении к службе на стене это определение может пониматься только в относительном смысле — считались пустотелые башни, укрывавшие от монгольских и маньчжурских ветров и снегов, а также обеспечивавшие хранение необходимых припасов. Тем, кому не повезло быть размещенными в этих сомнительных убежищах, приходилось переносить превратности сторожевой службы на открытых площадках «монолитных» башен, построенных из утрамбованной земли. «Во всех пограничных районах, — охотно пояснялось в минском военном руководстве, — большая часть башен построена из утрамбованной в монолит земли; по одной из сторон свеши-



вается веревочная лестница, позволяющая команде башни легко спускаться и подниматься. Однако регулярно случается, — продолжает сообщать руководство, до удивительного противореча себе, — что, когда варвары приближаются, наши солдаты не успевают своевременно спуститься или подняться наверх, в результате чего им не удается подать сигналы». И внутри, и снаружи башен команды всегда оставались уязвимыми. В 1573 году отряд из двадцати монголов стал карабкаться на башню, когда стража спала. Китайские солдаты узнали об опасности, только когда их разбудило ржание монгольских коней внизу. С другой стороны, команды, засевшие внутри башен, могли быть выкурены наружу или задохнуться, когда монголы проделывали в кирпичах отверстие и зажигали костер, дым от которого попадал внутрь. Чаще всего стражники на стенах чувствовали себя слишком отрезанными от мира и малочисленными, чтобы оказывать эффективное сопротивление. Как сказал один из сочувственно настроенных проверяющих: «Разве они с голыми руками могут противостоять драконам и змеям?»

Причины солдатских страданий лежали одинаково часто и с внутренней, и с внешней стороны стен: поскольку минская армия, начиная с пятнадцатого столетия, последовательно перерождалась в масштабный бизнес, пограничная стража оказалась полностью в руках своих офицеров, которые регулярно перекладывали жалованье солдат в свои карманы или превращали тех в своих личных рабов. Однако сами офицеры всегда были готовы выслушать предложения, и прекращение мучений в основном можно было купить — по крайней мере на время. В одном минском военном наставлении сурово, но красноречиво требовали от команд башен не подкупать офицеров. В условиях, когда температуры зимой опускались на десятки градусов ниже нуля, обморожения, видимо, были большей опасностью, чем набеги, и правительственные директивы с большой помпой объявля-

ли о направлении на стены команд, снабженных шубами, стегаными пальто, штанами и теплой обувью. Критические доклады инспекторов показывали другое: что обмундирование было плохим, гнилая и плохо подогнанная одежда и обувь выдавались, вероятно, раз в три года. Чем дальше район, тем, конечно же, менее надежны были линии снабжения. Независимо от того, обрывались ли линии снабжения алчностью и коррупцией или некомпетентностью и неумением, скудное питание производило катастрофический эффект на пограничные войска. В 1542 году в одном из докладов с границы, где содержались сетования по поводу особых страданий южан — не привыкших к климату, не подготовленных к суровой северной зиме, — которых послали служить на границу, говорилось, что восемьдесят или девяносто процентов личного состава команд башен умирало во время караульных смен. Еда — которой в лучшем случае едва хватало — представляла собой столь же серьезную проблему. В докладах инспекций сообщается: недоедание и хроническое голодание являлись нормой. В любом случае, особенно когда военные действия по обе стороны стены активизировались, китайские солдаты частенько использовали свое жалованье и в складчину подкупали монголов, чтобы те на них не нападали.

Но жизнь обычных стражников была цветочками в сравнении с трудностями, переживаемыми самыми бесправными членами «настенного» коллектива, ебушоу (буквально — «те, кто не возвращается ночью»), или разведчиками. Теоретически разведчики должны были играть чрезвычайно важную роль в организации оборонительной работы стены, совершая ночные вылазки на вражескую территорию под видом монголов, выявляя и срывая запланированные набеги или бунты — порой занимаясь убийствами — задолго до того, как ржание монгольских коней будет слышно у подножия стены. На практике же жуткие условия работы подрывали качество их деятельности. Хотя природа этого занятия —

ночные операции на негостеприимных северных границах Китая — требовала от разведчиков больших жертв, минское военное руководство, видимо, не задумывалось над тем, чтобы они вознаграждались особым образом, и не пыталось привлекать умелых, обладающих призванием разведчиков наградами или даже хорошим жалованьем. «Они могут отсутствовать месяцами или годами, не возвращаясь в базовый лагерь, а их жены и дети, не имея одежды и еды, пребывают в отчаянном положении, — отмечалось в одном из докладов. — Правда, они получают месячное жалованье, но очень часто вынуждены тратить его на оружие или коней и неопишимо страдают от голода и холода». Как результат чиновники жаловались почти постоянно на лень, вздорность и неисполнительность разведчиков, они считали их «прожигателями жизни и скользкими типами, которые пользуются подменой».

Больше всего, как оказывается, уязвляло то, что на границе отсутствовал четкий срок службы, не было официально установленного ограничения по времени, на которое стражники могли бы рассчитывать: в разных источниках говорится о месяце службы, четырех месяцах, трех месяцах, десяти днях, девятнадцати месяцах и так далее. Короче говоря, ни минское военное начальство, ни несчастные пограничные солдаты, вероятно, не имели ни малейшего представления о том, когда они смогут уволиться. Служба на границе представляла собой особо изощренную форму пытки.

Невзгоды пограничной жизни усугублялись, если стена находилась в аварийном состоянии и не могла служить надежным убежищем от непогоды и противника. Постоянные срочные запросы, поступавшие с границ в адрес правительства относительно ремонта стен, служат показателем скорости, с которой они разрушались под воздействием ветров, дождей, нападений и хищений. В конце XVI века некий чиновник из Ляодуна докладывал: стена осыпалась и стала в высоту по плечо человека. «Уже в течение многих лет маньч-

журы и живущие в приграничье китайцы систематически разрушают их», растаскивая кирпичи и дерево для своих строительных нужд. Сообщалось, что в 1552 году проходившие возле Датуна и Сюаньфу монголы развалили «от пяти до шести десятых длины тамошней стены». В 1609 году, за десять лет до того, как маньчжуры начали наступление, один из военачальников описывал состояние оборонительных сооружений в Ляодуне:

«Рвы засыпались песками до тех пор, пока не сравнивались с поверхностью земли, и больше их никогда не откапывали. Обнесенные стенами крепости пребывают в еще худшей степени разрушения. У многих нет ворот, а по стенам уже нельзя пройти. Тому, кто попытается пройти по ним, придется держаться руками за края бойниц, под его ногами часто будет одна пустота».

Так как башни разрушались, пограничные стражники оставляли их. Часто случалось так, что команды не решались поднимать тревогу — дымом или стрельбой из пушек — во время приближения противника, вероятно, из-за чрезвычайной уязвимости башни: враг быстро одолел бы их, — и унижительное сотрудничество казалось более предпочтительной перспективой, чем безнадежное сопротивление.

Сочетание апатии и недовольства, являвшееся очевидным следствием физической опасности и неудобств, приводило к тому, что солдаты, охранявшие минскую стену, в лучшем случае относились к находившемуся за стенами и башнями потенциальному агрессору по принципу «живи сам и дай жить другим», а в худшем — активно сотрудничали в качестве союзников, шпионов и людей, готовых в нужный момент открыть ворота. И хотя стена сооружалась для того, чтобы не допускать монголов или контролировать их проход в Китай, позволяя им приходить только в установленное время и в установленное место, часто поступали сообщения, что монголы прорывались или перебирались через

стену там, где хотели. Движение в обратном направлении шло с той же легкостью: пленники, возвращавшиеся в Монголию, «просто обходили башни стороной»; хоть и создавалось впечатление непрерывной линии обороняемой стены, в ней явно имелись бреши. Когда Эсэн в 1449 году вел своих монголов через северо-восточный Китай на Пекин, пограничная стража просто заблаговременно покинула башни. Сто лет спустя наблюдатели отмечали: команды башен в ужасе разбежались, когда монголы перебирались через стену. Если стражники при приближении монголов оставались на своем посту, они смотрели в другую сторону и притворялись, будто не видят их, поднимая тревогу только изрядное время спустя после того, как опасность миновала. Однако частенько контакты оказывались более дружественными и тесными: поскольку башни располагались на самом стыке китайской и монгольской или маньчжурской территорий, регулярные сношения между сторонами были неизбежны. В 1570 году генерал-губернатор северо-востока прямо называл команды дюжины башен вдоль границы «двенадцатью изменниками». В 1533 году некий чиновник заявлял: китайские разведчики-ебушоу фактически служат проводниками для банд монгольских налетчиков. Причина такого поведения была очевидна для любого, кто испытал на себе условия пограничного бытия, как этот инспектор из 1553 года: «Мы должны лучше обращаться с командами, и тогда вместо того чтобы быть глазами и ушами противника, они снова станут нашими глазами и ушами».

Если офицерам и не приходилось испытывать тяжкие ежедневные физические страдания простых солдат, у них был свой, более высокого уровня кошмар: публичное бесчестье, а часто и казнь, следовавшие за неудачами и поражениями. Основатель династии Мин и его сын, Юнлэ, установили деспотические правила для всей династии, очищая ряды своих чиновников от воображаемых изменников и критически настроенных лиц, создавая терроризирующую куль-

туру ответственности и вины. По мере того как в последние века стали учащаться военные поражения, их преемники с готовностью взяли на вооружение этот пример, безжалостно расправляясь с «козлами отпущения», где бы их ни находили. С 1619 по 1625 год на северо-востоке по обвинению в измене были казнены три военных начальника, отступивших с оказавшихся безнадежно отрезанными из-за предательства других минских офицеров позиций на юго-запад. Голову последней из жертв провезли вдоль границы в качестве предостережения для других, как обещание наказания за «измену». В 1630 году за то, что маньчжуры прорвались через стену восточнее Пекина и подошли к столице, военного министра правительственного кабинета четвертовали на базарной площади, а членов его семьи казнили, отдали в рабство или сослали. Еще двух военных начальников казнили в 1643 году, третьему император милостиво разрешил совершить самоубийство, и он таким образом избежал казни путем медленного удушения. В 1621 году в Ляояне два генерала, не справившихся с обязанностями, осознав неизбежность своей участи, покончили с собой. Неудивительно, что при столь суровых карах за неудачи в войне, которая становилась все более безнадежной и бедственной для быстро разлагавшейся армии Минов — сорок пять тысяч минских солдат были уничтожены только за одну кампанию 1619 года, — пограничные начальники вместе со своими полуголодными людьми, следуя примеру Фушуня, хватались за шанс выжить хотя бы под властью маньчжуров.

Тех же, кто встречал смерть на пути активного служения долгу, из-за самой природы войны на северо-востоке редко погибали быстро и безболезненно. Так как сила китайцев заключалась в укреплениях, единственный способ устоять перед маньчжурами состоял в том, чтобы укрыться в обнесенных стенами гарнизонных поселениях и попытаться выдержать осаду. Одна из самых ужасных по своей жестокости осад случилась в 1631 году в Далинхэ, гарнизонной

крепости примерно в ста пятидесяти километрах к северо-востоку от Шаньхайгуаня. После осады в полном окружении, длившейся восемьдесят два дня, выжили всего лишь одиннадцать тысяч шестьсот восемьдесят два человека из тридцати тысяч изначально севших в осаду. Примерно двадцать тысяч человек погибли от голода и его неизбежного следствия — каннибализма. По мере того как проходило время, самых не приспособленных к нуждам войны систематически забивали на еду: сначала рабочих, за ними последовали торговцы и, наконец, слабейшие из солдат. В конечном счете офицеры поддерживали себя тем, что убивали и поедали собственных подчиненных. После того как китайский генерал в конце концов решил капитулировать перед маньчжурами, только один офицер отказался изменить Минам. Маньчжуры даровали ему достойную казнь, но когда его тело отнесли назад в крепость, голодные люди принялись драться между собой за то, чтобы оторвать от него кусок мяса для еды.

К 1642 году все, кроме одного, основные форты и опорные пункты к северу от Шаньхайгуаня сдались. Лишь Нинъюань — примерно в семидесяти пяти километрах к северо-востоку — под командованием У Саньгуя сдерживал маньчжуров, прикрывая Шаньхайгуань, стратегически важное, обнесенное крепкими стенами бутылочное горло, которое выводило на равнины Китая. Когда советники стали настаивать, чтобы маньчжурский вождь пошел на китайскую столицу, он ответил отказом. «Шаньхайгуань, — сказал он, покачивая головой, — невозможно взять». Младший представитель династии успешно продвигавшихся по службе ляодунских военных, У был практически последним генералом в своей северо-восточной династии — а на самом деле во всем северо-восточном Китае, — все еще верным Минам (один из его дядьев был тем самым начальником, который сдал Далинхэ; в течение тринадцати лет после той ужасной осады его остальные дядья и двоюродные братья последовали

его примеру, передав маньчжурам весь северо-восток до самого Нинъюаня, где располагалась ставка У). У Саньгуй, в чьих руках находилась судьба империи, теперь стоял перед выбором: драться за пошатнувшуюся власть Сына Неба от династии Мин, к чему обязывала его профессиональная ответственность, или пожертвовать императором ради лояльности семье и самосохранения, влив своих людей, ряды наступающих маньчжурских варваров.

В Пекине, по мере того как столица начала ощущать весеннее тепло апреля 1644 года, а армия Ли Цзычэна готовилась преодолеть двойную линию стены в Шаньси, император раздумывал над вариантами своих действий. Во-первых, он попытался, назначив нового главнокомандующего, поставить заслон наступлению с северо-запада. Выбранный военачальник отреагировал на оказанную ему честь тем, что ударился в слезы. «Даже если я пойду, — отнекивался он, — это будет бесполезно». 7 апреля гарнизон стены в Датуне сдался Ли Цзычэну; через десять дней капитулировал также и Сюаньфу. В обоих случаях сопротивление было лишь эпизодическим: минские военные давным-давно утратили веру в самих себя. Теперь столицу защищал только проход Цзюйюн.

10 апреля был нанесен очередной сокрушительный удар. Департамент Астрономии представил мрачный доклад, где сообщалось: Полярная звезда — традиционно символизировавшая императора — сдвинулась на небе вниз. Вероятно, в качестве реакции на полученное известие император пошел на меру, по поводу которой он колебался много месяцев: вызвал с северо-востока своего последнего верного генерала, У Саньгуя, оборонять Пекин. Через двенадцать дней, когда император устраивал регулярную утреннюю аудиенцию в Запретном Городе, в зал приемов вбежал едва переводящий дух курьер со срочной, в высшей степени конфиденциальной запиской, адресованной императору. «По мере чтения



его лицо менялось. Он поднялся и прошел во внутренний дворец. Довольно долгое время спустя он отдал всем чиновникам приказ подать в отставку. Это было первое, что им предстояло узнать в связи с падением Чанпина». Расположенный к югу от последнего удерживаемого Минами отрезка стены вокруг прохода Цзюйюн, Чанпин находился всего в шестидесяти пяти километрах к северу от Запретного Города. За две недели до этого его гарнизон, которому давно не выплачивалось жалованье, взбунтовался. Крах Чанпина означал — проход Цзюйюн также оказался в руках мятежников. Минские начальники, посланные удерживать проход, просто пропустили их через него. Минская стена, ставшая декоративным украшением иззубренных гор, беспомощно наблюдала, как ее ворота держатся открытыми для врагов династии.

Днем позже император провел последнюю аудиенцию, во время которой объявил о своем плане в отношении собравшихся министров: «Каждый государственный чиновник может покончить с собой». На следующий день он последний раз участвовал в переговорах в качестве императора: принял бывшего фаворита, евнуха Ду Сюня, за два дня до этого сдавшего проход Цзюйюн мятежникам под предводительством Ли Цзычэна. В обмен на миллион унций серебра и личное царство на северо-западе Китая Ли предлагал разгромить другие группы мятежников и маньчжуров. Не желая войти в историю как потворщик мятежникам, император отказался. После ухода Ду Сюня император в гневе опрокинул ногой свой трон.

Вскоре после полуночи 25 апреля последний император династии Мин вышел к своей предрассветной аудиенции пьяным, потерянным и, возможно, перепачканным кровью. Предыдущий вечер он провел, купаясь в алкоголе и справляясь с женами и наложницами: всего одна императрица избавила его от проблем, совершив самоубийство, остальные упрямо цеплялись за жизнь и вынудили его лично одну убить, а другой отрубить правую руку. К счастью для досто-

инства императорской персоны, ни один из его чиновников не явился на аудиенцию, чтобы увидеть императора в столь жалком виде. Обвиняя во всем «изменников-министров», император поплелся через парк искривленных деревьев и камней Запретного Города, вышел через задние ворота дворца и поднялся на рукотворный холм, называемый Угольной горой и расположенный непосредственно к северу от ворот. На Угольной горе — до сих пор являющейся популярным местом прогулок, откуда открывается прекрасный вид на Пекин, — он, возможно, минуту помедлил, окинув взглядом застроенную преимущественно низкими строениями столицу: ее дворцы и храмы, ее лабиринты переулков из серого кирпича, деловито раскинувшихся между великими символическими точками отсчета в городе — обширными дворами и павильонами Запретного Города и выделявшимся синей черепицей на крыше Дома Молитвы О Богатых Урожаях круглым центральным строением комплекса Храма Неба, расположенным к югу от городских стен, которое, подобно космической ракете, поднимается из окружающих его парковых зон. Он мог также услышать ропот испуганных жителей и топот разношерстной крестьянской армии, когда Ли Цзычэн и его последователи входили в город. Вскоре после часа ночи он прошел в красный павильон на горе, где располагался департамент Императорского головного убора и пояса, и повесился на собственном кушаке. Через три дня его тело, одетое в голубой шелковый халат и красные штаны, нашли и идентифицировали по записке из двух иероглифов, начертанных лично им: Тянь цзы — Сын Неба.

Как и многие события, произошедшие в тот год в Китае, остается неизвестным, когда именно У Саньгуй решил, подобно своим дядьям и двоюродным братьям, оставить на произвол судьбы династию Мин. Он публично объявил о своей измене только после драматических событий 24 апреля, однако не спешил на помощь императору и в середине

месяца. Удивительно то, что по получении вызова 10 апреля ему и его сорокатысячному пограничному войску, чтобы пройти менее ста километров от Нинъюаня до Шаньхайгуаня, понадобилось время вплоть до 26 апреля, после чего он проехал полпути по монотонным желто-коричневым равнинам Хубэя до Пекина, еще примерно сто сорок километров, прежде чем до него дошло известие — спустя несколько дней после случившегося — о падении Пекина. Из других источников следует: император мог отложить вызов У Саньгуя до 22 апреля. Тогда то, что он не смог вовремя даже приблизиться к столице, чтобы успеть к началу штурма Ли Цзычэна, может иметь более невинное объяснение.

Даже после того как император покончил с собой, а столица пала, не все еще было потеряно для Минов. Хотя столица находилась в руках врага, на юге, вероятно, сохранилось достаточно верных Минам людей для контрнаступления против северных мятежников. Понимая это, но будучи лично вдали от событий, У Саньгуй вернулся в Шаньхайгуань обдумать свой следующий шаг.

Признавая важность У Саньгуя как командующего последней значительной по численности минской армией на севере, Ли Цзычэн немедленно попытался перетянуть его на свою сторону при помощи двух писем. В первом, от сдавшегося минского генерала, превозносились моральные качества Ли Цзычэна. Второе, вероятно, надиктованное одним из приближенных Ли, предположительно было от отца У Саньгуя, У Сяна, бывшего минского генерала, теперь находившегося в заложниках у Ли Цзычэна в Пекине. Письмо его отца — едва завуалированная записка с требованием выкупа — играло на подходящей ноте конфуцианской морали. В обычные, гармоничные времена Конфуций считал требования почитания отца сравнимыми с верностью императору: «Пусть правитель будет правителем, отец отцом, сын сыном». В самом деле, правильное исполнение каждой общественной роли являлось необходимым для распростра-

нения мира и процветания империи. Но то время трудно было назвать гармоничным, и обычные правила верности императору более не действовали: службу в ответ на благосклонность императора, аргументировалось в письме, больше нельзя рассматривать как главную обязанность У. Если он капитулирует ради спасения жизни отца, то заслужит вечную славу за сыновнюю преданность. Кроме того, в письме У Саньгую предлагались и титул, и звание при новом режиме Ли Цзычэна, Шунь. Военный курьер, привезший письмо, усилил тезис, передав вместе с ним десять тысяч унций серебра и тысячу унций золота.

Следующая часть этой истории опять запутанна. Одна версия гласит, будто У Саньгуй написал в ответ гневное письмо отцу, где выговорил ему за сдачу Ли Цзычэну и перефразировал Конфуция, перекрывая аргументы У Сяна относительно сыновнего почтения и оправдывая отказ подчиниться и тем самым пожертвовать своим отцом: «Если мой отец не может быть верным министром, то как я могу быть почтительным сыном?»

По другой, более романтической и популярной, версии событий У Саньгуй является не столько неверным сыном, сколько околдованным любовником. Когда У Саньгуй обдумывал свой следующий шаг, до него, предположительно, дошли слухи о том, что его обожаемую, обладавшую легендарной красотой наложницу Чэнь Юань (боготворимую одним из ее одурманенных поклонников как «одинокий феникс, трепещущий за ширмой из тумана») похитил Ли Цзычэн. Обезумев от ревности, У якобы забыл о том, в каком положении находится его отец, и начал вынашивать отчаянные планы мести Ли. История о разлученных войной любовниках приводила в восторг многие поколения китайцев, сделав из Чэнь Юань вторую Ян Гуйфэй, «женщину, чья красота достойна стать причиной падения города или царства», а из У Саньгуя значительно более энергичную версию Сюаньцзуна, императора династии Тан.

Этот сценарий, однако, скорее всего придумали более поздние авторы исторических романов, стремившиеся дискредитировать У Саньгуя как ненадежное, отрешенное орудие, движимое страстью и неспособное подчинить свои плотские желания общему политическому благу. Более правдоподобно, как сообщает другой источник, что после получения письма и подарков от Ли Цзычэна он подумал несколько дней и решил переметнуться к новому хозяину Пекина. Между тем вскоре после того, как он начал двигаться к столице, его ожидала волнующая встреча, все переменявшая. В Юнпине, расположенном чуть более чем в пятидесяти километрах к юго-западу от Шаньхайгуаня, он неожиданно для себя встретил одну из наложниц отца. Она поведала об ужасных вещах, которые творились в последнее время в Пекине: Ли Цзычэн, расценив молчание У Саньгуя как неповиновение, вырезал почти всех членов семьи У — тридцать восемь человек — и вывесил окровавленную голову У Сяна на городской стене. У был всего лишь самой свежей жертвой террора, развязанного после установления правления вождя мятежников против оставшихся в живых чиновников династии Мин, которых Ли Цзычэн презрительно называл перевертышами за то, что они не покончили с собой, когда Пекин оказался в его руках. Через неделю после прихода в Пекин финансовые проблемы лишь усугубили жесткую линию Ли в отношении грамотеев чиновников. Рассчитывая найти несметные императорские богатства и с их помощью расплатиться с армией, Ли был поражен, не обнаружив практически ничего. 1 мая он начал попытки добыть десятки тысяч унций серебра у бывших минских чиновников; тех, кто был не в состоянии платить, усердно пытал обладавший садистскими наклонностями главный генерал Ли. Несколько тысяч человек умерли в тисках, специально сконструированных, чтобы ломать человеческие кости. Главный министр умер после пяти дней непрерывных пыток, его лицевые кости были размозжены в результате постоянных по-

боев. Войска мятежников после входа в Пекин сначала вели себя скромно и сохраняли порядок, но вскоре последовали жестокому примеру своих вождей, взламывая «двери, забирая серебро и золото, насилая жен и дочерей. Люди начали страдать. Каждую ночь повторялось одно и то же».

У Саньгуй немедленно пересмотрел свое решение, прекратил движение к Пекину и повернул на Шаньхайгуань, где он оставил большую часть своей сорокатысячной армии, и стал готовиться к битве с Ли Цзычэном. Она произошла менее чем через три недели. 18 мая Ли Цзычэн — обезглавив шестнадцать минских чиновников у восточных ворот Запретного Города — с присущей ему помпой вывел шестидесятитысячное войско из столицы и двинулся на Шаньхайгуань. На сей раз, имея наполовину превосходящего его силы противника, У Саньгуй должен был соображать быстро. Поскольку и отец, и император были мертвы, единственными, кому У Саньгую оставалось сохранять верность, были его дядья и двоюродные братья, находившиеся на стороне маньчжуров. 20 мая У отправил на северо-восток к маньчжурам в Мукден письмо: «Я уже давно восхищаюсь царственной властью Вашего Величества, однако в соответствии с обязанностями, прописанными в летописи «Весны и Осени», границы должны быть нерушимы, и потому я до сих пор не обращался напрямую к Вам». У не замедлил подчеркнуть критический характер ситуации — «бродячие бандиты... толпа жалких воров» сместили императора. У Саньгуй выражал уверенность: «благочестивые армии» могут разгромить их, однако его сил недостаточно, чтобы гарантировать успех, и он «плачет кровавыми слезами в поисках помощи». Если маньчжуры сейчас придут на помощь, то они не только «спасут людей от огня и воды», но и получат свою долю «золота и шелков, мальчиков и девочек», наворованных бандитами. «Как только благочестивые войска придут, все это станет их».

Письмо У Саньгуя достигло маньчжурского Запретного Города в Мукдене в важный момент: в тот день маньчжу-

ры наконец узнали (почти месяц спустя): император династии Мин покончил жизнь самоубийством. Теперь, когда Небесный Мандат освободился, когда им предложили свободный проход в Шаньхайгуань, маньчжуры были готовы вмешаться, но только на своих условиях, а не на условиях У Саньгуя. «Если, — писал в ответ У маньчжурский регент Доргон, реальная власть, стоявшая за малолетним императором, — Вы приведете свою армию и сдадитесь нам, мы обязательно вернем Вам Ваши прежние земли и даруем княжеский титул». Не дожидаясь ответа от У, маньчжурские войска численностью от сорока пяти до ста тысяч двинулись к Шаньхайгуаню примерно с той же скоростью, с какой путешествовало само письмо, и разместились в старом опорном пункте У, в Нинъюане. 25 мая, когда большая часть армии Ли Цзычэна подошла вплотную к Шаньхайгуаню и нервы его союзников из числа местной знати были на пределе при виде демонстрируемой Ли силы, У Саньгуй принял условия маньчжуров. На рассвете 27 мая — они провели ночь в восьми километрах от Шаньхайгуаня, не снимая доспехов и держа оружие наготове, — маньчжурские войска подошли к воротам города-крепости. После поспешной формальной и секретной капитуляции — теперь, когда пушки Шаньхайгуаня грохотали в первых столкновениях сражения, было не до сложных церемоний — У приказал своим людям прикрепить к доспехам на спине куски белой материи, чтобы маньчжуры во время сражения могли легко отличить их от солдат-ханьцев армии Ли Цзычэна. Затем он поместил своих солдат в первую линию маньчжурской армии и лично возглавил первые атаки против армии Ли Цзычэна, расположенной широкой дугой к западу от Шаньхайгуаня. Армия мятежников практически разгромила войска У, прижав их к западной стене форта, в то время как маньчжурские войска намеренно держались в стороне, давая противникам измотать друг друга, так чтобы У был все в большей степени зависим от подкреплений. Когда Ли был уже

готов провозгласить победу, в ход событий драматическим образом вмешалась погода в виде спящей песчаной бури. Войска Ли стали всматриваться в скрипящую на зубах пелену и вдруг у себя на левом фланге заметили блеск лишенных растительности голов — гладко выбритые лбы маньчжурских воинов. Под крики «Пришли татарские войска» измотанная армия Ли Цзычэна начала ломать строй, затем стала отступать, а потом ударилась в бегство, рассеиваясь, стремясь добраться до Пекина и увлекая Ли Цзычэна за собой.

Пекину предстояло познать еще одну неделю ужасной, кровавой неизвестности, когда армия Ли Цзычэна, пьяная и разгромленная, грабила и жгла город, действуя жестоко и бессмысленно, инстинктивно чувствуя приближение конца. Поскольку слишком утомленные маньчжуры не могли немедленно пуститься в преследование, у Ли в Пекине хватило времени провести ускоренную церемонию коронации — до этого он всегда называл себя принцем, а не императором, — прежде чем 4 июня 1644 года поджечь Запретный Город и уехать на запад, за городские стены. «Дым и огонь закрыли небо».

Жители стали поспешно вымещать зло на солдатах мятежников, оказавшихся слишком пьяными или просто растерявшимися, чтобы последовать за своими хозяевами прочь из города: их затаскивали в пылающие дома или рубили им головы прямо на улицах. Однако очень скоро город снова погряз в страхе, когда жители принялись нервно спорить о том, кто станет их новым императором-хозяином, распространяя по городу тревожные слухи об «огромной армии», приближавшейся с востока, о прокламациях, в которых говорилось о «Великой стране Цин». Уступая немислимой силе привычки, пусть даже город вокруг них горит и тлеет, представители высших слоев общества всю ночь 4 июня ковырялись в руинах своих имений в поисках подходящих церемониальных нарядов, в которых можно было принять



тех, кто прогнал Ли Цзычэна. Причем автоматически считалось — это по-прежнему верный У Саньгуй и наследный принц Минов.

На утро следующего дня выжившие министры выстроились вдоль пути в Пекин километров за десять от города, собираясь приветствовать нового правителя. Однако когда великая армия подошла ближе, взволнованные чиновники получили не реставрацию старой династии, а десятки тысяч бритых лбов и лоснящихся черных косичек, принадлежавших варварским — маньчжурским — воинам. Несомненно, после смущенного топтания кого-нибудь из числа собравшихся для встречи вытолкнули из толпы, и тот поспешно вызвался проводить чужаков в город. Двигаясь по улицам, по обеим сторонам которых выстроились жители, протягивавшие цветы и дымящиеся палочки благовоний в знак приветствия, войска прошли к восточным воротам Запретного Города, где один из чиновников «приготовил императорские регалии». Один из варваров соскочил с коня и взобрался на императорскую повозку. Он сказал людям: «Я принц-регент. Минский наследник обратится к вам в свое время. Он дал согласие на то, чтобы я был вашим правителем». Толпа ошеломленно зароптала. Хотя Доргон продолжал говорить, его слова тонули в нарастающем шуме толпы, старавшейся переварить потрясение и постичь, кем же является этот незнакомец. Самый оригинальный слух из моментально распространившихся по городу сообщал: их новый правитель ведет свою линию от минского императора, захваченного монголами в 1449 году, и является продуктом минско-монгольских степных связей. Между тем Доргон в сопровождении облаченной в шелковую парчу стражи «прошел в Запретный Город» или по крайней мере во дворец, оставшийся после устроенного там Ли Цзычэном пожара. И так, при столь запутанных обстоятельствах после десятилетий недовольства, измен, манкирования обязанностями и некомпетентности и несмотря на усилия, затраченные на строи-

тельство минской стены, варвары-маньчжуры пробрались в сердце страны, чтобы занять свое место в окрашенном красным святая святых китайской империи.

Медленно и ко всеобщему удивлению в столицу вернулась нормальная жизнь, даже несмотря на то что улицы и рынки вновь, как и триста лет назад, заполнили северные варвары. Новая династия Цин предложила пострадавшим бывшим чиновникам династии Мин мир и должности, похоронив мертвого императора и разослав по всей стране генералов — включая и У Саньгуя — искоренять приверженцев Ли Цзычэна. «Совсем как в старые времена», — с удовлетворением заметил некий ученый, когда чиновники вернулись на Чанъаньский рынок побыть вместе и посплетничать.

Остатки династии Мин продолжали существовать на юге. Спустя восемнадцать лет У Саньгуй поймал и передал в руки маньчжурских хозяев последнего члена клана Чжу, который мог провозгласить себя императором династии Мин, кузена императора, решившего убить себя, лишь бы не видеть, как мятежники берут Пекин. Несколькими месяцами позже последнего из Минов потихоньку умертвили. Возможно, раздумывая над этим и над событиями двадцатилетней давности, цинский император посвятил династии Мин стихотворение о рубежной стене:

Вы строили ее на десять тысяч ли, протянув  
до самого моря,  
Но все ваши затраты оказались напрасны —  
Вы истощили силы своего народа.  
Но когда вообще империя принадлежала вам?

Конечно, для любого китайца, обладающего чувством истории, это выглядело знакомым старым циклом, когда энергичные варвары-завоеватели сталкивались с китайским образом жизни. Как многие другие завоеватели-некитайцы до них, спустя двести пятьдесят лет некогда энергичные маньч-

журы окажутся настолько погрязшими и закосневшими в унаследованном ими ритуальном комплексе китайского превосходства, что не сумеют установить верные отношения с новой волной взявшихся за Серединное Царство варваров — варваров с Запада.

Что же касается стены и того, что она специфическим образом олицетворяла — столетия трагического конфликта между людьми, жившими по ее разные стороны, — то уже ничто и никогда не повторится. Практически так же, как и монголы до нее, династия Цин размыла многие северные границы Китая своим Пэ-Маньчжурика, распространившимся за бывшие границы Китая, и устранила старый военный *raison d'être*\* Длинной стены. Примерно через сто лет организованного кровопролития Китай, Внутренняя и Внешняя Монголия, Тибет, Центральная Азия до самого озера Балхаш, Тайвань и, конечно, Маньчжурия оказались в руках Цинов, образовав империю, по сравнению с которой современная Китайская Народная Республика выглядит куцей. Как только династия Цин объединила территории к северу и югу от стены, старая граница утратила стратегическую роль заслона от агрессоров. Западные варвары добрались до Китая не через составляющий сплошную сушу север, а по морю, не принимая во внимание стену.

Стена также потеряла свое прежнее значение как линия, отделяющая цивилизацию юга от варварства севера. Однако, как и монгольская династия Юань, маньчжуры стремились подчеркнуть определенные расовые различия — между югом и севером от старой преграды — для насаждения своей власти как иностранных завоевателей над покоренными китайцами. Прodelали они это двумя способами. Во-первых, путем насилия: император Цяньлун в конце XVIII века систематически подвергал цензуре и уничтожал все письменные источники, и старинные и современные, где критиковались «варвары»; в то же время всех китайцев пос-

---

\* Смысл существования (*фр.*).

ле 1645 года под страхом смерти вынудили носить маньчжурскую прическу: выбритый лоб и длинная косичка. Во-вторых, путем сегрегации: ради сохранения устрашающего военно-кочевого образа маньчжурских правителей Маньчжурию — географически, исторически и этнически тщательно перемешанную степную и земледельческую территорию — преобразовали в некую этническую прародину мифической кочевнической чистоты, путь в которую китайцам с их грязными привычками должен быть закрыт. Теперь, когда варвары могли разъезжать по империи куда им заблагорассудится, они поменялись местами с китайцами: после 1668 года Цины запретили китайцам бывать севернее Великой стены. Лорд Макартни в 1794 году по пути в летнюю резиденцию цинского императора, переехав стену, отмечал пренебрежительное отношение маньчжуров к китайцам. Он ощутил другую власть, правившую на северо-востоке и находившуюся вне досягаемости этнических китайцев.

«Один татарин-слуга из низшего класса, прислуживавший во дворце, видимо, украл что-то из утвари, приготовленной для нас, и когда его отчитывали за кражу [наши китайские провожатые], он отвечал с такой дерзостью, что те приказали наказать его бамбуковыми палками прямо на месте. Как только его отпустили, он заговорил в крайней степени высокомерных выражениях и настаивал на том, что китайский мандарин не имеет права наказывать бамбуковыми палками татарина по ту сторону Великой стены».

В этом контексте Цины придавали некоторое значение сохранению укреплений на северо-востоке. Существует множество рассказов, касающихся странной привычки императора Канси (1661—1722 годы) проверять крепость данной искусственной этнической границы. Он, путешествуя в Шаньхайгуань в обычной одежде, пытался удостовериться, сможет ли он, одетый как простолюдин, запросто проехать через нее. Рассказы неизменно подтверждали надежность



Решат также, что строительство стен даст ответ  
на все их вопросы.  
Они называли свои стены рубежной стеной,  
вместо того чтобы называть их Длинной стеной.  
Они бесконечно строили стены, не делая ни разу пауз,  
чтобы перевести дух.  
Как только объявлялось, что стены будут строиться  
на востоке,  
Обязательно сообщалось, что орды варваров напали  
на западе.  
Они проскакивали через разрушенные стены словно  
по плоской земле,  
Грабя что хотели и где хотели.  
Когда варвары отступали, стены снова вырастали.  
Строители трудились от рассвета до заката, а какова  
была польза?  
Землевладельцы и министры проматывали  
правительственные фонды,  
Растрачивая деньги, потребные для сельского хозяйства.  
...  
Для чего мы строили стены длиной в десять тысяч ли?  
Династия за династией заканчивали одинаково.  
Так что ж мы смеемся только над Ши-хуанди?

Теперь, когда стена с позором и унижением официально прекратила выполнять отводившиеся ей практические функции, она в любой момент могла превратиться в декоративный туристический объект, в помпезную историческую подделку. Короче говоря, стать той стеной, которая, как бы ее ни называли в течение двухтысячелетнего существования — Длинная стена, Рубежная, Пограничная, Деять Пограничных Гарнизонов, — будет очищена от своей постыдной истории и переименована в Великую впечатлительными посетителями, не знакомыми с истинной глубиной и тяжестью ее неудач и готовыми лишь безусловно боготворить ее.



## Глава одиннадцатая

### *Как варвары создавали Великую стену*

В 1659 году тридцатишестилетний сын бельгийского сборщика налогов приплыл в Макао, на остров у южного побережья Китая, который столетием раньше застолбили за собой португальские торговцы и миссионеры. Новоприбывшему, астроному и миссионеру Фердинанду Вербисту, вскоре стало ясно: он прибыл в Серединное Царство в крайне неблагоприятный момент в развитии китайско-западных отношений. Через год или около того Вербист оказался в Пекине, где вступился за Адама Шаля, немецкого астронома, обвиненного ксенофобски настроенными конфуцианскими министрами в подготовке мятежа против императора. Императорский вердикт, возможно, не является свидетельством адвокатского таланта Вербиста: Шаля приговорили к смерти путем удушения, а самого Вербиста заточили в тюрьму. К счастью двух европейцев, землетрясение, случившееся в 1665 году, поколебало уверенность императора в справедливости приговора, и их по амнистии освободили. Шаль, сломленный заключением, умер в том же году. Вербист же, будучи в большей степени астрономом, нежели адвокатом, остался в Пекине до 1669 года, когда недалекий

конфуцианский чиновник предоставил ему шанс добиться благоволения у нового молодого императора, Канси. В день Рождества в 1668 году начальник департамента Астрономии — бывший обвинитель Шаля — издал календарь на 1669 год. Вербист раскритиковал его и взялся доказать свои более глубокие знания в ходе соревновательного эксперимента. Через две недели, после правильного предсказания высоты и угла подъема солнца, Вербист стал новым начальником департамента Астрономии. Его оппонента отстранили от должности и арестовали.

К моменту своей смерти в 1688 году — к тому времени он свободно говорил на шести языках, включая китайский и маньчжурский, — Вербист проработал на императорский двор два десятилетия. Он составлял календари, соорудил громадные и сложные астрономические инструменты, а также обсерваторию, где их можно было использовать, и руководил отливкой ста тридцати двух больших пушек (на которых он, непонятно зачем, выгравировал мужские и женские имена христианских святых), впоследствии установленных на оборонительных стенах китайских городов. В свободное от государственных проектов время Вербист изобретал всякие легкомысленные безделушки для забавы императора: солнечные часы, водяные часы и насос для водных объектов в дворцовых садах. Вероятно, его самым инновационным проектом стала первая попытка создать автомобиль, в котором он связал ремнем котел и печь, присоединил к ним лопаточное колесо, приводы и колеса, а потом примерно в течение часа ездил на этом паровом агрегате по переходам Запретного Города. В процессе работы у него установились тесные и дружественные рабочие отношения с Канси, и он все больше становился чиновником императора.

Судя по всему, Вербист являлся выдающимся человеком: уехав на Дальний Восток и став любимым астрономом и изобретателем китайского императора, он, по бельгийским стандартам XVII века, прожил удивительную жизнь, одна-



ко для коллег-современников его карьера и путешествия не представлялись чем-то исключительным. Вербист, как и Шаль, одним из нескольких сотен иезуитов прибыл в Китай, начиная с XVI века. Он стал частью прозелитствующей католической диаспоры в новом, неевропейском мире, которая шла вслед за первопроходческими путешествиями Колумба, и одним из горстки монахов, добившихся доступа в сердце имперской власти.

Как неизменный фаворит императора, Вербист в начале 1680-х годов дважды в качестве главного измерителя сопровождал цинского покровителя — только в одной поездке эскорт состоял из шестидесяти тысяч человек, ста тысяч лошадей, имелся «огромный оркестр с барабанами и музыкальными инструментами», присутствовала также бабка императора — в выездах на охоту в Маньчжурию. «Мне полагалось постоянно находиться возле императора, — записал Вербист, — чтобы в его присутствии совершать необходимые измерения для определения положения светил на небе, восхода Полярной звезды, уклона местности и подсчитывать при помощи моих математических инструментов высоты и расстояния между горами. Он также мог в удобный момент попросить меня рассказать о метеоритах и любых проблемах физики и математики».

Будучи более чем императорскими увеселительными поездками, северные экспедиции Канси выполняли исключительно важную символическую и практическую функцию в ранний период маньчжурского правления в Китае. Они давали императору возможность продемонстрировать сохраняющуюся энергию своих кочевых предков, доказывая перед своей шестидесятитысячной свитой, что его способности в искусстве верховой езды, стрельбы из лука и охоты в родных местах не хуже, чем у его предков-завоевателей. У Канси к тому же страсть к охоте не была показной: во время охот он проявлял чисто мальчишеский энтузиазм, составляя скрупулезные списки собственных трофеев. Кроме того,

выезды за старую рубежную стену предоставляли маньчжурским войскам возможность проводить серьезные полевые тренировки: в стрельбе, разбивке лагеря, езде верхом различным строем. Однако вместе с выставлением напоказ степных традиций маньчжурские императоры все же заметно приспосабливались к завоеванной ими стране, устраивая масштабные шоу из собственных заимствований из цивилизованного образа жизни китайцев. После начального периода жестокого покорения Цины обхаживали литераторов из числа коренных китайцев, вовлекая их в обширные субсидируемые государством издательские проекты, характерные для классического Китая. Цяньлун, внук Канси, объявил себя автором сорока двух тысяч стихотворений, активно собирал образцы китайской каллиграфии, картины, фарфор и бронзу и даже совершил обряд поклонения перед изображением Конфуция на родине мудреца, в провинции Шаньдун. Канси, Юнчжэн и Цяньлун, три правителя, которые своими деяниями привели цинский Китай в XVIII век, «Век Процветания» (собственное выражение Цяньлуна) — и провели через него, — предприняли попытку реально держаться среднего пути между двумя политическими традициями. Они более или менее успешно показывали — сохраняя динамичные связи со своими мускулистыми маньчжурскими корнями, они в то же время придерживаются книжной конфуцианской традиции. В конце правления Цяньлуна — последнее десятилетие XVIII века — в имперском пространстве маньчжуров начали появляться трещины. При почти удвоившемся во второй половине XVIII века населении (до трехсот тринадцати миллионов), при наличии серьезных проблем с ресурсами и возможностями авторитарная власть императоров в политическом центре и сильно разбросанная и плохо финансируемая местная бюрократия проявили неспособность удовлетворять насущные потребности на местах. В конце XVIII века Китай представлял собой эндемически коррумпированное обще-

ство, стоявшее на пороге столетия мятежей и восстаний все более катастрофических масштабов.

Вернемся в оживленные 1680-е годы. Когда император Канси развлекался, уничтожая медведей, вепрей и тигров, его вылазки на северо-восток, вероятно, дали Вербисту шанс изучить очередной интересовавший его вопрос: возможность нового пути для передвижения миссионеров между Западной Европой и Пекином, через Москву. Пути менее опасного, чем кишевший пиратами маршрут из Европы в Макао.

Создание прообраза Транссибирской железнодорожной магистрали оказалось не под силу даже особо изобретательному монаху, и Вербист, похоже, ни на шаг не продвинулся в реализации своего плана. Однако, вероятно, именно бесплодные рекогносцировки на этом пути превратили Вербиста в страстного поклонника сооружения, изначально предназначенного не допустить как раз того свободного прохода между Китаем и иностранными землями к северу, на который он рассчитывал: старой минской рубежной стены.

Увиденное Вербистом, вполне понятно, произвело на него огромное впечатление. Стена, где он побывал, должно быть, представляла собой линию кирпичных оборонительных сооружений, головокругжительно вьющуюся по вершинам гор к северо-востоку от Пекина, от Губэйкоу до Шанхайгуаня, — этакая волнистая, вписавшаяся в пейзаж лента, с благоговением описанная в тысячах туристских брошюр. Скорее всего он не увидел земляную насыпь, в которую стена превращалась дальше на запад, и дыры в отдаленных местах оборонительной линии, пробитые монголами и маньчжурами в начале века. «Что за изумительная Китайская стена! — восклицал Вербист. — Все семь чудес света, взятые вместе, не сравнятся с этим творением; и все, что сообщает о ней молва среди *европейцев*, далеко не отвечает тому, что я видел своими глазами».

В начале поездки в Китай Вербиста сопровождал еще один иезуит, талантливый картограф и знаток средневеко-

вого Китая Мартино Мартини, возвращавшийся в Китай после десятилетнего отсутствия. Хотя Мартини умер вскоре, в 1661 году, главное достижение, венчавшее его исследования, на которые ушла вся жизнь, было опубликовано восьмью годами раньше: «*Atlas Sinensis*», коллекция наиболее полных и авторитетных карт провинций Китая того времени с кратким описанием страны, создавшая ему среди европейских картографов имя отца китайской географии. На карте Мартини гипербола Вербиста приобретает физическую форму в виде жирной зубчатой линии, проходящей по северу Китая, которая прерывается только горной грядой и временами встречающимися реками. «Прославленная стена, — восторгался Мартини, — очень известна... она длиннее, чем вся продолжительность Азии».

«Она опоясывает всю империю... Я обнаружил, что она превышает в длину три сотни германских лиг... Она нигде не прерывается, кроме как в северной части, у города Сиуень в провинции Пекуинг, где малые участки образованы ужасными и неприступными горами, которые переходят в мощную стену... Остальная часть едина... Высота стены составляет тридцать китайских локтей, толщина — двенадцать, а часто пятнадцать локтей».

Сделав столь поспешное обобщение о состоянии всей стены, предположительно после осмотра участка возле Пекина, Мартини перешел к закладке следующего камня в фундамент современного мифа о Великой стене: к ее беспрецедентной древности.

«Человеком, который начал эту работу, был император Сиус... Он строил эту стену с двадцать второго года своего правления, то есть за 215 лет до Рождества Христова... За удивительно короткое время, всего за пять лет, она была построена так основательно, что если кому-то удалось бы вставить ноготь между двумя отесанными камнями, то строителя этого участка предали бы смерти... Это творение изуми-

тельно, масштабно и достойно восхищения, оно простояло до сегодняшнего времени без единой трещины или следа разрушения».

Иезуиты не были первыми европейцами, сообщившими о стене. Со времен Римской империи, когда Аммиан Марцелин дал описание государства Серес (шелк — товар, в понимании римских потребителей ставший синонимом Китая) как страны, окруженной «громадами высоких стен», Европа имела туманные, мифологизированные представления о Китайской стене. В течение I тысячелетия нашей эры на Ближнем Востоке ходили легенды о железной стене в Центральной Азии, построенной Александром Великим между двумя горами под названием Груды Севера и предназначенной для того, чтобы запереть зловещие северные орды Гога и Магога, которые, как предсказано в Ветхом Завете, «будут ждать установленного срока, а затем в последние дни перед концом света налетят на землю подобно урагану, несущему смерть и разрушение». Поскольку на протяжении веков степь волну за волной рождала воинственных всадников — скифов, тюрков, монголов, — она начала походить на место нереста для Армагеддона, а мифическая стена Александра растворилась в сообщениях о китайских стенах, которые начали просачиваться на Запад, после того как европейцы и их религиозные посланники приступили к освоению морей. Католические миссионеры, торговцы и историки Китая в десятилетия, предшествовавшие вторжению иезуитов, считали: стена — никто из них не видел ее своими глазами — в длину насчитывала от трехсот двадцати до двух тысяч четырехсот километров и представляла собой сооружение, заполнявшее промежутки между естественными горными укреплениями.

Будучи не особенно точными при описании стены, эти отчеты по крайней мере избегали абсурдных преувеличений. Однако именно появление в XVII веке иезуитов свело ран-

ние, более сдержанные западные сообщения о китайских стенах в единую подавляюще Великую стену. Более того, в версии иезуитов стене не дозволялось существовать отдельно в качестве памятника, которым можно восхищаться просто из-за его поразительных размеров. Идея и почитание Великой стены стали составной частью низкопоклонства со стороны иезуитов перед самим Китаем. В наиболее пылких отчетах авторы начинают аналитически, философски, а также описательно преувеличивать достоинства стены и народа, ее построившего: «Мы можем только восхищаться заботой и усилиями китайцев, которые, похоже, использовали все средства, о которых может помыслить человеческий разум, для обороны своего царства и сохранения общественного спокойствия». Самым известным и успешным иезуитом, путешествовавшим в Китай, приходилось любить Китай и его достижения — включая Великую стену, — так как они очень многое отдали, чтобы вжиться в эту страну (и перетянуть население в католицизм), вплоть до компрометации элементов христианской миссии, которая в первую очередь привела их туда. Создание образа Великой стены в представлениях Запада предопределило заметный сдвиг в отношении европейцев к Китаю в начальный период современной истории. Появилось четкое мнение: поскольку у Европы нет явного превосходства в вооружении, то чтобы получить что-то от Китая — будь то торговая прибыль или обращенные в веру, — европейским посланникам придется заигрывать с китайским мировоззрением, принимать китайские нравы, а значит, и подыгрывать вековому имперскому комплексу культурного превосходства.

Иезуитские миссионеры, настолько глубоко полюбившие Китай в целом и его стену в особенности, создали тем самым один из исторических парадоксов семнадцатого столетия. Присутствие иезуитов в Китае как составляющей католического экспансионизма стало прямым следствием нового для европейцев империалистического, жаждущего при-

были стремления торговать и завоевывать. В XV веке, ожив после разорительных войн и эпидемий предшествующего столетия, Европа принялась вынюхивать себе дорогу вовне, вдоль неисследованных торговых путей. В 1428 году, пытаясь покрыть ущерб, понесенный от нападений монголов и турок, египетский султан решил подоить своих европейских клиентов и более чем на шестьдесят процентов поднял цену на перец. Потребность вернуть прибыли вынудила европейских торговцев искать альтернативный морской путь к пряностям Востока, путь, который шел бы в обход Александрии с ее чрезмерными запросами. Под управлением своего кормчего-монарха, принца Генриха Мореплавателя, португальские моряки прокрались вдоль африканского берега, захватив на севере Квету, обогнули мыс Доброй Надежды и бросили якорь в Калькутте, чем открыли для Европы массу новых земель, народов и возможностей. Для монархов и торговцев их открытия обещали власть и прибыль; для католической церкви на юге Европы, которую подталкивала агрессивная самоуверенность, вновь обретенная после изгнания мавров из Испании, — потенциально богатый урожай языческих душ.

Катализатором европейской экспансии стал фанатичный союз между государством и церковью, при этом и для одного, и для другой ранние Крестовые походы узаконили использование силы для распространения христианской веры. Предвкушая огромные возможности для обращения, в XV веке папы римские благословляли империалистические завоевания, раз за разом даруя португальцам политическую власть над землями, отвоеванными у язычников. После того как Колумб случайно открыл Америку, полагая, будто нашел новый путь в Индию, Южная Америка испытала всю тяжесть воинственного, националистического католицизма, а ее население вскоре оказалось слишком ослабленным привезенными европейцами заболеваниями, чтобы сопротивляться. Язычество давало рациональный повод для завое-

ваний и эксплуатации Нового Света: поскольку население Америки составляли язычники, следовало из наказов католицизма, оно заслуживает того, чтобы их богатство было у них отнято, чтобы к ним применялось любое насилие, необходимое для обращения их в богобоязненных христиан.

Португальцы — первые европейцы, появившиеся в Восточной Азии в достаточно большом числе, — испробовали бы точно такой же насильственный подход, чтобы поставить Китай на колени, если бы не встретили серьезное противодействие режима, вполне способного постоять за себя в бою. Когда в начале XVI века португальцы попытались недипломатично навязать свою волю континентальному Китаю в Кантоне — построили форт, стали покупать китайских детей, торговать где вздумается, — минское правительство выслало военный флот, потопило много португальских судов и казнило всех захваченных пленных (по ходу дела Мины не забывали тщательно изучать португальские пушки, чьи копии впоследствии установили на фортах пограничной стены). Позднее и лишь благодаря внутрикитайским распрям, а вовсе не переговорному искусству португальцев, примерно в 1557 году, европейцам наконец удалось пробраться на Макао, где они построили себе дома и церкви, и с этого острова решили предпринимать миссионерские вылазки.

Вначале европейские миссионеры — многие из них являлись доминиканцами и францисканцами, представителями орденов, пользовавшихся правом прозелитствовать в Южной Америке, — совершили точно такие же ошибки, как и их партнеры торговцы. Заносчивые, настроенные европоцентристски, первые миссионеры выгрузились в Китае без разрешения и знания языка, а еще они ожидали, что новообращаемые пойдут к ним табунами. Проворные чиновники быстро отправили их назад в Европу, где миссионеры весомо намекнули наделенным властью лицам: «Нет никаких надежд на то, чтобы обратить [китайцев] в веру, если не прибегнуть к силе и если они не уступят воинской силе». Вы-



садка в стиле коммандос четырех францисканских монахов в 1579 году закончилась тем, что они были схвачены, а один из них погиб в китайской тюрьме. «Никакой женский монастырь, — вздыхал задумчиво некий испанский придворный историк, размышляя о китайской империи, — не может сравниться в соблюдении правила уединения».

Для миссионерской деятельности потребовалось радикальное приспособление к китайским обычаям и языку даже для того только, чтобы ей позволили осуществляться в континентальном Китае. К такого рода мимикрии оказался способен орден иезуитов, чья миссионерская деятельность основывалась на принципе культурой адаптации. Прежде всего святой Игнатий Лойола, основатель ордена, установил, чтобы его последователи изучали язык любой страны, где они работают, и не оговаривали никаких особых привычек, позволяя, таким образом, членам ордена, по крайней мере теоретически, вжиться в местные условия. Во-вторых, орден иезуитов предписывал своим членам усваивать самые передовые аспекты западной культуры и науки, чтобы иметь возможность преподносить потенциальным верующим европейскую религию как часть полного и применимого на практике пакета цивилизации и знаний. Признавая Китай искушенным и в высшей степени образованным обществом, каким он на самом деле и являлся, иезуиты хорошо подготовились к выполнению там двух задач: доставить удовольствие китайцам, показав, что они в достаточной степени морально и интеллектуально подкованы и могут познать китайскую культуру, и достичь достаточной беглости в использовании китайского языка, чтобы донести до потенциальных обращенных ценности собственной христианской культуры и знаний. В 1577 году высокопоставленный иезуит, отвечавший за деятельность в Восточной Азии, приказал монахам приступить к изучению китайского языка. Спустя пять лет, после того как иезуиты начали учиться соблюдать китайский этикет — прежде всего как совершать обряд коутоу, — им был даро-

ван небольшой клочок земли на юге континентального Китая, где они построили дом и церковь. Усердие и прилежание Маттео Риччи — знаменитого иезуита, первым побывавшего в китайской столице, — в постижении знаний Европы (математики, географии, теологии) и Китая (язык, конфуцианская литература и философия) в течение двадцати трех лет, которые он провел в Китае, позволили ему добиться приглашения в Пекин, где он прожил последние девять лет своей жизни и тем самым основал в самом сердце китайского мира присутствие католицизма, которое затем наследовалось его преемниками, в том числе и несчастным Адамом Шалем.

Благодаря блестящим лингвистическим способностям и трудолюбию Риччи католическим монахам более не грозило неизбежное заключение в тюрьму, пытки и выдворение (живыми или мертвыми) из Китая (хотя позиции иезуитов всегда были уязвимы со стороны зависти придворных астрономов, готовых дискредитировать соперников как иностранных предателей, о чем с прискорбием узнал Шаль). Однако объективная оценка карьеры Риччи или более поздних иезуитов, чье место в Пекине обеспечил своим усердием Риччи, показывает: на обоих уровнях — материальном и психологическом — Китай вышел победителем из встречи Востока с Западом. Китайцы смогли воспользоваться самыми передовыми плодами западных знаний, растолкованных начитанными иезуитами. Пренебрежение Цяньлуна к техническим подношениям лорда Макартни в 1793 году можно частично объяснить тем, что иезуиты при его дворе давным-давно вооружили его такими же, если не более сложными, приспособлениями. А то обстоятельство, что некоторые из наиболее одаренных, эрудированных людей из Европы по собственной воле погрузились в конфуцианскую философию, могло лишь укрепить уверенность в превосходстве китайского мировоззрения: внешние атрибуты западной цивилизации (карты, астрономические инструменты, пушки)

могут быть спокойно привлечены в базовые ценности китайской культуры, не угрожая преимуществу последней; Китай является центром притяжения, которому неизбежно приносятся даннические подношения от восхищенных почитателей, но которому нет и быть не может серьезных, радикальных культурных альтернатив.

Через несколько лет пребывания в Китае, если не считать черт лица и окладистой бороды, Риччи выглядел и вел себя как самый настоящий китаец, носил головной убор и длинный шелковый халат фиолетового цвета, как подобает ученому-чиновнику, обсуждал конфуцианскую классику, кланялся и опускался на колени именно в тот момент, когда это требовалось. Если практические западные знания и техника изначально должны были играть роль ложки сахара, подслащавшего горькое лекарство христианства, то пациенты Риччи оказались достаточно опытными, чтобы с жадностью проглотить первое и выплюнуть последнее. Лишь немногие из его многочисленных посетителей, как известно, перешли в христианство. Большинство же просто хотели увидеть его часы и глобусы, его карту мира, поглазеть на способность варвара говорить по-китайски. Точно так же положение Вербиста при дворе (как астронома и советника императора) обязывало его не только ослабить работу с потенциальными обращенными; ему пришлось урезать собственные верования. А попытки Риччи перевести христианские догматы на китайский язык привели к тому, что он скорее оконфуцианил христианство, чем охристианил конфуцианство. Дабы не отпугнуть потенциальных верующих, Риччи изучал старину, стремясь приспособить традиционные китайские верования к католицизму. Поклонение предкам, ритуальную основу конфуцианской морали, Риччи считал полностью совместимым с христианской верой, расценив его как простой акт уважения, лишенный религиозного смысла.

А самым полезным оказалось то, что китайцы — не сделав ни одного осмысленного движения в данном направлении — получили в лице иезуитов в основном заслуживающую доверия, влиятельную группу западных пропагандистов. Приложив столько усилий, чтобы снискать расположение китайцев, иезуиты, такие как Риччи и Вербист, искали оправдания своей работе, которой посвятили всю жизнь, расписывая достоинства Китая в письмах, дневниках и книгах-отчетах, отсылаемых ими в Европу. Когда в сердце Европы XVII века католическая верхушка начала критиковать приспособленчество иезуитов к китайским ритуалам как неприемлемую ересь, иезуиты сочли себя обязанными сочинять еще более экстравагантные восхваления достижений Китая, желая создать в своих сочинениях образ блестящей цивилизации, чьи базовые добродетели могут оправдать их компромисс с языческим обществом.

В глазах Риччи Китай представлял собой благотворный пример порядка, единства и моральных норм для Европы, раздираемой на части постреформатским религиозным конфликтом. Его растения и плоды питательны и изобильны, флора богата и разнообразна, а управление «этой удивительной империей» направляется соображениями достоинства, чести, добродетели, учености, справедливости и умеренности. «Древнее царство Китая получило свое имя от всеобщей практики учтивости и вежливости, — восхищался он, — и это является одной из пяти базовых добродетелей, которая ценится превыше всех остальных». Даже китайское вино, отмечал Риччи, казалось, приготовлено разумно, не вызывая у пьющего похмелья.

Иезуитский культ Великой стены был всего лишь наиболее очевидным парадоксом в их решении служить пропагандистами Китая на Западе и лучше всего иллюстрирует то, до какой степени потребность в защите вложенного ими в Китае притупила их критический дар: они, в сущности, боготворили сооружение, явно предназначенное для того, что-

бы не допускать в страну им подобных. На протяжении XVI—XVII веков под пристальным взглядом иезуитов пограничные оборонительные сооружения Китая из простой «стены» сообщений ранних путешественников преобразились в «огромную стену» (1616 год), «знаменитую стену» (1681 год), в «ту поразительную стену» (1683 год), в «эту Великую стену» (1693 год) и, наконец, в «ВЕЛИКУЮ СТЕНУ» (1738 год). В конце семнадцатого столетия прославленная, скрупулезная эрудиция ордена — в том, что касается стены, — была отложена в сторону в интересах пропаганды: не обращая внимания на явные географические расхождения между описанием начерно построенной «длинной стены» династии Цинь в «Исторических записках» Сыма Цяня и реально существовавшей минской, из кирпича и камня, стеной возле Пекина, наблюдатели-иезуиты объединили их и провозгласили: единая Великая стена «почти целиком построена из кирпича... более тысячи восьмисот лет назад» и чудесным образом «хорошо сохранилась» для своего возраста.

Хотя горстка много попутешествовавших монахов пыталась несколько поумерить пыл, указывая на неважный вид стены за основными проходами, тональность большинства сообщений оставалась восторженно благоговейной. После 1735 года, когда иезуит Жан-Баптист дю Халде издал «Описание китайской империи» — собрание отчетов других иезуитов, включая Вербиста, в XVIII веке нашедшее свое место на книжных полках у многих интересовавшихся Китаем европейцев, — иезуиты окончательно закрепили на Западе мнение о стене: «расположенная уступами и обложенная кирпичом... достаточно широкая, чтобы пять или шесть всадников могли с легкостью проехать по ней в ряд». На время пропали даже упоминания об исторических неудачах стены, о брешах и руинах, о сравнительной молодости минской стены на северо-востоке. Даже позорная роль стены в маньчжурском завоевании Китая в 1644 году вызывала лишь

флегматичные вздохи: «Таковы превратности людских отношений».

В 1703 году девятилетний мальчик по имени Франсуа Аруэ приступил к учебе в коллеже Сен-Люи-ле-Гран, располагавшемся в Париже, на задворках Сорбонны. Будучи в то время самой престижной и модной школой во Франции, этот руководимый иезуитами коллеж взрастит некоторые пользующиеся дурной славой умы, включая Робеспьера и маркиза де Сада. Аруэ и сам станет одним из его самых известных и по большей части выдающихся питомцев под псевдонимом Вольтер, взятым в 1718 году, после годовичного заключения в Бастилии за критику государства в одном своем стихотворении.

Несмотря на прославленное искусство его учителей-иезуитов, Вольтер в поздних воспоминаниях в основном без удовольствия упоминал о пережитом во время учебы в Сен-Люи-ле-Гран. В «Философском словаре» он пишет: ребенком ему приходилось «учить латынь и всякую чепуху». Обедая в доме мистера и миссис Александр Поп в Лондоне, он весело рассказывал о почти забытых временах школярства. Когда его спросили, отчего к тридцати годам он так плохо физически сложен, он поведал: «Те проклятые иезуиты заездили меня до такой степени, что мне не вырасти больше до самой смерти».

В то время Вольтер являлся не единственным, кто критиковал иезуитов. По мере того как спор об обрядах — обвинивший иезуитов в том, что в своем стремлении заполучить новых верующих вне Европы они недопустимо искажали веру, приспособливая ее под местные условия, — в течение всего XVIII века набирал обороты, оппозиция иезуитам внутри католической церкви усиливалась. В глазах их клерикальных инсинуаторов деятельность иезуитов в Китае — где самые видные иезуиты одевались как ученые-чиновники и становились частью государственной конфу-

цианской машины — выглядела ярким примером оппортунистической капитуляции ордена перед язычниками.

Однако за жесткими доктринальными границами католической церкви сообщения иезуитов о расположенных вне Европы странах впитывались самыми оригинальными и пытливыми умами эпохи. К концу XVII века Европа начинала прорыв из интеллектуальной вселенной, ограниченной классической ортодоксальностью и Ветхим Заветом, чтобы осознать — мировая история уходит за границы понимания христианской Европы. Расширение светских и географических границ Европы состоялось с первыми проблесками знаний в области геологии, в течение столетия раздвинувшими рамки истории Земли с шести тысяч до миллионов лет, превратив временную шкалу библейского Создателя в насмешку, и с осознанием существования новых стран, вокруг чьих границ европейцы пока лишь кружили. Эрозия старых, европоцентристских истин воодушевляла мыслителей, и они ставили человеческий разум выше унаследованных ортодоксальных теологических доктрин, искали релятивистские, толерантные системы взглядов, способные вместить атмосферу потрясения от быстро раздвигающихся горизонтов.

Вероятно, не было другой такой неевропейской страны, которая несла в себе столь мощный вызов христианскому европоцентризму, как Китай. По мере того как первые европейцы — большинство из них монахи-иезуиты — оседали в Китае и начинали посылать назад детальные сообщения о Серединном Царстве, Европа получала сведения о государстве, существовавшем вне пределов христианской цивилизации и выглядевшем в глазах многих *philosophes* в сравнении со своими европейскими аналогами более чем предпочтительно: было рациональным и упорядоченным, более толерантным и образованным. По рассказам иезуитов о Китае ученые XVIII века распознали непрерывную историю, существовавшую без ссылок на европейскую хронологию и уходившую назад на пять тысяч лет, к 2952 году до нашей

эры, то есть за шестьсот лет до предполагаемой даты Великого Потопа. Интеллектуальное восхищение усилилось, когда предметы китайской материальной культуры стали получать высочайшую оценку. По мере того как португальцы, испанцы и голландцы приоткрывали двери для торговли, все больше вещей с Дальнего Востока попадало в европейские дома: мягкие шелка, изящный фарфор и резные шкафы, которые еще в течение десятилетий будут выше технических возможностей европейских имитаторов. К концу XVIII века любовь к китайским вещам увлекла европейских дизайнеров и архитекторов и вылилась в лаковое безумие мадам Помпадур и Марии Антуанетты, в экстравагантных бронзовых драконов павильона принца-регента в Брайтоне.

Для Вольтера, неисправимого, любящего поспорить критика догм, истинного представителя Просвещения, Китай явился особым образцом, подходящим для противопоставления Франции его времени. Когда правление Людовика XIV, сопровождаемое неразберихой банкротства, военными поражениями и религиозной нетерпимостью, подходило к концу, французский деспотизм, видимо, едва ли мог импонировать Вольтеру, который провел значительный отрезок своей взрослой жизни в тюрьме или вдали от родной Франции, в изгнании, спасаясь от цензуры и преследования из-за ссор со знатью и церковью. В Китае и в его государственной философии, конфуцианстве, Вольтер усматривал высококультурную цивилизацию, выделяющуюся древностью, обильным населением, выдвижением образованных людей на позиции руководства страной, религиозной терпимостью, отсутствием угнетающей церковной бюрократии, просвещенными правителями (в выработке панегирических выводов Вольтера относительно китайской империи сыграло роль то обстоятельство, что он жил примерно в одно время с Цяньлуном, последним из трех великих императоров династии Цин, в свое правление обеспечивших беспрецедентное расширение границ и увеличение населения Китая; сами



они в то же время являлись энергичными покровителями и участниками развития литературы и искусства). Короче говоря, суммировал Вольтер в «Философском дневнике», «построение [китайской] империи фактически является лучшим в мире, единственным, основанным на патерналистской власти... единственным, где губернатор провинции подвергается наказанию, если не сумеет добиться одобрения народом деятельности своего кабинета; единственным государством, где имеются нормы о награждении за добродетель, тогда как во всех других странах законы ограничиваются наказанием за преступление; единственным государством, которое заставляет завоевателей воспринимать свои законы... четыре тысячи лет, когда мы не умели даже читать, китайцам были известны абсолютно все вещи, которыми мы хвастаемся сегодня».

Несмотря на то что Вольтер часто бывал на ножах с иезуитами как представителями католической бюрократии, он проглотил их версию Китая целиком, заполнив свои книжные полки иезуитской прокитайской пропагандой, включая «Описание» дю Халде, написанное в 1735 году. И, руководствуясь синофильскими текстами, которые он хорошо усвоил, Вольтер полюбил Великую стену — по большей части. «Великая стена, — восхищался Вольтер в 1756 году, — [которая] была построена за сто тридцать семь лет до нашей эры, стоит до сегодняшнего дня; она составляет в окружности пятьсот лиг и, поднимаясь на вершины гор и падая в пропасти, почти повсюду доходит до двадцати футов в ширину и более тридцати футов в высоту: монумент, превосходящий египетские пирамиды и по утилитарности, и по масштабам». Восемь лет спустя на страницах «Философского дневника» его любовь к стене не уменьшилась: «Мне бессмысленно здесь противопоставлять китайскую Великую стену памятникам других государств; стена просто оставляет их в пыли за собой. Нет также нужды повторять, что пирамиды Егип-

та всего лишь детские и бесполезные холмы в сравнении с этим великим творением».

Любовь Вольтера к Китаю порой играла против него, приводя к ситуациям, опасным для его честности как литератора и личного достоинства. В 1755 году он завершил работу над «Китайской сиротой», пьесой с псевдоисторической фабулой из времен Чингисхана, которую он превратил в откровенно тупой инструмент обустройства приюта для собственного мнения о превосходстве китайской цивилизации как «великого примера естественного превосходства, чьи разум и гений побеждают слепую силу и варварство» и для прославления важности искусства для современной ему Франции. В пьесе Чингисхан и его монгольские орды покоряют Китай силой только для того, чтобы самим быть покоренными науками и искусством побежденной нации. Многие годы спустя семидесятилетний Вольтер все еще был настолько влюблен в созданный им образ Чингисхана, что попробовал себя в его роли в одной из домашних постановок пьесы, организованной ради несчастного Эдварда Гиббона. Тот впоследствии заявлял: «Был сильно поражен нелепой фигурой семидесятилетнего Вольтера. Он со своим глухим, надтреснутым голосом изображал татарского завоевателя и занимался любовью с одной из довольно уродливых племянниц примерно пятидесяти лет».

Возможно, сильнее всего Китай повредил интеллектуальной устойчивости Вольтера. Он изучал китайскую историю и общество не в интересах научной достоверности — он в действительности не сделал никакого усилия для того, чтобы увидеть Китай своими глазами, — а для полемики по вопросам, на которых он сосредоточивался в каждый данный момент: против церковников во имя искусства, против политических институтов современной Франции. Как и иезуиты до него, Вольтер явно имел скрытые мотивы для восхваления Китая. В результате его любовь к Китаю поворачивалась в соответствии с тем, что он хотел делать здесь и

сейчас. К 1766 году, вероятно, под воздействием семян абсолютного скептицизма, которые Хьюм в 1757 году посеял в своей «Естественной истории религии», Вольтер начал судить о Китае и его достижениях уже не как о едином, монолитном примере для всего, что ему было не по душе в тогдашней Европе, а на более прагматичной основе. По-прежнему готовый превозносить китайские законы и нормы Конфуция, Вольтер начинал понимать: его прежняя версия Китая «чересчур восторженна». Почему их научные знания в настоящее время настолько же продвинуты, как в «Европе X, XI и XII веков?». «Их великий прогресс в древности ошеломляюще контрастирует с их нынешним невежеством. Я всегда полагал, что их уважение к предкам — для них своего рода религия — было параличом, который не позволял им прогрессировать в науках». Теперь он уже отказывался положительно отзываться о «стене длиной в пять лиг, построенной в 220 году до нашей эры; этом сооружении столь же бесполезном, сколь огромном, и тем более несчастном оттого, что поначалу казалось полезным, но не смогло защитить империю». Когда Вольтер встал на сторону модернистов против антиков в их знаменитом споре — возникшем в XVIII веке и проявившемся в то время в полемике относительно античного республиканизма, — он убедительно объявил стену «бесполезной».

«Китайцы более чем за двести лет до нашей вульгарной эры построили эту огромную стену, которая не сумела защитить их от вторжения татар... Великая китайская стена является памятником страху... испытывающему терпение китайцев, а не высшему гению. Ни китайцы, ни египтяне не сумели сотворить ни одной статуи, которую можно было бы сравнивать с работой наших скульпторов сегодня».

По мере того как Вольтер колебался по поводу Китая и его стены, по мере того как то и другое теряло безоговорочную поддержку одного из самых живых умов в Европе, ма-

ятник мнения о Китае XVIII века начал решительно смещаться. Более не восхваляемый как вместилище политической добродетели и ума, Китай в глазах европейцев стал трансформироваться в империю, парализованную обоготворением прошлого, истощенную символически огромными, бессмысленными проектами, которые не сумели проявить себя по современным, утилитарным стандартам. Великая стена закончила свое путешествие от факта к мифу, к символу страны, через которую она пролегла.

В сердце Вольтера Англия заняла место сильного соперника Китаю. В 1725 году он бежал через Ла-Манш, скрываясь от ссоры с неким грубым французским аристократом и надеясь найти приют свободы и разума, населенный читателями Локка и Ньютона. Реальность его неизбежно разочаровала, однако не настолько, чтобы затмить хвалы добродетели свободомыслия этой страны в его дневнике путешествий с элементами размышлений, «Письмах относительно английского государства». Однако между двумя иностранными государствами — пассиями Вольтера особой любви не наблюдалось.

С тех пор как португальцы впервые добрались до южного Китая в начале шестнадцатого столетия, получив в конце концов для себя Макао, несколько европейских морских держав, включая Англию, неизменно стремились заполучить такую же ступеньку для торговли на окраине Серединного Царства. Многие учились на прежних ошибках португальцев, особенно голландцы, которые, начиная со своей первой торговой миссии в 1655 году, склонялись перед стариной — или, скорее, в реальности перед будущим, — чтобы усладить китайцев исполнением всех элементов китайского даннического этикета, особенно коутоу. Однако представители Англии не были готовы к такому откровенному прагматизму. Самые ранние крупные английские торговые экспедиции в Китай совпали с усилением национального самомне-

ния и агрессивной самоуверенной нетерпеливости, которые станут приводами завоеваний Британской империи, с прогрессом в технике и вооружениях и с готовностью использовать их в целях колониальной экспансии. В отличие от философов Просвещения британские военные и торговцы не тратили время на рассуждения о достоинствах китайской системы управления. Они хотели отношения и уступок, причитавшихся им как здоровым членам глобальной системы дипломатии и торговли, которую они строили под себя. Когда англичане столкнулись в Китае с еще более старым и зашоренным взглядом на международную дипломатию, отношения начали портиться.

Тон враждебному отношению Британской империи к Китаю был задан в 1748 году в отчете о бесплодном пребывании в Китае, составленном командором Джорджем Энсоном, который в 1743 году привел свой потрепанный парусник в Кантон и попросил помощи в ремонте и снабжении. Вместо того он провел два бесполезных душных месяца при полном игнорировании со стороны китайского губернатора, который, как сообщили Энсону его заместители, был слишком занят и слишком страдал от жары, чтобы принять его. В отчете о случившемся Энсон заменил уравновешенный, идеализирующий интеллектуальный туризм французского Просвещения высокомерным нетерпением британского шовинистического империализма. Энсон питал к Китаю искреннее отвращение — к его «грубой и безыскусной» письменности, «второсортным» техническим возможностям, «скудости талантами». Высказываясь о слабости его оборонительных сооружений, он с надеждой отмечал: «Трусость жителей и отсутствие настоящих военных уставов» обрекают Китай «не только на покушения со стороны любого сильного государства, но и на разграбление со стороны всякого мелкого агрессора».

Энсон, вероятно, брал такого рода уроки у Даниеля Дефо, слывшего барометром британских мнений о Китае в XVIII

веке. Оказавшись к тридцати годам банкротом, Дефо в середине жизни попал в опасную зависимость от способности привлекать читателей из среднего класса к своим полемическим статьям, памфлетам и беллетристике. В «Новых путешествиях Робинзона Крузо», своевременно выскочивших из печатных станков в 1719 году, всего четыре месяца после феноменально успешного «Робинзона Крузо», Дефо изобразил схематичную картину кипучего, напитанного порохом британского империализма. После того как Крузо вторично отправляется путешествовать, он вынужден по стечению обстоятельств оказаться на южном побережье Китая. С побережья он совершает длительное путешествие в глубь материка, на север до Наньцзина, а затем до Пекина, впечатления от которого изложены так, чтобы вылить максимальное количество презрения на принимающую страну и чтобы максимально отразить славу Европы и в особенности Англии. В конечном итоге Крузо добрался до «Великой китайской стены» к северу от Пекина, где он «стоял неподвижно целый час и смотрел на нее в обе стороны, вблизи от себя и вдаль». Он обнаружил — ему в ней мало что по нраву, начиная с отчетливо двусмысленного комплимента ее строителям и инженерам: «Очень большое сооружение, проходящее по холмам и горам по бесполезной линии, где скалы непроходимы, а пропасти таковы, что никакой враг их никогда не преодолет». Отвечая на вопрос о его мнении, заданный докучливым проводником, «превозносившим стену как чудо света», Крузо лицемерно отвечает: «Отличная вещь, чтобы отпугивать татар». Шутка, которую его тупой собеседник, естественно, не понял. После всей сдержанности Крузо больше не в силах контролировать себя:

«Что ж, говорю я, сеньор, вы думаете, что это удержало бы армию моих соотечественников с хорошим запасом артиллерии или наших инженеров с двумя ротами саперов? Что они не разбили бы ее за десять дней, чтобы армия могла

вступить в бой, или не взорвали бы — фундамент и все остальное, — чтобы от нее не осталось и воспоминания?»

Крузо хочет удостовериться: мы поняли — последнее слово в разговоре с китайским провожатым об «этом могучем *ничто*, зовущемся стеной» осталось за нами: «Когда он осознал, что именно я сказал, то молчал всю оставшуюся дорогу и мы больше не слышали его прекрасных рассказов о мощи и величии Китая».

Застольные нападки Дефо на Китай и его стену — незрелая, шовинистическая вера и гордость за европейскую технику, пренебрежительное отношение к Китаю и его претензии на величие — могли сорваться с языка любого приверженца британской дипломатии канонерок девятнадцатого столетия. Во времена написания романа, общеизвестно, угрозы Крузо являлись скорее империалистическим хвостовством, чем реальностью. Далекое от того, чтобы держать в благоговейном страхе будущие колониальные народы, весь XVIII век обожавшие авантюры британцы частенько садились в унижительную лужу и попадали в плен в различных частях света, где им очень хотелось построить собственную империю: к берберским пиратам, алжирским рабовладельцам и императорам монголов. Но по мере того как век XVIII переходил в XIX, по мере того как промышленная революция и международная конкуренция за богатство, территории и власть набирали обороты и наращивали мускулы на костях алчной империалистической риторики, любимые темы Просвещения — наука, универсализм, прогресс в интересах человечества — выживали, едва узнаваемые в более нетерпимых, агрессивно воинственных одеждах. Подзуживаемые самодовольством в связи с великими скачками в развитии техники, подталкиваемые наружу, к новым силовым приобретениям соперничеством с соседними странами, европейские империалистические государства начинали верить: они и только они открыли путь к обновлению и прогрессу для все-

го современного мира. Вовсе не собираясь искать вдохновения в незападных моделях, они теперь приступили к распространению (силой, если потребуется) своей версии прогресса — неотъемлемое право свободной торговли, суверенитета национальных государств, подкрепленных триумфом западной науки — на те несчастные части мира, до сих пор остававшиеся непросвещенными. В глазах нахально самоуверенных британцев, посетивших Китай в XIX веке и позднее — интеллектуальных потомков Робинзона Крузо, — Великая стена стала двояким символом: бесспорно впечатляющий неизменный элемент в экскурсии по антропологическому музею, каковым являлось неторопливое путешествие по имперскому пространству, но еще и причуда, характерная для осыпающейся, отживающей мощи, и досадное напоминание о неизбежном упадке, уготованном для всех империй.

В июле 1861 года, когда солнце в Тяньцзине, портовом городе к югу от Пекина, пекло так нещадно, что страдавшие от жажды солдаты предпочитали брать свой портовый рацион в замороженном виде, Джордж Флеминг, военный врач и отважный викторианский путешественник, запросил и получил в местном британском консульстве паспорт для путешествия через Великую стену в Маньчжурию. За три года до этого такое разрешение было бы немыслимым, но, к счастью для Флеминга, в дело с тех пор вмешались двадцать шесть британских и французских канонерок, восемнадцать тысяч солдат и «опиумная война». В 1856 году, после того как достоинство Британии преднамеренно поправили китайцы, не уважившие государственный флаг, англо-французские войска окружили и взяли Кантон. В апреле 1858 года союзные силы бросили якоря канонерок у побережья близ Тяньцзиня, предприняли штурм китайских укреплений и потребовали переговоров. 26 июня цинское правительство подписало Тяньцзиньский договор, дававший британцам



право иметь в Китае послов, консулов, миссионеров и разрешать своим подданным путешествовать, торговать, работать и нанимать на работы, где и как им угодно. Короче говоря, делать что вздумается на прежде закрытом и запертом пространстве цинского Китая. Громко и ясно в договоре потребовали от китайцев четыре миллиона серебряных талеров в качестве компенсации за трудности и траты, которые пришлось перенести британцам. Тихо и более расплывчато договор легализовал торговлю опиумом.

На следующий год цинский двор — все еще страдавший от сильных приступов комплекса превосходства Серединого Царства, унаследованного от империи, которую он оккупировал в 1644 году, и по-прежнему не способный признать факт своей военной неполноценности и политической слабости — пересмотрел положения договора и отомстил, потопив четыре европейские канонерки у побережья к юго-востоку от Пекина. В 1860 году восемнадцать тысяч британских и французских солдат вернулись к месту прошлогоднего фиаско и два с половиной часа бомбардировали прибрежные форты, пока там не выкинули белые флаги. Разозленные китайцы ответили захватом тридцати восьми членов англо-французской переговорной партии, двадцать шесть человек из которых умерли в плену. Однако союзные войска под руководством лорда Эльджина в конце концов утихомирили сопротивление китайцев, разграбили и сожгли излюбленное место отдыха китайского императора, Летний дворец, расположенный на северо-западе от Пекина на шестидесяти тысячах акров комплекс, куда входил построенный иезуитами в XVIII веке дворец в стиле европейского барокко. «Памятное событие в истории грабежа и разрушения», как писал участник, некий британский капитан. В ноябре 1860-го договор 1858 года был подтвержден, компенсация увеличена в четыре раза, и после военного вторжения все было готово к торговому и миссионерскому вторжению Британии. Началась эпоха империалистического туризма в

Китай, и Джордж Флеминг стал одним из первых, кто воспользовался предоставленной возможностью.

В середине XIX века — в десятилетие первой «опиумной войны» — попытка Цинской империи соединить воинственную энергию старого, степного маньчжурского стиля жизни с администрированием по китайскому образцу, с использованием ученых-чиновников, отобранных по конфуцианской системе экзаменов, начала проваливаться. Вероятно, важнейшей причиной социальной и политической нестабильности следует считать безудержный рост населения, начавшийся в восемнадцатом столетии. На какое-то время этот рост — вскормленный сельскохозяйственными культурами из Нового Света, достаточно устойчивыми для того, чтобы приживаться на прежде не обрабатываемых, периферийных землях, подстегивающий развитие внутреннего рынка — привел к поверхностному впечатлению процветания Китая. Однако по мере того как XVIII век приближался к концу, напряжение, привнесенное быстрым ростом населения, начало перевешивать его пользу, становясь причиной острой нехватки земли, нищеты в деревне и роста цен на продовольствие. Последовал ряд опустошительных внутренних мятежей, часто начинавшихся группами, которые из-за перенаселения или отчаяния перебирались в окраинные районы, где вдали от контроля местных правительств различные еретические учения (вплоть до религиозных братств и тайных обществ) существовали в тепличных условиях. И одновременно с тем, как проблема нехватки земли начала разрывать цинский Китай на части, правительственные армии казались все менее способными одерживать решающие победы над силами недовольных, благодаря чему империя существовала более или менее мирно с конца XVII века. Растянутое походами на своих далеких границах, цинское государство было вынуждено все более полагаться на милицию, мобилизованную местными элитами для подавления бунтов. Такая зависимость последовательно выхолащивала власть и инициативу политического центра.

Между тем именно все более настойчивые и громкие требования иностранного — в первую очередь британского — торгового присутствия у берегов южного Китая послужили в XIX веке причиной некоторых наиболее драматичных атак на цинские власти. Конфликт между Британией и Китаем обострялся частично благодаря непримиримости цинских дипломатических воззрений, которые лишь усиливали традиционный имперский комплекс превосходства Китая в отношении внешнего мира. Цинские императоры видели себя не только правителями китайской тьанся, Поднебесной, но и — благодаря тому, что их территории широко раскинулись по Монголии, Синьцзяну, Тибету, Тайваню, Юньнани, Бирме, — сверхправителями над правителями на пространстве, куда достигает дипломатический взор, как наследники великой империи Чингисхана, как «ханы над ханами». Цинское государство, другими словами, унаследовало давние универсалистские претензии китайских императоров и придало им реальную политическую форму, расширив свои доминионы и поглотив многих традиционных обидчиков китайской империи. Видимо, понятно, что, когда представители маленького далекого островного государства (Макартни с компанией) в 1793 году обратились к цинскому Китаю с требованием снять торговые запреты на английские мануфактуры и позволить создать на китайской земле постоянное посольство — вместо того чтобы покорно согласиться на выдворение, как все остальные нормальные варвары-данники, после пребывания в Священной империи, где все до последнего кивка подчинено цинскому протокольному ритуалу, — величественный Цяньлун дал им краткую отповедь. Меньше чем через пятьдесят лет, в 1830-х годах, британцы, принимая во внимание собственные подкрепления из Индии, питали справедливую уверенность — у цинской империи нет сил сопротивляться повторению этих требований. В переходные десятилетия открытие британцами опиума как чудесного продукта, на который китайцы могли предоста-

вить солидный спрос, способный уравновесить британскую страсть к чаю, критически уменьшило наблюдавшийся в семнадцатом столетии приток в Китай иностранного серебра. И тем не менее британцы — и об этом они неизменно напоминали китайцам — все еще хотели большего: открыть китайские рынки для британских фабрик и заводов. Столь же неизменно Цинское правительство давало отказ, цепляясь за высокомерные мысли о китайском военном превосходстве, о своей способности поставить иностранных варваров на колени силой цивилизующего влияния и о наличии у себя уникально привлекательных товаров, заставлявших всех — даже самых неуправляемых — иностранцев становиться данниками. Посоветовав последовательно сопротивляться требованиям британцев накануне первой «опиумной войны», Линь Цзэсюй — представитель императора в Кантоне в 1839 году — информировал правителя: британские канонерки слишком велики, чтобы входить в китайские реки, а английские солдаты не знают, как пользоваться «своими кулаками и мечами. Кроме того, их ноги плотно обмотаны материей, и соответственно им крайне трудно ходить... то, что называется их мощью, можно без труда контролировать». И это когда британцы, экипированные самым современным вооружением, поднимались вверх по реке в глубь территории и уничтожали устаревшие китайские флотилии и недоукомплектованные, деморализованные гарнизоны. Ошеломленное китайское правительство совершенно неадекватно отвечало следующими мерами: собирало разбойников и контрабандистов в неуправляемые милицейские отряды, создававшиеся для чрезвычайных нужд обороны, и нанимало мастеров боевых искусств — похваляясь их способностью находиться под водой в течение десяти часов без кислорода, — чтобы те прятались на фарватерах и проделывали дыры в корпусах судов варваров. Затем официальные военные действия были остановлены подписанием в 1842 году Наньцзинского договора, по которому Цинь вынуждали открыть пять пор-

тов для свободной торговли британцев. События 1858—1860-х годов подтвердили и углубили уже начавшийся процесс открытия ворот Китая.

Применение европейцами дипломатии канонерок поставило традиции и ценности цинского Китая с ног на голову. В условиях, когда самые священные места империи осквернили, разграбили и разрушили варвары, все прежде закрытое теперь вскрыли силой. С 1840 по 1860 год Китай оказался последним и, вероятно, самым упрямым уголком земного шара, который предстояло насильно обратить в веру безгранично свободной торговли. «Огромные орды населения, — восклицал журнал «Иллюстрейтед Ландон ньюс» по завершении первой «опиумной войны», — вырываясь из невежества и предрассудков, которые столетиями опутывали их, выйдут теперь на свет дня и воспользуются свободой более широкой цивилизации, получают неизмеримо лучшие перспективы». Действия европейцев, помимо всего прочего, зеркально перевернули исторические функции границы, превратив Серединное Царство в поле боя с варварами и вынудив императора бежать в 1860 году на север, за стену, чтобы укрыться в Джехоле.

Реакция Флеминга на Китай, судя по его запискам о своем путешествии 1863 года, «Путешествия верхом на лошади в страну маньчжурских татар», оказалась настолько пренебрежительно враждебной, что читатель в первую очередь не может не задаться вопросом, зачем он туда поехал да еще потратил много месяцев на трудное путешествие от Тяньцзиня в Маньчжурию. Как и Энсон до него, Флеминг считал невыносимым практически все: китайская каллиграфия «гротескна», язык — нить «резких горловых звуков», а музыкальные инструменты — «орудия пытки». Когда Флеминг начинал описывать китайские стандарты гигиены, его практически невозможно было остановить: запахи Китая в лучшем случае «мерзкие», в худшем — «до отвращения гадкие», деревни — «захудалые», ветры — «противные и лихорадоч-

ные». Говоря о поселении городского типа, он утверждает: «Ничто живое, я уверен, не могло существовать рядом с ним, кроме китайцев и помойных крыс». Попадавшие на пути свинарники были «так ужасающе грязны», что они отвратили его от колбас (или «пахучих кишок», как их называют в Китае) на все оставшееся время. Несколько хороших слов он приберег для опиума — британского импорта, направляемого в Китай в огромных количествах, — который, как он отмечал, был «очень тихим и ненавязчивым способом опьянеть до беспамятства». Лучшим комплиментом, который у него нашелся для китайцев, было то, что они являются самой «способной к совершенствованию из всех восточных наций, если им это позволить... увидеть блеск современного мира и новой цивилизации и вступить в связь с новой расой людей, примерно на двадцать столетий моложе и все же более прогрессивной во всем, что относится к понятию человеческого величия». «Китай, — писал он в заключение, — не оказал сколько-нибудь заметного влияния на видоизменение или направление прогресса ни в древнем, ни в современном мире».

Однако тон Флеминга радикально изменился, когда в десяти километрах от Шаньхайгуаня ему открылась картина «прославленного на весь мир препятствия, о чьих чудесах столетиями говорили на Западе... Теперь мы без колебаний могли утешить себя за перенесенные невзгоды». После спора с местными властями из-за дозволения взойти на стену устрашающего вида мускулистый Флеминг, намного обогнав своих слабосильных, задыхавшихся китайских увещавателей, стал взбираться по «жутко отвесным» скалам к одной из башен стены. Примерно в полдень он «одолея желанный пик и завершил подъем, взгромоздившись на вершине небольшой разрушенной башни» и ощущая «несказанное удовольствие... когда стоял на вершине этой горы, где еще не ступала нога европейца, куда не могли мечтать попасть даже самые дерзкие из обитателей равнины и где, вероятно,

человека не видели в течение долгих веков». Стремясь оправдать свою туристическую прогулку путем дилетантской демонстрации благочестивого научного исследования, он торопливо достал барометр и термометр, собираясь сделать несколько небрежных замеров, а затем позабыл обо всем, восхищенно взирая на «этот известный во всем мире памятник... которому немногим меньше двух тысяч лет», на его атлетические изгибы, повороты, нырки и подъемы («Я ощущал, будто смотрю на огромное чудовище, когда стена начинала свой подъем к небесам»), когда стена «уходит прочь, оборачиваясь вокруг холма и спускаясь в долину... словно тело всадника, когда его конь перепрыгивает череду жестких препятствий». Восхищение Флеминга «окаменевшим поясом» было таково, что он начал пересматривать свое общее отвлечение ко всему остальному, что связано с Китаем и китайцами, восславив взамен «геркулесовы усилия великой нации в прошедшие столетия, чтобы предохранить себя от вторжения и подчинения». «Даже для человека Запада, видевшего кое-что из триумфальных достижений XIX века в строительстве... кажется практически невозможным, чтобы какой-либо народ мог взяться за работу такой чудовищной сложности».

Нацарапав на стене башни отметку о своем визите, Флеминг начал головокружительный спуск. Преданный науке викторианец, он решил тащить на себе барометр вместо воды. Когда он спускался вниз — воды ни капли, солнце в зените, — одна его рука цеплялась за камни, уступы и щели не толще волоса, которые не порадовали бы верный глаз и еще более верные ноги серны... другая была занята неудобным для переноски барометром». Сгоревший, получивший солнечный удар, совершенно потерявшийся — несмотря на компас, или, скорее, благодаря его наличию, так как тяжесть груза инструментов вынудила его срезать путь и спускаться по незнакомой тропе, — и с растяжением голени, он блуждал в течение часа или около того. В конце концов, на закате, сделал

«почти сверхчеловеческое усилие над телом и разумом», неукротимый Флеминг доковылял до каких-то китайских рабочих, показавшихся ему «лучшими в мире крестьянами», так как они предложили ему еду и воду. Нечего и говорить, его презрение к китайцам вернулось, как только ушли голод, жажда и усталость. На следующий день, как обычно, условия пребывания для него оказались уже «мерзкими и ничтожными», чиновники «ребячливыми и излишне дотошными», и так далее и тому подобное на протяжении всего полного невзгод пути в Маньчжурию.

Флеминг — самый первый европейский турист, воспользовавшийся обстоятельствами, предоставленными Тяньцзиньским договором для паломничества на Великую стену. Годом раньше ему предшествовал Генри Рассел, очередной энергичный викторианский путешественник, прибывший сюда с другого направления, двигавшись на юг из Сибири и Монголии. Рассел, ничуть не менее Флеминга империалистически настроенный субъект, слазил на стену, пострелял из револьвера, отмечая свой триумф, и собрал камни, намереваясь поместить их в музеях по возвращении в Европу, где он описывал Великую стену тем, кто ею интересовался, как «извивающуюся по местности подобно ленточному червю». В «Путешествиях верхом» Флеминга, однако, сформулирована стандартная для середины — конца XIX века реакция европейцев на Китай и его Великую стену, и книга впоследствии стала вдохновляющим руководством для будущих паломников к стене.

Флеминг — типичный путешественник Викторианской эпохи, путешественник, которого создали победы британской дипломатии канонерок и их открытие замшелого Китая свежим морским ветрам международной свободной торговли. Его успешный бесстрашный штурм могучего символа закрытости Китая, Великой стены, вопреки воле местных чиновников, стал возможным благодаря разрушению англичанами и французами обнесенных стенами комплек-



сов святая святых императора, Летнего дворца, и, по духу, встал в один ряд с ним, как бы повторив жестокую, унижительную победу британского империализма в Китае.

Претензии Флеминга на научные исследования создавали видимость объективности, придавали интеллектуальный лоск пренебрежительному расизму, чем грешили путевые заметки британских поклонников высокомерного империализма. Основание в 1840 году Королевского географического общества, объявившего о приверженности «научным путешествиям», укоренило моду на путевые отчеты «научного характера», которые оправдывали себя применением и продвижением научных (в географии, садоводстве, этнографии и тому подобное) знаний. Отсюда и решимость доктора Флеминга произвести на стене барометрические и температурные измерения, и то, как он отчаянно цеплялся за солидные по размерам инструменты, несмотря на то что они его едва не прикончили. Чувство морального и интеллектуального верховенства, к которому толкало технологическое превосходство Британии над застывшим в научном развитии Китаем, отражало и питало бездумное пренебрежение Флеминга почти ко всему встречавшемуся ему на пути. Подобно многим западным современникам в Китае, Флеминг был одержим вопросом гигиены у китайцев — или ее полным отсутствием, — поскольку прибыл из Европы, где новая отрасль науки, санитария, становилась показателем цивилизации, а грязь — символом социальной, расовой и нравственной неполноценности.

Принимая во внимание отвращение Флеминга ко всему китайскому, нам, вероятно, следовало бы удивиться его восторгам в отношении Великой стены. Почему, оказавшись перед массивным воплощением китайского изоляционизма, древним (во всяком случае, он так считал) кирпично-каменным антиподом современной свободной торговли, у него не возникло стремления телеграфировать себе в полк, стоявший в разоренном Тяньцзине, и призвать его поспешить на

север со всеми самыми большими пушками, чтобы разрушить крупнейший опорный пункт Китая, как предлагал столетие назад Дефо?

Викторианские империалисты могли быть истыми христианами, но они не были пуританами. Совсем наоборот: они обожали напыщенность и в зрелищах (вспомните Бриллиантовый юбилей 1897 года, пятидесятитысячную процессию войск — включая канадцев, гонконгцев, малайцев, ямайцев и киприотов, — прошедшую через весь Лондон под предводительством самого высокого человека в британской армии), и в архитектуре (подумайте о готических соборах, внезапно вырастающих из имперских пейзажей Индии, Австралии и Канады, массивные стены правительственных зданий в Бомбее). Грандиозность Великой стены, символа имперского величия, оказалась созвучной с любовью британцев девятнадцатого столетия к монументальности.

Кроме того, разрекламированный по всему миру как очень древний, не подвергавшийся изменениям в течение двух тысяч лет и являющийся единым комплексом на протяжении тысяч километров памятник, стена дала Флемингу и тем, кто последовал за ним, основание запретить Китай во всемирный сундук древних этнографических диковинок, принимая во внимание следующий неоспоримый факт: Китай представлял собой не более чем почтенное ископаемое в сравнении с имперскими хозяевами современного мира, британцами. Можно было спокойно восхищаться очевидными успехами китайцев, достигнутыми два тысячелетия назад, ощущая еще большую расслабленность при виде деградации современных китайцев и их неспособность сравняться — а уж тем более перегнать — со своими дальними предками.

Историческая функция стены, построенной для защиты Китая от монголов, также отвечала утилитарным вкусам викторианских империалистов, выступая в самом выгодном свете в сравнении с тем, что Флеминг называл «бессмысленным, [а потому] уродливым», — египетскими пирамида-

ми. В то же время Великая стена, в конечном счете «оказавшаяся бессильной против столь бесстрашных варваров», не могла поколебать у британцев комплекс превосходства. Ее неспособность устоять перед кочевыми завоевателями — монголами Чингисхана, маньчжурскими Цинами, — полная тщетность ничтожной, рабской покорности китайских рабочих своим имперским архитекторам демонстрировали фундаментальные изъяны изоляционистского стеностроительства как стратегии и китайцев как расы и давали аргументы для утверждения о неизбежной повсеместной победе свободной торговли. Как говорил другой человек, побывавший в Китае в начале 1860-х годов, «когда осознан факт, что на протяжении тысяч миль это необычное произведение строительного искусства струится своим извилистым путем, все остальные так называемые чудеса света меркнут в сравнении с вечным напоминанием о безрассудстве деспота и подневольном труде покорного народа».

Последователи Флеминга еще более крикливо вторили его связанным с Китаем и китайской стеной настроениям. При всех претензиях империалистического туризма на научную объективность, практически каждый визитер молча проглатывал, повторял, а частенько и раздувал ошибочные и непроверенные сведения о стене: о ее протяженности (у одних она составляла полторы, у других — две тысячи миль), о ее возрасте (самое меньшее — две тысячи лет), о строителе (Цинь Ши-хуанди), о скорости постройки (между пятью и пятнадцатью годами) и о ее однообразии (большинство выводили свое безграничное восхищение стеной из посещения построенных из кирпича отрезков к северу от Пекина; очень немногие удосуживались взглянуть на ее иную наружность к западу). В статье в «Нэшнл джиографик» за 1923 год нагромождался вымысел за вымыслом: «Самая Мощная Преграда, Когда-либо Построенная Человеком, Двадцать Веков Стоит На Страже Страны Чинь... По данным

астрономов, единственным рукотворным сооружением, которое должно быть видимым с Луны для человеческого глаза, является Великая китайская стена... КОТОРУЮ ПОСТРОИЛИ ЗА ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ». Лести, однако, сопутствовало удовольствие, с которым муссировался тяжело-весный, каменный символизм Великой стены как Великой аномалии: несмотря на впечатляюще «громадную протяженность» своей стены, институты Китая «за более чем двадцать пять столетий... никогда не менялись и не разнообразились... так что [китайцы] демонстрируют единственный в своем роде пример в истории рода человеческого, когда развитие постоянно задерживалось в своем процессе».

И все же интересно узнать, не стоит ли за напряженной заикленностью Запада на Великой стене, за осуждением ее бесполезности некоторая нервозность. Не слишком ли порой западный турист переигрывает в высказывании своего неприятия. Когда в 1924 году — два десятилетия после того, как воинственные индусы превратили Индийский национальный конгресс в радикальную партию, модернизированный японский флот нанес поражение русским при Цусиме и антиимпериалистические, националистические партии стали вырастать как грибы по всей Африке и Азии, — некий визитер из Америки назвал Великую стену «надгробием... имперскому тщеславию». Трудно поверить, что отголоски упадка империи могли остаться не услышанными теми, кто его читал.

Во многих из сотен книг, опубликованных после 1860 года западными путешественниками в Китай (не принимая во внимание бесчисленного количества статей, напечатанных в периодических изданиях вроде «Макмилианс мэгэзин» и «Уанс-энд-уик»), рассказы о поездках на Великую стену со стандартными зарисовками и фотографиями валов и башен, украшавших горные хребты, стали таким обыденным делом, что писавшие о путешествиях, озабоченные тем, как выделиться из общей толпы, начинали искать еще более пыш-

ные риторические инструменты для приукрашивания своих описаний или диковинные подробности, стремясь отделить свой визит от массы отчетов на тему «Я-Видел-Стену». По мере того как всемирное искательство приключений эволюционировало в массовый туризм, а к бесстрашным путешественникам добавились сонмы организованных туристов «Томаса Кука», обычных походов пешком, верхом или в повозке и криков «изумительно» и «удивительно» становилось недостаточно. Можно ощутить именно это отчаянное желание выделиться у Луиджи Барзини, итальянского журналиста, который, сопровождая аристократа принца Боргезе, собиравшегося выиграть большое автомобильное ралли «Пекин — Париж» 1907 года, проехал через Великую стену на (тогда) еще новом транспортном средстве — автомобиле. Для Барзини стена явилась «слегка иззубренным, словно это нечто с зубами... громадным архитектурным шаблоном... фантастической причудой земли, подброшенной вверх какой-то могучей, неизвестной силой природы», ее башни «словно цепочка гигантов на своих наблюдательных постах». Для излишне возбудимого итальянца символизма тарактенья на автомобиле через стену оказалось немного чересчур:

«Мы испытываем опьянение победы, восторг триумфа... Мы чувствуем, словно нарушаем покой тысячелетий, словно мы первые, кто одним быстрым пролетом подает сигнал пробуждения от продолжительного сна. Мы чувствуем гордость за цивилизацию и расу и понимаем, что представляем нечто большее, чем просто самих себя... Великие стремления западной души, ее сила, настоящая тайна всего ее прогресса сводится к одному короткому слову — «Быстрее!». Нашу жизнь преследует эта жестокая страсть, эта ненасытность, это гордое помешательство — «Быстрее!». Здесь, в сердце китайской неподвижности, мы действительно несем с собой суть нашего лихорадочного движения вперед».

Тринадцать лет спустя некий американский турист воскликнул: из стены «получилось бы эстакадное шоссе... если бы мистер Форд взял несколько миллионов и купил эту старую штуку ради своих будущих покупателей в Китае».

По-настоящему пресытившиеся попросту отказывались описывать поездки на Великую стену. Уже в 1880 году некий британский армейский капитан по пути в Тибет вскользь упомянул: «Сюда нет нужды включать... экскурсию на Великую стену». В 1921 году один из путешественников по дороге в Монголию отметил: «Чудо света, Великая стена извивается подобно серой змее по горам хребет за хребтом... Я все это уже видел раньше... Все было слишком близко, а железная дорога сделала это обычным делом».

Попытки составителей путевых описаний перещеголять друг друга почти не повлияли на туристов, жаждавших лично увидеть прославленную Великую стену. С тех пор как в самом конце XIX века туристический бизнес достиг Китая, Великая стена является для иностранцев главной достопримечательностью, обязательным мероприятием при поездках на север. По мере того как напыщенные империалистические поучения понемногу выходили из моды, не в малой степени противоречившей утверждавшемуся современному китайскому национализму, западные визитеры начали прикрывать свое двойственное отношение к стене как к впечатляющему, но ветхому символу оборонительной беспомощности, тем самым уничтожив последнюю тень критики, осложнявшей восхваление ее истории. Великая аномалия стала просто Великой.

В течение стремительных лет поклонения стене очень небольшое число западных посетителей ссылались на подлинно Великую аномалию стены: на то, что подобная одержимость иностранцев никоим образом не отражала заинтересованности самих китайцев. Описывая трудности, с которыми ему пришлось столкнуться при получении разреше-

ния посетить стену, Джордж Флеминг отмечал: ставившие препоны бюрократы говорили не только о том, что «солнце очень печет, что нет дорог, что горы находятся далеко», но и что «китайцы никогда туда не поднимаются». Флеминг отправился в экспедицию на свой страх и риск, поскольку его прагматичные китайские увещеватели не хотели рисковать жизнями, чтобы тащиться на вершины гор, где проходила стена, в отличие от их сумасшедшего повелителя дьяволов (Флеминг, конечно же, с готовностью отмел их нежелание «взбираться... на почти неприступные скалы как очередной пример физической слабости китайцев» и больше об этом не думал). Но в начале XX века китайцы, которых сначала ставила в тупик страсть варваров к стене, начали постепенно менять свою точку зрения, поддаваться убеждению со стороны тех, кто стал причиной их международного унижения, со стороны страшного Флеминга и других подобных ему. Когда Китай после десятилетий набивания шишек при встречах с незваными гостями с Запада принялся восстанавливать национальное самоуважение, Великая стена стала самым очевидным обломком империи, за который следовало держаться.



## Глава двенадцатая

### *Перевод Великой стены на китайский язык*

В теплый весенний полдень 4 мая 1919 года города Китая вспыхнули пожарами. В час дня примерно три тысячи протестующих студентов собрались перед Запретным Городом в Пекине под двумя огромными белыми траурными транспарантами. Хотя на транспарантах были начертаны имена двух особенно непопулярных членов пекинского правительства, собравшихся зажигало чувство того, что они справляют траур по чему-то намного большему: по самому Китаю. Несколькими днями раньше до страны дошли печальные известия. За тысячи километров, в Версале, американский президент Вудро Вильсон, британский премьер Дэвид Ллойд Джордж и его французский коллега Жорж Клемансо в знак признательности Японии за поддержку военным флотом в борьбе против Германии в только что закончившейся I Мировой войне решили наградить ее, передав ей прежние территориальные права Германии в Шаньдуне, большом куске территории на северо-востоке Китая. Представители пекинского правительства на парижских мирных переговорах — делегация, опиравшаяся на коррумпированных китайских военных диктаторов и скупленная на корню японски-



ми займами, — свинтили с ручек колпачки и готовились ставить свои подписи.

От Тяньаньмэнь студенты направились на восток, в сторону посольств, отелей, банков, магазинов, церквей, борделей и поля для поло, расположенных в городском квартале иностранных представительств, который державы выкроили для себя в первые годы столетия. Когда иностранная и китайская полиция перекрыла им движение через ворота в стене по периметру квартала, толпа повернула к дому одного из самых ярых в правительстве сторонников Японии. Обнаружив, что его обитатель скрылся от них, перебравшись через заднюю стену двора, протестовавшие сожгли дом и до потери сознания избили другого члена правительства.

В течение восьмидесяти лет после поражения в первой «опиумной войне», иностранные державы, по выражению возбужденных протестовавших, «кромсали Китай, как дыню»: размещая канонерские лодки, разрушая до основания дворцы, выжимая контрибуции, насаждая принцип экстерриториальности и отхватывая «сферы влияния», чьи огромные территории, разработку и использование природных ресурсов они провозглашали своими преимущественными правами. В те же самые восемьдесят лет китайские правительства топтались в нерешительности перед вызовами Запада, мечась между желанием встречать империалистов (и, возможно, бить их) их собственными методами с помощью современных канонерок и оружия и страхом, что такой курс может сбить китайскую культуру на варварский путь.

Унижение версальских решений стало катализатором для китайского национализма, спровоцировавшим взрыв культурных и политических протестов в китайских городах, известных как движение Четвертого мая. Несколько десятилетий китайские реформаторы с разной скоростью подходили к неприятному выводу: традиции правительства и общества империи — превозношение старины и Конфуция, неспособность к развитию науки и техники западного сти-

ля — представляют собой исторический тупик. И до и даже в большей степени после 1905 года, когда тысячелетнюю конфуцианскую систему экзаменов наконец отменили, молодые люди стали откладывать в сторону классические учебники и двинулись в военные и технические академии — многие из них за границу, во Францию, в Японию и Англию, — чтобы изучать способы генерирования богатства и мощи, применяемые современным Западом, осваивать военные и промышленные технологии, обучаться медицинской науке и учиться политической активности и единству, порождаемым чувством национальной принадлежности. Тревоги насчет капитуляции перед ценностями варваров в теоретическом плане отметались краткой формулой «ти-юн» (сущность-практика), которая являлась подпиткой культурного консерватизма в конце XIX века и предполагала, что китайская «сущность» (этические и философские ценности) может усилиться, а не оказаться под угрозой при выборочном использовании западной «практики» (науки и техники).

Охваченные усилившимся в результате версальских договоренностей чувством национального кризиса и отчаянным стремлением к оживлению государства, участники движения Четвертого мая более не могли терпеть прежних полумер, разработанных для сдерживания империалистической угрозы. Отбросив требования по гармоничному примирению современных западных и традиционных китайских ценностей, философы, писатели и участники манифестаций движения Четвертого мая решили: пришло время полностью порвать с загнившим, отсталым прошлым, которое привело Китай к катастрофическому настоящему — с его классическим китайским языком, закрытой конфуцианской системой управления, мышлением и общественными отношениями, с его комплексом превосходства и врожденным недоверием ко всему иностранному, с его благоговением перед старостью и пренебрежением молодостью. Главная задача, провозглашал Чэнь Дусю, один из интеллектуальных вождей

движения Четвертого мая, «заключается в том, чтобы импортировать основу западного общества, которая заключается в новой вере в равенство и права человека. Мы должны полностью осознать — конфуцианство несовместимо с этой новой верой, с новым обществом и новым государством». Открытость провозглашалась ключом к выживанию, изоляционизм старого образца — путем к гибели. «Будьте космополитами, а не изоляционистами, — призывал Чэнь. — Тот, кто строит телегу, закрыв ворота, обнаружит, что она не подходит к колее за воротами». На улицах городов, в лекциях, в памфлетах и печатных изданиях по всему Китаю молодые интеллектуалы громко требовали замены древней автократии Конфуция на современную западную науку и демократию.

Годом раньше, в 1918 году, пятидесятидвухлетний китайский джентльмен по имени Сунь Ятсен поселился на вилле по адресу: улица Мольтера, 26, — на одной из самых тихих улочек среди тенистых бульваров французской концессии в Шанхае. С мая по июнь 1919 года за стенами его тихого приюта город погружался в хаос: вероятно, четвертая часть всех работающих приняла участие в забастовке с импровизированными антиимпериалистическими демонстрациями и спектаклями, разыгрывавшимися прямо на улицах. Однако, как многие китайцы-горожане, кому за пятьдесят, Сунь, похоже, активно не участвовал в движении Четвертого мая, где преобладали студенты. Он проводил рабочее время в научной деятельности, переделывая и редактируя свои работы. В свободное время он отдыхал, играя с женой в крикет на лужайке перед виллой или развлекая друзей за обедом.

Но во всем остальном Сунь был кем угодно, только не обычным китайским горожанином среднего возраста. В 1919 году он стал бывшим вождем революции и президентом Китайской республики. Спустя несколько десятилетий, уже после смерти, на него прольется бальзам китайского поли-

тического внимания — бесконечно далеко от сонного кабинетного бытия на улице Мольер, — и правительство Тайваня, и правительство Китайской Народной Республики признают его «отцом современной китайской нации».

Как и демонстранты движения Четвертого мая, Сунь Ятсен был одержим вопросом китайского национального возрождения. В отличие от своих молодых коллег к 1919 году данный вопрос мучил его уже много лет. После почти трех десятилетий сбора денег за рубежом, чтения лекций, встреч, приветствий и демаршей от имени китайских антидинастических сил революции Суня наградили, пригласив после национальной революции 1911 года (преждевременно вспыхнувшей от взрыва наскоро собранной бомбы) на пост президента новой Китайской республики. В 1913 году, едва пробыв на посту год, Сунь уступил президентство Юань Шикаю, бывшему цинскому генералу и военной опоре революционного режима. Юань сразу же начал игнорировать новую конституцию: он стал принимать иностранные займы без одобрения парламентом, расправился с премьер-министром и, наконец, 1 января 1916 года провозгласил себя императором. После сего акта страна моментально оцепенела. В том же году, когда провинции одна за другой начали выступать против тучного усатого императора и за независимость от Пекина, Юань занемог — вполне вероятно, с ним случился удар, вызванный приступом ярости, — и умер. Вслед за смертью военного властителя, по крайней мере объединявшего армии страны, если не ее надежды на республику, единый фасад нового режима развалился и началась борьба между местными военными диктаторами.

Пока те, кто жаждал власти, делали смотры собственным армиям, вся остальная страна катилась в ад. Хотя у революционеров, свергнувших Цинов в 1911 году, не существовало ясности по многим общим вопросам организации управления, их в первую очередь объединяла одна тема: потребность в сильном национальном вызове покушениям им-

периалистических держав. Ни одна иностранная держава не была столь неутомима в утверждении своих интересов, как Япония на северо-востоке: после столкновений с Китаем и Россией Япония к 1910-м годам водворила себя в качестве доминирующей силы в Маньчжурии. В полной мере воспользовавшись послереволюционным хаосом, царившим в Китае, в 1915 году японское правительство выставило перед Юань Шикаем «двадцать одно требование», утверждавшее всеобъемлющий японский экономический и политический суверенитет над районами Маньчжурии и Монголии. После нескольких месяцев переговоров Юань капитулировал. Спустя четыре года в Версале, несмотря на то что Китай внес вклад в военные усилия союзников сотнями тысяч китайских рабочих, решение американцев, британцев и французов показало: дело государственного суверенитета Китая получило очередной мощный негативный импульс.

Именно в данный критический момент развития современного Китая Сунь Ятсен удалился в тихий уголок Шанхая и готовился перегруппировать силы. В 1917 году, после утверждения моды на военных диктаторов, он отправился на юг, в Кантон, и короткое время пытался вышагивать в полном военном маскарадном облачении (шлем с перьями, эполеты с бахромой, белые перчатки) и называть себя Великим маршалом. Не видя перспектив оставаться маршалом без сколько-нибудь солидной армии — Сунь в лучшее время своего командования мог насчитать примерно двадцать батальонов и одну канонерскую лодку, — он сменил обшитую галунами форму на традиционный халат китайского ученого и приступил к работе над планом национального возрождения. Собравшись с силами перед очередной попыткой воплотить в жизнь мечту о едином, республиканском Китае, революционный заправил начал трансформироваться в политического теоретика и принялся противопоставлять собственную схему реформ радикальным воззрениям Четвертого мая.

Сунь не соглашался с канонизацией подходов Четвертого мая, опасаясь, что полное отречение от китайской традиции разорвет психологические связи с прежней политической культурой и сделает невозможным восстановление единого государства как преемника старой имперской модели. Он искал пути возрождения полезных компонентов этой традиции в современных схемах модернизации. Это было и в определенной степени остается центральной, болезненной дилеммой современного Китая: как распорядиться огромными накоплениями опыта и достижений, сделавшими Китай самой мощной в мире страной до XVIII века, а через сто лет оставившими практически беспомощным против империалистического Запада. В глазах встревоженных патриотов ответственность за страшные неприятности Китая лежала на китайской истории, однако именно она и делала Китай XX века — «больного человека Азии» — заслуживающим спасения. Страстно желая быть сильными и современными, как Запад, китайские модернизаторы при каждом повороте с беспокойством оглядывались через плечо на прошлое, чтобы убедиться — они по-прежнему «китайцы».

В своей основе суньятсеновский план национального возрождения Китая представлял собой невероятно дерзкую и глубоко прозападную схему обновления Китая: уничтожение целых населенных пунктов, укрощение реки Янцзы, соединение железной дорогой Пекина и Кейптауна. Современный Запад везде присутствовал в качестве модели. Сунь призывал к промышленному развитию в стиле «Европы и Америки». Северный порт должен был стать «таким же важным, как Нью-Йорк», — все следовало реализовать под руководством иностранных специалистов, с использованием иностранного капитала и оборудования.

Но даже предлагая широко распахнуть двери Китая современной технике и инвестициям Запада, Сунь не забывал потрафить больному чувству национального достоинства. Сунь подбирал символ, достаточно объемный, чтобы сти-

мулировать национальный дух и показать: китайская традиция способна на технический гений и динамизм. Символ, одновременно до нужной степени абстрактный и исторически туманный, не должен был нести в себе тревожащих конкретных ассоциаций. Удобно устроившись в своем шанхайском убежище, Сунь обратил взгляд на север.

«Самым известным продуктом наземного строительства Китая является его Великая стена. Цинь Ши-хуанди отправил Мэн Тяня на север строить Великую стену, чтобы защитить Китай от сюнну. Протянувшись от Ляошэня на востоке до Линьтао на западе, она идет пять тысяч ли по горам и долинам. Не имея себе равных в древности, она являет собой чудо, исторический уникум. В эпоху Цинь наука была еще не развита, орудия и инструменты еще не изобрели. Рабочая сила не была столь многочисленна, как сегодня, а познания в физике и строительстве по своему уровню не могли идти ни в какое сравнение с современностью. Как же тогда мог быть построен такой великий памятник?.. Потому что необходимость является матерью инновации... Не в силах терпеть нападения сюнну, Цинь Ши-хуанди решил, что лучшим выходом было завершить одно громадное строительство, чтобы обеспечить будущее: построить Великую стену как оборонительную линию. Хоть сам он и не был истинно мудрым правителем, его Великая стена настолько же пошла на пользу его потомкам, насколько и сооружения по контролю за наводнениями, построенные Великим Юем... если бы нас, китайцев, не защищала Великая стена, Китай покорили северные варвары в эпоху Хань, задолго до династий Сун и Мин, и китайская раса не расцвела и не развилась бы так, как в периоды Хань и Тан, и не ассимилировала бы народы юга. А после того как наша страна в полной мере развила в себе ассимилирующую силу, мы стали способны ассимилировать даже завоевателей, монголов и маньчжуров».

Хотя Сунь повсюду использовал недоброй памяти циньский термин «Длинная стена», ясно — объектом его покло-

нения являлась двухтысячелетняя, неизменная Великая стена, возведенная и подпиравшаяся иезуитами, Вольтером и викторианцами. Для Суня Великая стена символизировала триумф творческого духа в китайской старине и слепой, бездумной решимости вкладывать труд и ресурсы в некий проект, невзирая на технологические или логистические препятствия, духа, на время целиком и полностью утраченного. «Если бы сегодня кто-либо попытался повторить Цинь Ши-хуанди в строительстве второй Великой стены, у него бы ничего не получилось».

Относясь неодобрительно к интеллектуальному брожению 1919 года, Сунь во многом разделял политические цели движения Четвертого мая. На словах он оставался космополитом-республиканцем, а не культурным консерватором. Родившись в крестьянской семье всего в шестидесяти четырех километрах к северу от Макао, проучившись на Гавайях и в Гонконге благодаря богатству брата, уплывшего искать счастья в заморские края, Сунь был типичным продуктом насильственного открытия Китая Западу, восприимчивым к новой смеси идей и организаций, которые вырастали среди торговли, газет, школ и промышленных предприятий в открытых портах. Сунь Ятсен, которому после неудачного революционного восстания был объявлен смертный приговор, в 1895 году бежал в Гонконг и в Японию. Впоследствии он, вероятно, провел большую часть жизни не в Китае, а за границей (лишь листая газеты перед завтраком у подножия Скалистых гор, он наткнулся на сообщение о революции 1911 года). Бесконечно разъезжая между Японией, Европой и США, Сунь был истинным оппортунистом-интернационалистом, постоянно теребившим иностранных союзников и спонсоров в усилиях по сбору средств на китайский республиканский проект. В 1923 году, вскоре после начала переговоров о создании выгодного альянса с новой коммунистической Россией, Сунь распивал чай в гонконгских салонах с богатыми местными знаменитостями и



заявлял: «Мы должны взять за модель Англию и распространить английский пример хорошего управления на весь Китай».

Даже если принять в расчет растущий консерватизм и традиционализм, сопровождающий переход за пятидесятилетний возраст, благоговение Суня перед Великой стеной — выдающимся символом китайского имперского диктаторства и изоляционизма — должно показаться несовместимым с любым из его проиностранных, республиканских политических убеждений. Однако решение этого парадокса лежит не в том, чтобы ломать голову над внутренней непоследовательностью современного национализма китайцев и его производных (нестабильной комбинации ненависти и восхищения к империалистическому Западу и пренебрежение и преклонение перед Китаем и его прошлым), а в том, чтобы просто принять ее как данность. К концу жизни Сунь обвинял империализм во всех современных несчастьях Китая, не переставая энергично искать иностранные средства для собственных политических проектов. Призывая сограждан «восстановить древнюю нравственность», он бичевал прежних китайцев за неспособность защитить страну от варваров. Даже движение Четвертого мая при всей своей очевидной нацеленности на тотальную вестернизацию пронизано теми же противоречиями: побуждаемые ненавистью к западным империалистам, участники движения Четвертого мая кричали об импорте западного духа науки и демократии во все сферы китайского общества, стремясь спасти свою древнюю страну от неминуемой гибели.

Учитывая все вышесказанное, нетрудно догадаться — Великая стена становится идеально подходящим талисманом современных китайских националистов: построена неутомимыми китайцами против иностранцев, затем боготворима иностранцами, для удобства отлучившими ее от неприятно сложной истории и преобразившими в просто «чудесную». Восхваление Сунем Великой стены явно стало частью его

поиска символа или философии, вокруг которых Китай (по его собственным словам, «полоса рассыпанного песка») мог бы сплотиться как нация и откуда он мог бы почерпнуть необходимую уверенность в себе, чтобы отвести империалистическую угрозу. Однако, остановившись на Великой стене, Сунь обнаружил больше собственный космополитизм, нежели уважение к китайской истории, поскольку его высказывания о стене — о ее возрасте, расположении, общем величии — кажутся взятыми прямо из потока исторически недостоверных западных путеводителей. Сунь — это становится совершенно очевидно из его описания стены — не был классическим ученым; он нигде ни словом не упоминает о фрагментарности стены (ни в хронологическом, ни в географическом смысле), об относительной молодости ее показных, построенных из камня участков, об исторической критике после выявившейся неспособности стены предотвратить маньчжурское завоевание в 1644 году (завоевание он бойко переделывает в победу китайской цивилизации над неотесанными варварами). Сунь перелагал на китайский язык ошибочное западное восприятие стены как великой, стирая в процессе многое из ее бесславной истории, и тем самым закладывал начало романа современного Китая с Великой стеной.

К тому же Сунь Ятсен становится почитателем Великой стены вовсе не случайно. Хотя Сунь начал и намеренно завершил свою политическую карьеру как демократ, он не считал, будто Китаю нужна та демократия, которая развилась в Европе как борьба за личные права. Проблема Китая, полагал он, заключается не в недостатке, а в избытке личной свободы, не позволяющем его народу объединиться во имя сопротивления порабощению нации со стороны империализма. Вместо этого «мы должны побороть личную свободу и спрессоваться в несокрушимый организм, подобный твердому камню, возникшему от добавки цемента к песку». Подчеркивание Сунем в первую очередь свободы нации, а не сво-

боды личности, и настаивание на периоде опеки неопределенной продолжительности, когда китайский народ будет «обучен» демократии в условиях военной диктатуры, придавало его восприятию демократии некое глухое, авторитарное звучание. Это, конечно же, предложило его политическим протее — двум самым мощным партиям современного Китая, националистам и коммунистам, — простой путь к диктатуре. Кроме того, помогает объяснить его отношение к Великой стене, тысячелетнему памятнику авторитарическому китайскому государству.

Шесть лет спустя, в 1925 году, Сунь Ятсен умер от рака печени. Он умирал, так и не увидев воплотившейся свою мечту о Китае, объединившемся в республику. Однако его активность на национальном фронте, умение продумывать дерзкие планы национального обновления и, самое главное, его поддержка националистов и коммунистов обеспечили ему в последующие годы и десятилетия — когда те и другие возмужали и создали собственные авторитарные государства — признание со стороны обеих партий в качестве отца нации и почитание многих из его решений, отвечающих их политическим нуждам.

Сунь являлся, возможно, одним из первых в современном Китае записных почитателей стены, однако именно годы войны — отчаянной борьбы за национальное выживание, — а не шанхайское теоретизирование прочно закрепили Великую стену как символ национальной силы и выносливости в сознании народа.

Прежде всего война была гражданской. В 1923 году Сунь Ятсен пошел на сделку с Советской Россией. Русские должны были предоставить его Национальной партии (Гоминьдан, или ГМД) денежные средства, вооружение, а также обеспечить политическую и военную подготовку. Сунь взамен допускал членов молодой коммунистической партии Китая, основанной в 1921 году, в ряды националистов. Сунь полу-

чал финансовую поддержку, в которой он и его партия отчаянно нуждались для победы над милитаристами, разрывавшими Китай между собой. Русские обеспечивали себе регионального союзника против антикоммунистической Японии и продвигались к своей долгосрочной цели, мировой революции, проталкивая в Китае то, в чем они видели первоначальный этап — национально-буржуазную революцию при участии китайских коммунистов, — из которого затем естественным образом предстояло родиться коммунистической революции.

Пока Сунь Ятсен был жив и пока националисты еще чувствовали, что получают солидную пользу, держась русских, единый фронт между двумя китайскими партиями оставался более или менее сплоченным. В 1926 году, когда подготовленные и вооруженные Советами войска фронта двинулись из Кантона в центральный и восточный Китай, потеснив несколько милитаристских режимов, альянс значительно укрепил стремление националистов к воссоединению. Однако в 1927 году — Суня тогда уже два года как не было в живых, — когда его лично назначенный наследник, Чан Кайши, вот-вот должен был взять города Шанхай и Наньцзин, а коммунисты в глазах консервативно настроенного Чана становились неприемлемо радикальными в своих усилиях мобилизовать городское и сельское население против богатых землевладельцев и предпринимателей, союз затрещал по швам. 12 апреля 1927 года, после нескольких месяцев секретных переговоров с богатейшими финансистами Шанхая и их подпольными боевиками, Зеленой бандой, Чан выставил вооруженный отряд примерно в тысячу человек — все члены Зеленой банды — против городских профсоюзов, главной опоры коммунистов. Сотня активистов профсоюзного движения была убита только во время одной демонстрации протеста. Прокоммунистические организации таким же образом разгромили в городах Чанша, Ухань, Наньчан и в конечном итоге в Кантоне, где левых быстро узнавали по ок-

рашенным местам на одежде вокруг шеи, где те носили красные галстуки, и, связав их по десять-двенадцать человек, топили в реке возле города.

В то время как политическая звезда генералиссимуса Чан Кайши поднималась к своему зениту, склоняя различными путями к номинальному признанию своей цели — национальному единству — северных милитаристов, силы китайских коммунистов провели почти восемь лет в бегах по самым недоступным и негостеприимным районам Китая, где, как они надеялись, труднодоступность, нищета и изолированность местности преодолеют даже неистовую решимость Чана добраться до своих бывших союзников. Однако в течение нескольких лет они неудачно выбирали места для укрытия. В 1929 году они пристроились в Цзянси, гористой, неплодородной юго-восточной провинции, нищенское состояние которой, казалось, делало ее незаменимой почвой для взращивания радикального социального недовольства и коммунистической революции. Но она, кроме того, находилась в пределах досягаемости от центров силы самого Чан Кайши в Шанхае и Наньцзине, расположенных на восточном побережье. В 1931—1932 годах националисты провели три мощные военные кампании против Советского района в Цзянси. Кольцо вновь построенных дорог и укрепленных пунктов опоясало весь район, готовя ловушку коммунистам.

Осенью 1934 года, после тщательной отработки планов, ведущейся в большой тайне, армия коммунистов примерно в восемьдесят тысяч штыков прорвала блокаду в самом слабом пункте в юго-западном углу и начала годичное отступление по маршруту протяженностью тринадцать тысяч километров в виде перевернутой буквы L. Путь проходил по нескольким самым диким, наименее развитым районам — по горам и лесам, населенным враждебно настроенными южанами, обледеневшим пикам Тибета, болотистым равнинам северо-запада, где солдатам приходилось спать стоя, так как лечь на слишком сырую землю было невозможно, через

горные стремнины, мосты, подвешенные на железных цепях к отвесным скалам, водовороты — и в конечном итоге заканчивался в унылой, каменной местности в Шэньси, на северо-западе Китая. Этот маневр в коммунистическом синодике стал известен как Великий поход — название, звучавшее скорее как затянувшиеся полевые учения, а не как сражение с войсками националистов при отступлении, чем его общепринято считать. Из восьмидесяти тысяч человек, выступивших в поход, говорят, лишь около восьми тысяч дошли до конца.

В целом для китайских коммунистов Великий поход — в результате которого они оказались изгнанными в голодающие северо-западные приграничные районы Китая — стал не большей победой, чем Дюнкерк для британцев пятью годами позже. Однако уцелевших коммунистов символически и стратегически воодушевил их приход в Шэньси.

Как известно, северо-запад был незнаком, беден и неплодороден. Эта территория, где преобладали легкие, переменчивые желто-коричневые лессовые почвы, состояла из невысоких гор, приобретших благодаря ветрам из Центральной Азии и Монголии «бесконечное разнообразие странных, иззубренных форм», как писал американский журналист Эдгар Сноу во время посещения оплота коммунистов. «Горы — как громадные замки, ряды мамонтов, красиво округлые башни, хребты, будто развернутые чьей-то гигантской рукой, оставившей отпечатки злых пальцев. Фантастические, невероятные и порой пугающие формы, мир, созданный сумасшедшим богом». Если бы эту легкую почву обильно поливали дожди, она стала бы плодородна и хороша для обработки. Однако дожди были устойчиво редкими, в то время как дальше на север, отмечал Сноу, «рост сельскохозяйственных культур строго ограничивался крутыми склонами... Там не много настоящих гор — лишь бесконечные разрушенные холмы, столь же бесконечные, как предложение



ризмом, предлагают утешение чувствительным к кризисам мужественности посетителям.

В 1935 же году, однако, высоких оценок Сунь Ятсена или Мао Цзэдуна пока еще оказывалось недостаточно, чтобы гарантировать Великой стене бессмертие в качестве национальной эмблемы. Хотя правительство Чана после смерти Суня превратило его в политическую икону, собственное наследие Суня оставалось еще под вопросом. При жизни Суня многие полагали, что его революционные воззрения едва ли более плодотворны, чем просто насилие и разобщенность. После создания в 1928 году старой партией Суня националистического режима, номинально работающего на объединение страны, сомнения не развеялись. Получив власть, Чан Кайши часто выглядел фактически как самовлюбленный сатрап с претензией на управление всем Китаем, а его правительство и крестьяне, в конце 1920-х годов миллионами голодавшие в Шэньси, и интеллектуалы, которых преследовали, а порой и убивали даже за высказанное шепотом левацкое настроение, считали его политическим банкротом. Вне своей группы коммунистических революционеров, которые начинали героизировать и боготворить его, как никакого другого вождя, Мао в 1935 году, вопреки всему, все еще выглядел мелким политиком и посредственным поэтом-любителем, загнанным на северо-западные окраины Китая армией националистов и обреченным там оставаться.

Но вмешалось обстоятельство, спасшее стену от исторического забвения и преобразившее ее в символ, в настоящий театр неукротимой воли китайцев к сопротивлению, — вторжение японцев. Начиная с 1890-х годов, японцы все в большем количестве размещали войска к северу от Великой стены, в Маньчжурии. В 1931 году, после нескольких десятилетий всеобъемлющего военного и экономического контроля над этим регионом и его богатыми природными ресурсами, самоуверенная японская военщина вознамери-



лась формализовать японскую власть, для чего спровоцировала полномасштабный конфликт с китайскими солдатами близ Мукдена, старой столицы Нурхаци. И без того растянувший свои силы в конфликтах с собственным правительством, Чан Кайши приказал пристрастившемуся к наркотикам местному диктатору, контролировавшему китайские войска на северо-востоке, просто отойти к югу от стены. В том же году японцы соблазнили свергнутого императора династии Цин, Пуи, вернуться в Маньчжурию и возглавить новое независимое государство к северу от Великой стены.

Между тем, как практически все энергичные маньчжурские власти на протяжении последних двух тысячелетий, японцы вскоре начали проявлять интерес к остальной территории Китая — не в последней мере потому, что хотели создать буферную зону к западу и югу от своего нового приобретения. Как и в 1644 году, Шаньхайгуань являлся воротами Серединного Царства. В день нового, 1933 года неподалеку от штаба японской военной полиции в городе услышали таинственный взрыв. Позднее японские и китайские объяснения тревоги отличались друг от друга: первые заявляли, будто это была бомба, нацеленная на японцев, вторые говорили всего лишь о нескольких новогодних петардах. Как бы там ни было, японские милитаристы бросили на Шаньхайгуань войска и авиацию. К 3 января 1933 года были убиты две тысячи китайских солдат и неизвестное число гражданских лиц, а «Первый проход в Поднебесной» оказался в руках японцев.

Меньше чем через два месяца двадцать тысяч японских войск продвинулись к Дзехолу, северо-восточной провинции, которую посетил Макартни со свитой в 1793 году во время своего торгового паломничества к императору Цин. Соппротивление с китайской стороны, руководимое спущенными рукава скупыми местными диктаторами, не желавшими жертвовать своими личными армиями, практически отсутствовало. В первую неделю марта столица провинции, мес-

то, где располагался бывший летний дворец и охотничьи угодья цинского императора, пала, а вся провинция площадью сто девяносто две тысячи сто восемьдесят квадратных километров распалась.

Спустя два дня японцы подошли к Великой стене, выставив самолеты, артиллерию и танки против китайских войск, укрывшихся в театральных проходах — за стенами, в башнях и у бойниц — к северо-востоку от Пекина, в горах, украшавших район Великой стены севернее столицы. Китайцы, остатки армий бывших милитаристов, сильно проигрывали в вооружении: одна фронтовая дивизия в пятнадцать тысяч штыков располагала всего десятью полевыми и горными орудиями, сотней тяжелых пулеметов и лишь двумя легкими пулеметами в каждой роте. В некоторых из наиболее горячих схваток китайцы бились врукопашную, используя холодное оружие, а в одном случае им даже удалось отбросить японцев, наступавших при поддержке бомбардировок с воздуха. Тем не менее к концу мая 1933 года, после двух месяцев интенсивных боев, японцы заняли все ключевые проходы в северо-восточной стене и готовились обрушиться на Пекин.

31 мая китайская и японская делегации подписали Тангуский договор, устанавливающий демилитаризованную линию протяженностью в двести пятьдесят миль к югу от Великой стены, заканчивавшуюся всего в десяти милях севернее Пекина, обеспечивая тем самым японский контроль над северо-востоком. Японская армия подождет еще четыре года, а затем спровоцирует столкновение, которое приведет к падению самого Пекина. В 1937 году под предлогом того, что китайцы захватили японского солдата, японцы предприняли атаку и через три недели овладели мостом Марко Поло, местом, дававшим доступ в северный Китай от Шаньдуна на востоке до Шаньси на западе. До конца июля Пекин и его окрестности окажутся в руках японцев.

Что касается Китая и огромного большинства китайцев, эти поражения стали трагедией, позволившей японцам начать военные действия, которые к 1945 году обойдутся китайцам в пятнадцать — двадцать миллионов человек, — вероятно, триста тысяч из них были убиты во время семи страшных недель Наньцзинской резни в 1937 году, когда японцы расправлялись с жителями столицы националистов. Однако одному монументу, Великой стене, и одному человеку, Мао Цзэдуну, предстояло в конечном счете извлечь выгоду из китайской военной катастрофы на севере.

Хотя китайское сопротивление вдоль стены оказалось тщетным, а саму стену порушили современное оружие и тяжелая поступь тысяч солдат (более широкие участки использовались в качестве военно-транспортных путей), она стала паролем патриотизма в целом потоке националистических по содержанию песен. «Идем! Идем! Мы вместе должны идти на фронт сражаться! На фронт сражаться! Слава политой кровью Великой стене!» — звучал последний куплет песни «Защитим нашу Великую стену», которую пели китайские солдаты, тщетно пытаясь оборонять проходы к северу от Пекина. Вооруженные холодным оружием китайские дивизии на Великой стене стали синонимом нового, энергичного духа национального сопротивления, духа, способного (хоть и на короткое время) взять верх над массой современного вооружения японцев. «До настоящего времени, — восклицала некая северная газета в марте 1933 года, — большинство из руководства страны хотело, чтобы мы поверили в то, что мы, китайцы, не можем противостоять Японии, вернуть свои утраченные территории. Пример героизма, который мы увидели у проходов Великой стены, показывает, как они ошибаются... что вопрос не в том, способны ли мы вернуть свои территории, а в том, хотим ли. Дело не в вооружении и технике, дело в смелости и верности».

\* \* \*

Стена снова обессмертилась в песне, сочиненной к фильму «Десять тысяч ли гор и перевалов» («Гуаньшань ваньли»), который планировалось снять в Шанхае после инцидента на мосту Марко Поло в 1937 году. Фильм так и не сняли, но песня остается популярной до сегодняшнего дня, прославляя Великую стену как монумент, объединяющий — более не разделяющий — по праву принадлежащие Китаю территории к северу и югу от нее.

Великая стена в десять тысяч ли протянулась  
на десять тысяч ли,  
За Великой стеной находится наша родная страна,  
Сорго зреет, соевые бобы благоухают.  
Вся эта земля купалась в золоте, бедствия обходили  
ее стороной.

Но когда катастрофа разразилась над ее равнинами,  
Насилие и грабеж растеклись по стране,  
Среди великих страданий мы бежали в другие места,  
Наши тела и кости разбросаны, наши отцы и матери  
скорбят.

Даже оставшись без зубов, мы не можем забыть нашей  
вражды и ненависти,  
День и ночь мы думаем лишь о возвращении  
в родные края.  
Мы все трудимся над тем, чтобы пробиться назад,  
Как бы жестоко японские рабы ни тиранили нас.

Великая стена в десять тысяч ли тянется  
на десять тысяч ли,  
За Великой стеной находится наша родная страна,  
Сердца четырехсот миллионов наших  
соотечественников бьются как одно,  
Новая Великая стена протягивается на десять тысяч ли.

В 1936 году смертный приговор коммунистической революции Мао Цзэдуна привели в исполнение. В ту зиму, спу-

стя почти четыре года после того, как японцы устроили свою первую базу на территории Китая, Чан Кайши перелетел в Сиань, старую северо-западную столицу, уверенный, что та последняя операция по окружению позволит уничтожить коммунистов раз и навсегда. В годы постоянных вторжений японцев перед Второй мировой войной Чан сосредоточивал свои силы не на национальном сопротивлении, а на подавлении коммунистов. Когда 3 января 1933 года пал Шанхайгуань, Чан находился в Цзянси, обеспечивая окружение советского района, и отказался прерывать блокаду, намереваясь возглавить сопротивление на севере. Японское вторжение, заявлял он, всего лишь «внешнее дело... как постепенно нагнаивающийся нарыв на коже. Устраиваемые [коммунистическими] бандитами беспорядки — это дело внутреннее. Это... перебои в сердце. Из-за того что внутренняя болезнь не устранена, внешние проблемы решить невозможно».

Общественное мнение считало иначе: непримиримый антикоммунизм Чана перед лицом иностранной агрессии быстро разваливал его имидж в глазах национальной ответственности. По мере того как японцы продвигались дальше на запад северного Китая и известия о японских атаках там распространялись по стране, число критиков Чана росло. Его упрекали в том, что он «отсиживается на юге», что «утрачивает государство». Вдова Сунь Ятсена обвиняла Чана и его правительство в «предательстве, трусости и непротивленчестве». Возмущение стало нарастать после подписания Тангуского договора: южная пресса открыто называла Чана изменником, а на севере заявляли — «сегодня у Китая нет лидера». В 1935 году десятки тысяч людей в городах по всему Китаю прошли маршем протеста против японской агрессии.

Но когда Великая стена страдала в военное лихолетье, ее поэт-поклонник Мао пользовался возможностью извлечь выгоду из оскорбленных чувств общества. В 1936 году, в тысячах километров от шанхайских киностудий, в пещере, вырезанной в лессовых скалах на севере Китая, Мао своей ру-

кой изобразил в стихах Великую стену в качестве памятника национальному единству.

Есть место в северных землях:  
Тысяча ли, запечатанная льдом,  
Десять тысяч ли метущихся снегов.  
Оба конца Великой стены  
Земля сворачивает в одну-единую громаду.  
От истока до устья великой реки  
Быстрое течение замирает и исчезает.  
Горы пляшут подобно серебряным змеям,  
Плато убегают вдаль словно восковые слоны,  
Стремясь добраться до самого Небесного Правителя.  
В ясный день  
Белые шелковые занавеси окрашиваются красным,  
Очаровывая наблюдателя.

В условиях, когда общественное мнение против Чана и его гражданской войны начало бурлить, Мао Цзэдун виртуозно предложил прекратить старую войну с националистами ради формирования союза с Японией, заменив прежнюю платформу «оказывая сопротивление Японии, бороться с Чаном» на «бороться с Японией, прекратив гражданскую войну». Он предлагал прежде немыслимое: второй Единый фронт, — и это менее чем через десять лет после того, как первый закончился кровавой баней предательства. В ходе великой имиджевой операции Мао в 1936 году готовился выиграть на всю жизнь для коммунистического Китая американского друга-путешественника, позволив Эдгару Сноу, журналисту из Канзаса, посетить свою базу на северо-западе. Дав Сноу эксклюзивный доступ, Мао поднял себя до англоязычных читателей не в качестве красного революционера-фанатика, а как прагматичного и, самое главное, патриотично настроенного борца за национальную свободу, неизменно выступающего против замирения с Японией: «Для народа, лишённого национальной свободы, задачей революции является не социализм немедленно, а борьба за незави-

симость. Мы не можем даже обсуждать коммунизм, если нас лишили страны, где можно его строить».

Чан отказался рассматривать всякое предложение о союзе со своими внутренними врагами и 4 декабря 1936 года второпях прибыл в Сиань, полный решимости покончить с коммунистами. В это время, однако, даже самые близкие сподвижники Чана отказывались вести его гражданскую войну за счет новых территориальных уступок Японии. Вечером 11 декабря ставший военачальником у националистов бывший милитарист по имени Чжан Сюэлян приказал своим личным телохранителям арестовать генералиссимуса. После короткой и тщетной попытки укрыться в пещере в горах Чан — в одной ночной рубашке и словно набравший в рот воды, поскольку забыл захватить с собой искусственную челюсть, — был доставлен назад в Сиань, где Чжан предложил ему условия освобождения: прекращение гражданской войны с коммунистами и начало сопротивления японцам. Хотя Чан наотрез отказался что-либо подписывать, устное согласие все же дал. 26 декабря 1936 года, в День подарков, отмечающийся в первый день после Рождества, когда по крайней мере была создана шаткая основа нового Единого фронта, Чану позволили вылететь в Наньцзин. Решающее наступление националистов на район базирования Мао не просто отменили: коммунисты теперь стали законной политической партией, участвующей в борьбе Китая за национальное выживание.

Мао и его коммунисты, Великая стена и призывы к сопротивлению Японии, таким образом, объединились, воссоздав новую мощную платформу национального выживания и возрождения. Одна из первых спланированных побед Единого фронта произошла среди перевалов в районе Яньмэнгуаня, горном проходе в стене между провинциями Хэбэй и Шаньси, где войска националистов сдерживали атаки японцев с востока, а солдаты коммунистов уничтожали вражескую дивизию с тыла. Многие годы спустя Мао испыты-

вал неуместную признательность японцам за их вторжение на север Китая, за тот импульс, который дал толчок его политической карьере. В начале 1960-х годов японская делегация посетила Мао в Пекине и попыталась принести извинения за зверства, чинимые китайцам во время Второй мировой войны. Мао отмел их попытки: «Только когда японская императорская армия оккупировала большую часть Китая, только когда китайцы оказались припертыми к стене, они очнулись и взялись за оружие... Это создало условия для нашей победы в освободительной войне... Если бы мне и следовало кого-то благодарить за все, так это японских милитаристов».

К 1945 году, через восемь лет после того, как некий местный диктатор заставил беззубого, дрожащего генералиссимуса остановиться перед окончательным уничтожением своих внутренних врагов, коммунистические армии численно увеличились почти в одиннадцать раз, с примерно восьмидесяти пяти тысяч штыков в 1937 году до более миллиона, а население на контролируемых ими территориях — с полутора миллионов до, видимо, девяноста миллионов человек. Еще через четыре года безграмотного правления националистов — галопирующая инфляция, преследования интеллектуалов, прощение пособников японцев, неумелое ведение военных кампаний — практически весь Китай оказался в руках коммунистов. На выцветшей фотографии, выставленной напоказ в главной крепости Шаньхайгуаня, запечатлены ликующие местные жители, стоящие по сторонам дороги к форту в 1949 году, и коммунистические войска, марширующие через открытую арку «Первого прохода в Поднебесной», — последняя армия, проделавшая это по пути к завоеванию Китая.

Мао Цзэдун в новом Китае долго не забывал своего символического союзника, Великую стену. Одна из песен-маршей, написанных к некоему кинофильму в 1935 году, оче-



редное прославление стены как эмблемы национального сопротивления, стала гимном Народной Республики:

Вставайте, вы, кто отказывается быть рабами.  
Построим новую Великую стену из нашей плоти  
и крови.  
Китайская раса подошла к моменту величайшей  
опасности.  
Каждый должен стоять до последнего вдоха.  
Вставайте! Вставайте! Вставайте!  
Мы массы, у которых одно сердце и одна воля.  
Вперед!  
Под огонь врага!  
Вперед! Вперед! Вперед! Давай!

Однако в действительности, в категориях кирпича и цемента, война катастрофически сказалась на состоянии Великой стены. Пережив на протяжении нескольких десятилетий боевые действия разной интенсивности — особенно вдоль участков, проходящих по северо-востоку, где шли тяжелые бои, — в начале 1950-х годов стена пришла в плачевное состояние. Бадалин, ближайший к Пекину участок, находился в бедственном положении: помещения форта полуразрушены, стены, насыпи и башни осыпались. С 1953 по 1957 год — видимо, в награду за службу — коммунистическое правительство отремонтировало показательные тысячу триста метров, выровняв полы ради тонких подошв и высоких каблуков будущих посетителей, укрепив расшатавшиеся зубцы, дав опору локтям грядущих орд туристов. Великая стена вступала в новую фазу своего превращения: из идеализированного символа национального сопротивления в отполированный туристический объект.

Однако стена сохранила некоторую преемственность с собственной исторической функцией в имперском Китае. Изначально идею об обновлении стены выдвинул в 1952 году Го Можо. Суровый романтический поэт в молодости, а в зрелости высокопоставленный чиновник в области куль-

туры в коммунистической бюрократии, он предложил отреставрировать Бадалин для загородных выездов дипломатических гостей Пекина. Хотя посольства более не приезжали с лошадьми и шкурами, Великая стена по-прежнему оставалась обязательными церемониальными воротами, через которые просители проходили в Серединное Царство. 19 марта 1960 года Бадалин открыли для дипломатических целей в связи с визитом непальского премьер-министра. В течение следующих шестнадцати лет — засушливый период для официальных иностранных визитов в Китайскую Народную Республику — здесь прошли сорок три известных деятеля. А потом побывали сотни.

Остальные участки стены за пределами видимости небольшого числа иностранцев, допущенных за «бамбуковый занавес» Мао, получили от Китайской Народной Республики значительно меньше. Для Мао проблема истории — и как идеи, и как материальной реальности в виде оставшихся от прошлого артефактов — заключалась в следующем: он не совсем определился, какую роль она должна играть в его империи. По-своему Мао — обставивший свой кабинет некоторыми наиболее древними китайскими текстами — понимал историю не хуже, чем любой из его имперских предшественников. «Мы должны суммировать нашу историю от Конфуция до Сунь Ятсена и вступить в это ценное наследство, — заявлял он в 1938 году. — Это важно для того, чтобы направлять великое движение сегодняшнего дня». Однако при ясности того, что история должна служить славному социалистическому настоящему, любой аспект прошлого, не соответствующий его марксистско-ленинским целям, должен опускаться или, в идеале, предаваться забвению. «Если при изучении истории, — поучал Мао в другой раз, — не исходить из понятия классовой борьбы, то можно оказаться сбитым с толку». Когда коммунистические чиновники распространяли политический контроль на китайскую деревню, одной из первых идеологических сил, поспешно взятых

ими на вооружение, стала сила народной памяти. На массовых собраниях, где следовало «высказываться зло», прошлое заперли в темный, душный ящик под именем «старое общество». Предшественником нового ослепительного Китая Мао провозгласил просто нечестный мир, где землевладельцы угнетали, а крестьяне страдали.

Между тем всякое иное, более сложное видение истории предназначалось для мусорного ведра. Забвение явилось лучшим для Мао решением для эпизодов истории, не поддававшихся партийному контролю: в коммунистическом Китае все, что хоть сколько-нибудь относилось к старине, существовало из милости. В то же время, по мере того как Китайская Народная Республика активно превращала прошлое в досоциалистический кошмар, подкрепляла собственное видение настоящего, она старательно уничтожала части старинного архитектурного ландшафта Китая, не соответствовавшие ее обновленному видению, и создавала новые государственные комплексы. Монументальный центр китайской политической мощи, старый императорский город, скученный вокруг Запретного Города, радикально перестроили в 1950-е годы. Обнесенный стеной парк и строения эпохи Мин непосредственно к югу от красных стен, с которых Мао в 1949 году объявил об образовании Народной Республики, пустили под бульдозер ради создания обширного, безликого пространства нынешней площади Тяньаньмэнь. Громадную пустоту новой площади — крупнейшего городского общественного объекта в мире — ограничили массивными образцами социалистической архитектуры (Музей истории и революции Китая, Дом Народных Собраний), преднамеренно превращавшими одиночного посетителя в лилипута своими колоссальными размерами. Сам Запретный Город пощадили — видимо, частично из-за того, что его раздутые размеры соответствовали приверженности социалистической архитектуры к монументальности, а его дух замкнутости и секретности отражали политические ценности новых

правителей Китая. На месте старой городской стены Пекина построили кольцевую дорогу. Ее камни в конечном счете вывезли в 1969 году для строительства убежищ от советских бомб. Ныне от старой стены сохранилось лишь несколько громадных каменных ворот, возвышавшихся над медленно движущимся потоком машин. В 1966 году Мао начал последнее и самое яростное наступление на прошлое, свою «культурную революцию» против «четырех старых» — старых идей, культуры, традиций и привычек, — в ходе которой революционная молодежь Мао, хунвэйбины, уничтожили бессчетное множество уникальных храмов, фарфоровых изделий, картин, скульптур и книг.

Кроме нескольких жалких километров, проходов в стене возле столицы, использовавшихся как музейные экспонаты для показа посетителям в качестве причесанной сказки о величии древнего Китая, Мао мало интересовала сохранность участков Великой стены, оставленных и дальше разрушаться, — и этот процесс ускорялся коммунистическим утилитаризмом. Ловкие крестьяне разбирали внешнюю обкладку из камней и валунов или растаскивали фундамент из утрамбованной земли для использования в качестве удобрения. Вдоль некоторых участков кирпичи растаскивались для строительства дорог и хранилищ. В других местах стену взрывали динамитом, чтобы получить камень для продажи. Историческую реальность стены — ее истинный возраст, функции и неодинаковый внешний вид, ошибки и бедствия, связанные с ней, забыли, оставляя лишь случайный небольшой участок для рекламы маоцзэдуновского Китая. В любом случае, к тому времени как Бадалин отреставрировали, режим Мао придал Пекину новый, социалистический облик и более не видел необходимости обновлять какие-либо другие набившие оскомину памятники прошлого, которые Мао в лучшем случае были безразличны.

Однако как идея, как воплощение авторитарической политической философии, Великая стена обладала для Мао

мощной и устойчивой притягательностью. Он страстно впитывал изоляционистский психологический посыл, со всей определенностью олицетворяемый стеной. Когда ему это требовалось, Мао нравилось считать себя интернационалистом, энергичным представителем мировой коммунистической революции. Между тем на практике коммунистическая вера Мао коренилась в подозрительном отношении к разлагающему влиянию иностранных идей и учений. Когда Мао не занимался уничтожением свидетельств китайского прошлого, то сосредоточивал внимание на искоренении среди китайских масс малейших следов иностранного, которое, как он считал, само собой разумеется, ведет к капитализму, буржуазности и опасному антикоммунизму. После того как опустили «бамбуковый занавес» Мао, выезд из Китая стал невозможен практически для всех, кто не был готов нырнуть у южного побережья Китая и плыть в Гонконг. Китайцы оказались запертыми не просто в границах государства, но и в городах, поселках и деревнях. Региональные рынки товаров и услуг рушились, после того как практически поголовная коммунистическая система регистрации проживания и принадлежности к трудовым подразделениям привязала людей к работе, определенной для них государством. Не довольствуясь простым запретом для подданных покидать страну физически, Мао с исключительным рвением старался держать их мысли и обычаи строго в границах все более сужающегося коммунистического определения китайскости. В начале «культурной революции» в 1966 году самые приземленные и безобидные вещи — косметика, высокие каблуки, цветная одежда, узкие брюки, домашние животные — заклеямили как буржуазные, иностранные, а значит, идеологически подозрительные. Люди, осмелившиеся носить или держать дома любое из перечисленного, рисковали подвергнуться жестокому и унижительному публичному порицанию. Мао тайком придерживался другой точки зрения. На публике превозносил традиционную китайскую

медицину, сам он между тем пользовался услугами подготовленного специалиста в западной медицине.

Мао активно использовал свои подходы к Великой стене как для внутреннего, так и для внешнего регулирования китайского общества. Если Великая стена изначально считалась самым грандиозным проявлением одного из самых древних и определяющих импульсов в китайской культуре — окружать стенами дома, храмы и деревни, — то Мао приспособил по-имперски масштабную идею для разделения страны и властвования над ней. Вместо кирпича и цемента, однако, он использовал для строительства перегородок между китайцами политический пуританизм и классовую борьбу. Вначале, стремясь получить широкую поддержку, коммунистическая партия мирно подходила к большей части населения Китая, не поддерживавшей их до 1949 года. Однако, по мере укрепления своей власти, она начала разворачиваться не только против своих явных классовых врагов — угнетателей-землевладельцев и высших представителей националистического истеблишмента, — но также и против более мелких нарушителей коммунистического устава: предпринимателей, литературных критиков, наивно полагавших, будто писатели должны быть субъективными; писателей, высказывавших постыдную приверженность к западной литературе; радиослушателей, считавших государственные каналы скучными.

С начала 1950-х годов Китай одна за другой накрывали волны массовых политических кампаний, в ходе каждой из которых определение политических ошибок распространялось на все более мелкие преступления. В 1957 году, через год после того, как Мао призвал китайцев критиковать китайское правительство, он подверг гонениям и бросил в тюрьму более полумиллиона тех, кто высказывал «правые взгляды». Надежды на свободу слова в Народной Республике — по крайней мере при жизни Мао — постоянно рушились. В политической культуре, специализировавшейся на искоре-

нении плюрализма мнений через истерически-жестокое публичные разоблачения и принудительные раскаяния, когда китайцев заставляли для их же безопасности заявлять на своих соседей и коллег, информировать о случайных комментариях, подслушанных у открытых окон, стало опасно иметь — не говоря уже о том, чтобы высказывать, — критические мнения. В конце 1960-х годов молодой китаец по имени Вэй Цзиншэн — позже боровшийся с тоталитарной стеной Мао Цзэдуна посредством «стены демократии» — наблюдал, как Мао рвал Китай на части, оставляя его народ бедным, слабым и голодным, как «он сгонял людей в группы по воображаемым интересам и заставлял бороться друг с другом до тех пор, пока они не теряли связь с реальностью и не могли видеть, где лежат их истинные интересы». Один из обвиненных в 1957 году «правых» кратко обрисовал общество, порожденное маоистской классово-борьбой: «С 1952 года одну кампанию сменяла другая, и после каждой оставалась Великая стена, стена, отгораживавшая одного человека от другого».

Не случайно во время «культурной революции» — политического апогея маоистской диктатуры — одна из публичных кампаний была нацелена на реабилитацию Ши-хуанди династии Цинь, традиционного главного злодея в китайской истории и строителя первой в империи рубежной стены. Благодаря перетасовке фактов, проделанной партийными историками, Ши-хуанди в начале 1970-х годов претерпел головокружительную трансформацию от тирана-филистера до провидца-модернизатора. Стену Ши-хуанди, слово-словила одна из статей в «Жэньминь жибао», официальном органе коммунистической партии, построили «для предотвращения беспокоящих нападений со стороны рабовладельцев-сюнну и укрепления феодального государства, основанного на централизации власти. Это было созвучно с интересами народа». По мере того как акции Ши-хуанди повышались в цене, акции его противников падали. В 1975 году

состоялась публикация в книжном формате отречения Мэн Цзянну, легендарной вдовы, оплакавшей мужа, погибшего на строительстве циньской стены. Отречение, озаглавленное «Мэн Цзянну являлся проконфуцианским, антилегистским ядовитым растением», было написано в высоком стиле «культурной революции». Принимая во внимание, в каком заброшенном или разрушенном состоянии находилась стена в те годы, трудно представить более показательный пример двуличного подхода Мао к прошлому: его глубоко китайского внимания к постановке истории на службу настоящему (отметьте в некоторой степени схожую ситуацию в Британии 1980-х годов: премьер-министр Тэтчер побудила «Таймс» воздать хвалу Адриану и его стене, желая поддержать ее оппозицию Европейскому союзу), и его безжалостное забвение любого эпизода той же истории, который не соответствовал его тоталитарному мировоззрению.



## Заключение

### *Великая стена, Великий супермаркет и Великая «ошешая» река»*

На фотографии, сделанной 23 октября 1972 года, американский президент Ричард Никсон стоит на Великой стене в Бадалине, где в некотором замешательстве толпится маоистская дипломатическая свита. Эта экскурсия состоялась в ходе восьмидневного визита Никсона в Народную Республику, прошедшего во всем блеске коммунистического гостеприимства: встреча с Мао, банкеты, тосты и серенады в исполнении оркестра Народно-освободительной армии Китая, специально отказавшегося от обычного репертуара из социалистической классики, чтобы порадовать президента старым американским шлягером «Дом, дом на просторе». На фотографии стена старательно демонстрирует лидеру капиталистического мира свой самый живописный ракурс: извивается по присыпанным снегом горам под ясным голубым небом, освобожденная от неприятных, чужих здесь людей в честь президентской делегации (работники службы безопасности китайской и монгольской внешности предположительно скрываются на сторожевых башнях и в кустах в стороне от стены). Те, кто попал в кадр, всматриваются во что-то находящееся вне рамки, уголки губ

приподняты в понимающей улыбке. Президент сделал одолжение коммунистическим журналистам, пробормотав в меховой воротник подходящую моменту восхищенную пошлость: «Великая стена, и построить ее должен был великий народ».

В тот же год тридцатиднолетний служащий котельной Хуан Сян из Гуйчжоу, расположенного на юге Китая, вдали от высоких китайско-американских дипломатических уловок, высказал собственное мнение о Великой стене совершенно другими словами. В стихотворении «Исповеди Великой стены» он дал ей устало рассказывать о себе самой:

Под размыто-серыми, низкими тучами  
Я стою века.  
Мои сосуды окаменели,  
Ноги затекли,  
Мои опоры рухнут, я утрачу равновесие,  
Состарившись, сама дряхлость, я упаду и умру.

...  
Я стара,  
Мои молодые сыны и внуки не любят меня,  
Как не любили бы немощного деда.  
Когда они видят меня, то немедленно отворачиваются.  
Они не хотят смотреть на мою черно-зеленую кожу,  
На мой беззубый, впалый рот.

...  
Они бросают на меня полные ненависти взгляды,  
Словно я мумия, выбравшаяся из саркофага.

...  
Они поняли, что я лгала,  
Что я обманывала их в течение многих веков.

...  
Они не хотят использовать меня как меру,  
Чтобы измерить единство и волю их расы.

...  
Для них я отвратительна как змея,  
Потому что я безжалостно вью кольца по ландшафту  
их разума,  
Выгрызаю куски их душ, поколение за поколением.

...

Они хотят завернуть, снести меня.

...

Я делю страну на неопределенно малые куски,

На бесконечно узкие, удушающие дворики.

Я вытянулась среди людей,

Отделяя эту группу от той,

Заставляя во все времена остерегаться друг друга

Их, не способных увидеть лица соседей

Или даже услышать их голоса.

Они хотят завернуть, снести меня,

Потому что мое огромное тело закрывает им

перспективу,

Отделяя их от большого и обширного мира, лежащего

за их дворами.

...

Потому что каждый камень во мне, каждый метр земли

Настойчиво напоминает человеческое прошлое,

День и ночь рассказывая о трагедиях вчерашнего дня.

Я напоминаю им

О покорности и замкнутости бесчисленного числа

поколений прошлого,

О страхе и ненависти столетий,

О войнах тех темных веков, о жертвах и страданиях,

О какофонии разделов и дисгармонии,

О злой истории человеческого противостояния.

Они хотят завернуть, снести меня

Во имя тех своих предков, которые умерли внутри

этих стен разума,

Чтобы в первый раз оставить в наследство сыновьям

и внукам науку и демократию.

...

Они отталкивают мое трясущееся, осыпающееся,

чернеющее тело,

Срывают с меня саван традиций: их поклонение

прошлому, их серость, зашоренность, консерватизм.

...

Те места, которые в прошлом были очень далеко,

Сегодня очень близки.

Мои валы исчезают с лица земли,

Обваливаясь в головах людей.

Я ухожу, я умерла.  
Поколение сынов и внуков несет меня в музей.

К 1972 году Великая стена представляла собой оборонительное ископаемое. Однако визит Никсона и стихотворение Хуан Сяна показали: изоляционистское мировоззрение, построившее ее, спустя тысячелетие все еще вполне живо. Практически каждый момент пребывания Никсона в Китае запечатлевался на камеру и транслировался на американские телевизоры, так как именно оно являлось сенсационным прорывом: восстановление дипломатических отношений между Китаем и одним из лидеров западного мира после двадцатилетнего перерыва. Будучи американцем, Никсон замахивался по фасаду ментальности Великой стены, находившемуся перед ним: попытке отлучить иностранцев от Китая. Будучи молодым китайцем, выросшим при Мао, Хуан Сян видел ментальность Великой стены изнутри: стремление держать китайцев подальше и от иностранцев, и друг от друга.

Никсон не колеблясь высказал маоистскому руководству все, что то хотело и надеялось услышать о своем национальном символе, Великой стене, поступая так в интересах торговли и политики «холодной войны». Его реакция на стену продемонстрировала идеальную созвучность официальным взглядам: она призвана играть роль инструмента тоталитарной туристической дипломатии, действовать в качестве исторически-не-вызывающего-сомнений символа величия Китая в прошедшем и грядущем тысячелетиях. И все же, несмотря на вынужденное согласие с монументальной китайской пропагандой, визит Никсона по крайней мере проделал щель в «бамбуковом занавесе» Мао.

Спустя шесть лет, когда Мао уже два года как не стало, его бывший соратник Дэн Сяопин — дважды подвергавшийся чисткам при Мао за свои либеральные взгляды на экономику — принял власть и превратил щель Никсона в на-

стежь открытую дверь. В скором времени иностранные компании бросились инвестировать в Китай и обосновываться там, пользуясь щедрыми таможенными льготами Дэна. Самые светлые головы из числа китайской молодежи начали получать научные степени за границей. Те, кто не мог преуспеть в учебе, стали перенимать иностранное дома: брюки клеш, длинные волосы, поп-музыку, Кафку.

В какой-то мере Никсон рисковал доверием к себе как к президенту, совершая заезд в коммунистический Китай. Хуан Сян, атакуя внутреннюю ментальность Великой стены маоистского Китая, рисковал имуществом, свободой, а возможно, и жизнью (политические заключенные в маоистском Китае имели обыкновение умирать в тюрьмах или трудовых лагерях). В 1972 году уже просто писание стихов считалось крайним индивидуализмом и антипролетарской выходкой. Писать же стихи, критикующие политическую систему, как делал Хуан Сян, фактически равнялось самоубийству, но при этом являлось совершенно характерным для истории его смелого бунта против смиренной рубашки, в которую Мао одел Китай. Уже замаранный прошлым своей семьи — его отца, генерала у националистов, расстреляли в лагере под Пекином в 1951 году, — молодой Хуан постоянно искал себе проблемы при коммунизме, отказываясь склониться и покорно принять скучную, зарегулированную жизнь, устроенную ему диктатурой пролетариата. В восемнадцать лет он бежал от монотонной работы на заводе в южном Китае в пустынные равнины и горы Цинхая, на северо-запад. Он влюбился, не спросив разрешения в административном департаменте. Он не только писал стихи — и ради самовыражения, и как политический протест, — но и читал их в публичных местах. Ни то ни другое не соответствовало той судьбе, которую ему отмерил социализм, и в результате Хуан провел около пяти лет в начале своей взрослой жизни при Мао в исправительно-трудовом лагере — лаогае, версии со-

ветского ГУЛАГа в коммунистическом Китае, — соседствуя в провонявших экскрементами камерах с закоренелыми преступниками.

Однако в 1978 году, когда Мао уже не стало, крайне левых идеологов, руководивших его «культурной революцией», арестовали, а прагматичный реформатор Дэн Сяопин готовился взять власть из рук безликих маоистских марионеток, контролировавших правительство. В тот год беспокойные китайцы боролись с Великой стеной коммунистической ментальности при помощи другой стены: серой, невыразительной, низкой стены в центре Пекина, на которой в один из уик-эндов ноября некий автомеханик наклеил плакат — дацзыбао, — обвинявший председателя Мао в «ошибках». Через пару дней к первому плакату добавилось еще несколько, один из которых называл маоистский режим «феодалдно-фашистской диктатурой» во главе с «палачами и убийцами, чьи руки запятнаны кровью народа». К концу недели стена превратилась в место встречи тысяч недовольных, собиравшихся, чтобы читать красную, желтую, зеленую и белую мешанину политических мнений, покрывавшую ее поверхность. 5 декабря молодой электрик по имени Вэй Цзиншэн добавил дацзыбао, где требовал проведения «пятой модернизации» в дополнение к четырем модернизациям (в сельском хозяйстве, науке, технике и национальной обороне), которые отстаивал Дэн Сяопин: демократической. Готовый отвечать за приверженность к свободе, открытости голоса, он затем поступил еще более необычно: подписался. Вскоре посетители стены демократии, как стало известно, больше не читали молча, а принялись говорить речи, откровенно высказываясь перед иностранными журналистами, распространять самиздатовские журналы, создавать общества и дискуссионные группы и выходить на Тяньаньмэнь, где проходили импровизированные массовые митинги. «Эта стена, — выкрикивал кто-то, — является основой, поддерживающей демократию в Китае».

После 24 ноября на площади Тяньаньмэнь демонстрантов будет приветствовать еще один импровизированный плакат, приклеенный на ограде напротив мавзолея Мао Цзэдуна: помещенные на девяноста пяти листках антимаоистские гимны Хуан Сяна, призывающие к свободе и демократии — включая и разоблачение Великой стены. Хуан и его друзья проехали тысячи километров из Гуйяна в столицу, где — с ведрами клейстера и рулонами дацзыбао — не ограничились только площадью Тяньаньмэнь, но и заклеили листовками переулок напротив зданий нервного центра идеологии Народной Республики, газеты «Жэньминь жибао». Тротуары практически моментально заполнили читатели. К декабрю стены городов по всей стране стали использовать в столь же демократических целях, а ходоки с петициями со всего Китая наводнили столицу, рассказывая свои истории о преследованиях и нищете.

В то время активисты стены демократии питали большие надежды на Дэн Сяопина, который в 1978 году вытеснил замшелых маоистов в политбюро, мобилизовав общественное мнение против «культурной революции» через национальные газеты. До февраля 1979 года Дэн с выгодой использовал волну недовольства, наиболее открыто и радикально выплескивавшуюся на стену демократии, завоевав популярность в стране как противник маоистского экстремизма и даже заявив наконец канадскому журналисту, что стена демократии — это «хорошо». Когда простые китайцы удивленно глазели на либеральные политические модели за границей, дэновская открытость внешнему миру казалась многообещающей. После недельного визита в Соединенные Штаты в конце января 1979 года Дэн примерил десятигаллоновую шляпу для техасского родео, встретился с ходоками из Гарлема и сделал круг на имитаторе космического челнока в Хьюстоне.

Однако к тому времени как Дэн вернулся из штаб-квартиры глобального капитализма, в феврале 1979 года, анти-

маоизм стены демократии уже исчерпал свою пользу для него. Дэн был не демократом, как по ошибке надеялись активисты стены, а прагматическим автократом. Его главной заботой являлась стабильность государства, ключом к которой он считал не демократию, а экономическое процветание в капиталистическом стиле. И хотя энтузиазм Дэн Сяопина по отношению к экономическому росту заставлял ненавидеть левизну «культурной революции» и спорить в пользу обогащающей внешней торговли, он оставался еще и коммунистом, никогда серьезно не задумывавшимся над тем, что экономические реформы должны проводиться в каком-то другом, а не в однопартийном государстве. «Нельзя добиться успеха, — позже комментировал он, — не прибегая к диктаторским методам». В марте 1979 года он сделал реверанс распространенному среди руководства консервативному мнению, ясно показав — в дэновском Китае открытость сама по себе не считается абсолютным добром, а «кое-какие заявления не в интересах стабильности и единства».

«Отдельные отрицательные элементы выдвинули различные требования... Они спровоцировали часть масс или заставили их обманом пойти на партийные и правительственные учреждения... они вбросили такие сенсационные лозунги, как «Объявим войну голоду» и «Дайте нам права человека»... намеренно пытаюсь привлечь иностранцев, стремясь раструбить на весь мир свои слова и поступки. Существует так называемая Китайская группа по правам человека, которая зашла так далеко, что подняла дацзыбао, где требовала от президента Соединенных Штатов «высказать озабоченность» состоянием прав человека в Китае. Разве мы можем допустить такой открытый призыв к вмешательству во внутренние дела Китая?»

Привратники у дэновской Великой стены, неизмеримо более покладистые, чем привратники Мао, все еще явно зна-



ли, чем заняться. В отличие от Мао Дэн мог позволить себе предоставить китайскому народу определенную степень экономической свободы. Однако политически он действовал по тому же авторитарному шаблону, что и его предшественник. Камнем преткновения, конечно же, стало то, что требования других видов либерализации — политической, социальной, культурной — имели тенденцию висеть на плечах экономических послаблений. Большая проблема Дэна и причина бешеных метаний в первые десять лет его правления от контроля к разрядке заключалась в защите экономической открытости и отрицании всего, что не вписывалось в его концепцию «духовной социалистической цивилизации». Спустя четыре года, во время одной из его немногочисленных крупных антизападных идеологических кампаний «против духовного загрязнения», он с грустью озвучил свои опасения по поводу открытости: «Если открываешь окно, то трудно остановить влетающих в него мух и комаров».

В октябре 1979 года электрик Вэй Цзиншэн испытал на себе всю тяжесть запрета стены демократии, будучи приговоренным к пятнадцати годам заключения, многие из которых он провел в одиночной камере. Некоторые говорят, будто Дэн Сяопин хотел для него расстрела. Его остановила только угроза настроить против себя международную общественность. Хуан отделался сравнительно легко, получив еще восемнадцать месяцев исправительного лагеря. Новые официальные нормативные акты формально поставили под запрет «призывы, плакаты, книги, журналы, фотографии и другие материалы, направленные против социализма, диктатуры пролетариата, руководящей роли коммунистической партии, марксизма-ленинизма и идей Мао Цзэдуна». Ближе к середине декабря 1979 года, после того как муниципальные власти Пекина запретили впредь вывешивать что-либо на стене демократии, товарищи-женщины из городского санитарного управления соскребли с нее все дацзыбао.

Прошло десять лет, десять благоприятных для Великой стены лет. В сентябре 1984 года, через год после того, как кампания «против духовного загрязнения» обрушилась на излишне вестернизированную идеологическую распущенность — объемное, туманное определение, распространявшееся на порнографию, дух наживы, имажинистскую поэзию и западные прически, — Дэн Сяопин развернул очередную общенациональную кампанию «Любить Китай, восстанавливать нашу Великую стену». В течение следующих примерно пяти лет десятки миллионов юаней выделили для работ на стене: еще более двух с половиной тысяч футов стены вокруг Бадалина привели в порядок, второй проход в минской стене возле Пекина приготовили к выставлению напоказ. Той же осенью 1984 года стену украшали не только строительные леса, но и розетки пышных социалистических меропрятий. В «Песне китайской революции», музыкальной феерии в честь тридцатипятилетней годовщины Народной Республики, Великая стена поднималась из тумана как фон для поющего и танцующего массового излияния патриотических чувств. В 1988 году стена даже снялась в собственном телевизионном документальном фильме, где о ней говорилось как об «отражении всестороннего творчества человечества», «выдающегося разума и неустанного духа самосовершенствования китайского народа». Великая стена выиграла чуть ли не больше всех от новой, возрождавшей традиции политики коммунистической партии в области культуры, призванной заполнить идеологические пустоты, оставшиеся после отказа от маоистского иконоборчества. После многих лет гонений на Конфуция мудрец снова оказался в моде, став объектом организованных партией конференций, рабочих групп и новых исследовательских учреждений. Составители партийных планов смотрели на жирные ВВП «Четырех азиатских тигров» и начинали думать: в конфуцианстве — если его окрутить с капитализмом, — мо-

жет, в конечном счете что-то есть. Естественно, его новые коммунистические друзья одновременно не сбрасывали со счетов следующее обстоятельство: конфуцианство в течение тысячи лет успешно использовалось в качестве подпорки диктаторской власти. Стену демократии тем временем снесли, а на ее месте вырос храм дэнзовских рыночных реформ: громадное здание Банка Китая.

Однако в целом для страны перемена прошла не так гладко. Наверху находился Дэн Сяопин, прорыночный коммунистический автократ, занятый непрерывной борьбой с консерваторами, сторонниками социалистической командной экономики старого образца. Для более чем миллиардного с лишком населения экономическая либерализация казалась двояким подарком, предоставив возможности только тем, у кого хватало смелости или власти уверенно ими воспользоваться — предпринимателям или пронырливым чиновникам, способным с выгодой применять политические связи в бизнесе. Для тех же, кто по-прежнему полагался на железную чашку риса (данное коммунистами обещание предоставить гарантированную, но за невообразимые деньги работу, чтобы зарабатывать на жизнь), сдвиг в сторону рыночной экономики означал и кусающиеся цены, превращавшие в насмешку их зарплаты, и растущую неуверенность в трудоустройстве, когда государственный бизнес начал проделывать бреши в маоистском табу на эффективность и конкуренцию.

К 1988 году дэнсяопиновская версия ментальности Великой стены вызывала идеологическое головокружение в большинстве городов Китая: при постоянно открытых для иностранных инвестиций дверях Китая каждые несколько лет его окна захлопывались перед носом иностранных «мух и комаров» (особенно это касалось разговоров о политических свободах). Однако противоречивость дэнзовского рыночного социализма, возможно, не была бы столь болезненной, если бы при этом обеспечивался бесспорный рост жиз-

ненного уровня, возникало ясное ощущение материального прогресса. Недовольство стало усиливаться, когда на Тринадцатом съезде партии в конце 1987 года партийный генеральный секретарь и второе лицо после Дэна в стране оголошил нацию неожиданным сообщением: после почти сорока лет политических и экономических крови, пота и тяжкого труда Китайская Народная Республика все еще как отстающая, на «начальной стадии» социализма. Для городских жителей Китая начальная стадия являла мало привлекательности: в первые три месяца 1988 года цены на овощи в городах выросли почти на пятьдесят процентов. Свинину, яйца и сахар после нескольких приступов ажиотажного спроса стали распределять. В интересах снижения стоимости производства государственные предприятия начали увольнять рабочих. Только в одном городе за первую половину 1988 года такая участь постигла четыреста тысяч человек. Стали расти попрошайничество, число забастовок и преступность (как экономическая, так и уголовная). В разгар экономических неурядиц репутацию партии еще более портили распространенные взгляды, что все превращается в гигантский бизнес, что чиновники с налаженными связями — покупая, продавая, растрачивая — единственные, кто по-настоящему выгадал от поворота Китая к рыночному социализму. По мнению большинства китайцев-горожан, проводимая коммунистической партией «политика открытых дверей», похоже, не намерена впускать в страну ничего полезного именно им. Результатом стала не ностальгия по экономическому и политическому пуританизму маоизма, а непобедимое желание самим контролировать дверь.

В июне 1988 года, когда в городах по всей стране нарастал недовольный ропот, по национальному телевидению показали некий шестисерийный документальный фильм. Сериал наэлектризовал страну. Десятки, может, сотни миллионов тех, кому посчастливилось получить доступ к телевизору — в конце восьмидесятых годов этот предмет роскоши

являлся дефицитом и стоил безумных денег, — собирались у экранов в течение шести вечеров, когда транслировали эту ленту. Опубликованный в сокращенном виде в национальных газетах с тиражом в несколько миллионов экземпляров, сценарий сериала, кроме того, распродали в виде книги в семи-стах тысячах экземпляров. Через год, во время репрессий, последовавших вслед за демонстрациями на Тянаньмэнь 1989 года, его главный автор, дерзкий молодой журналист и диктор по имени Су Сяокан, был назван зачинщиком подготовки прошедших весной «контрреволюционных беспорядков», и ему пришлось тайком бежать из страны в Европу.

Сериал назывался «Элегия реки», и его идея выглядела достаточно ясно: возложить вину за сложное настоящее Китая на его замкнутую на сушу историческую географию и на его неспособность заниматься морскими исследованиями и открыться внешнему миру. «Элегия реки» оплакивала тиранию Желтой реки, чье переменчивое, разливающееся, засоренное наносами ила русло истощило силы и таланты китайцев, заставив их прежде всего заботиться о защите собственной земли. Громадная коллективная задача управления рекой и землей вынудила китайцев искать жесткие, авторитарные формы политической организации, сфокусированные на внутренние, сельскохозяйственные заботы. В результате им раз за разом не удавалось заглянуть вовне, распространиться на заморские страны, расширить свои горизонты и порвать с тысячелетиями феодальной диктатуры. Единственным памятником, наиболее четко отражающим политические неудачи Китая, говорит диктор в «Элегии реки», является Великая стена, построенная, чтобы запереть единственную открытую границу Китая, его единственный рубеж, не запечатанный наглухо горами или океаном.

После того как Ши-хуанди построил Великую стену, «стало возможно отражать атаки кочевников извне, но в то же время внутри возникла притягивающая сила, заставлявшая народ, живущий в стенах, тяготеть к центру власти. Та-

ким образом, кто бы ни построил Великую стену, тот впоследствии становился обладателем земли, территорий и народов в ее пределах». Однако, усиливая деспотизм, продолжала «Элегия реки», стена так и не смогла стать эффективным оборонительным сооружением:

«Когда свирепые всадники Чингисхана обрушились как волны, даже естественные преграды вроде Желтой реки и Янцзы, не говоря уже о Великой стене, не могли их остановить... И китайский народ, несмотря на высокий уровень своей цивилизации, был бессилён противиться горькой участи... Как много исторических трагикомедий сыграно на фоне Великой стены!»

В глазах авторов «Элегии реки» последняя из трагикомедий заключалась в поклонении стене со стороны современных китайцев:

«Люди гордятся тем фактом, что она — единственное рукотворное творение, которое астронавты могли видеть с Луны. Люди даже хотят использовать ее в качестве символа могущества Китая. Однако если бы Великая стена могла говорить, она очень откровенно рассказала бы своим китайским внукам, что является громадной и горестной могилой, построенной историей... она выражает изоляционистскую, консервативную и неумелую попытку обороняться и трусливое отсутствие агрессивности... Ах, Великая стена, отчего мы все еще хотим прославлять тебя?»

Убийственный поход «Элегии реки» против Великой стены — «этого свидетельства неудач и отступлений» — сопровождался изображениями покрытых рубцами и избитых, монотонных желто-коричневых руин стены, затерявшихся в пустынях севера. Противоядием для душного, приземленного тюфяка китайской истории стала свежая голубизна «накатывавшейся волны» океана, «смывающей накопившиеся отложения феодализма» с помощью торговли, открытости,

прогресса, свободы, капиталистического богатства, науки и демократии. «Неужели мы не слышим великую мелодию судьбы человечества?» — задавал вопрос сериал, подчеркивая свою точку зрения бойкой синтезированной музыкой, фотографиями оживленных моряков и райскими видами белых, окаймленных пальмами пляжей.

Хотя в фильме прозвучало совсем немного упоминаний о неуютном сегодняшнем дне Китая, ни один образованный китаец, смотря его, не смог бы не заметить скрытую аллегорическую цель нападки на Великую стену и Желтую реку: позволить авторам фильма критиковать существовавшее в то время правительство и его десятилетние метания между либерализацией и политическими репрессиями. Никто не ошибся бы в том, что критика Ши-хуанди и его земляной стены была не чем иным, как атакой на Мао и его закрытую социалистическую систему, или что превознесение чистого лазурного океана — защитой открытости политическим ценностям либерально-демократического Запада. «Мы в данный момент движемся от зашторенности к транспарентности, — оптимистически предрекалось в сериале. — Клочок грязно-желтой земли не способен воспитать в нас истинный дух науки. Неукротимая Желтая река не может воспитать в нас истинное демократическое сознание... Только когда морской ветер «голубизны» прольется дождем и снова увлажнит этот клочок иссушенной желтой земли, только тогда благословенная энергия... сможет вдохнуть новую жизнь в это огромное плато желтой земли».

При просмотре в наши дни «Элегия реки» звучит немного напыщенно, немного выпренне, немного слишком влюбленно в собственную аллегоричность и, конечно, довольно наивно в отношении Запада (в 1980-х годах даже образованные люди рассматривали сцены из сериала «Даллас» в качестве авторитетного документального источника сведений по современной Америке). Но даже сегодня в сериале многое по-прежнему заслуживает внимания. В социалис-

тической культуре, не заинтересованной побуждать людей мыслить критически или творчески о своем прошлом, стремящейся заставить население с надеждой смотреть в завтрашний день, а не задаваться вопросами о своем вчера, готовность документального сериала заняться историей — несмотря на фактологические искажения, допущенные в интересах полемики, — и его атаки на такие тотемы китайского национализма, как Великая стена, по-прежнему обнадеживают. Если случайно пробежаться по каналам контролируемого коммунистами телевидения в начале третьего тысячелетия — где сочные поп-шоу дышат в затылок мыльным операм, проповедующим кич социалистической нравственности, — то «Элегия реки» покажется частью другого, притягательно-серьезного культурного мира.

Когда студенты начали выходить на улицы весной 1989 года, связь между их требованиями большей свободы самовыражения и прозрачности правительства и «Элегией реки», телевизионной сенсацией предыдущего года, легко просматривалась. Заключительная часть фильма приветствует китайских интеллигентов как спасителей нации: «Они держат в своих руках оружие, разящее невежество и предрассудки... Это те, кто способен направить «голубой» чистый родник науки и демократии в нашу желтую землю!» После того как студенты поднялись, решив помочь возвышенному историческому предназначению, списанному «Элегией реки», Су Сяокан сразу же присоединился к протестующим. Он вышел на Тяньаньмэнь в бумажном кушаке, где написал, что он автор «Элегии реки», и выступал перед студентами через мегафон. «Прекрасно, — бросила его жена, когда Су вернулся домой, — ты получил своей момент славы. Все снималось на видеопленку агентами безопасности».

В десять часов вечера 4 июня 1989 года, восемнадцать дней спустя после того, как Дэн Сяопин утащил находившегося с визитом советского лидера Михаила Горбачева прочь от досадных демонстраций на площади Тяньаньмэнь



насладиться свежим весенним воздухом на Великой стене в Бадалине, коммунистическое руководство приказало войскам Народно-освободительной армии, сконцентрировавшимся в пригородах столицы, очистить площадь. Через полчаса, когда мирно настроенная толпа преградила путь армии в нескольких километрах к западу от Тяньаньмэнь, солдаты начали стрелять в гражданское население. Лишь спустя несколько дней выстрелы смолкли окончательно. В течение недели после силовой акции правительство опубликовало список «особо разыскиваемых лиц», где перечислялись вожаки студентов, активисты движения за права человека, члены независимых философских кружков и Су Сяокан, автор «Элегии реки». Вместе с Чай Лином и Уэр Кайси, двумя самыми известными студенческими вожаками, Су оказался среди счастливчиков, которым удалось через Гонконг и Париж бежать в Америку.

Не сумев прибрать Су к рукам, правительство утешилось нападками на его телевизионное дитя. 11 сентября 1989 года группа профессоров-историков собралась в столице, чтобы развенчать «Элегию реки» и ее нацеленный против Желтой реки и Великой стены прозападный посыл как «контрреволюционный уклонизм», обвинив сериал в «махинаторстве и обмане доверия народа», в провоцировании «общественного мнения к политическим беспорядкам, которые в этом году прошли повсюду, а в столице переросли в контрреволюционный мятеж», и в неприемлемо «опрометчивом и фривольном отношении к национальным героям, патриотам и революционным вождям».

В то время как в Восточной Европе все шло к подъему «железного занавеса», китайские правители изучали опыт последних десяти лет перед пекинской резней. О возвращении к тотальной изоляции не могло быть и речи. Хорошо это или плохо, но Китай при Дэн Сяопине существовал при определенной степени открытости: рост иностранных инвестиций и торговли стал темой одной из великих историй об

экономическом успехе в 1980-х годах. Даже в отношении культуры никто не хотел перевода стрелок часов назад к маоизму. Правительственные бюрократы от культуры оказались в трудном положении в спорах о литературе 1980-х годов. Писатели, одухотворенные чтением западной классики, снова ставшей доступной в переводах, создавали очевидно более интересные произведения, чем при Мао, когда политический контроль настолько сковал творчество, что в 1949—1966 годах в Народной Республике публиковалось в среднем всего восемь романов в год. Основная забота правительства оставалась неизменной с конца 1970-х годов: пользоваться экономическими плодами открытости, удерживая тем самым население в довольстве и стабильности, отгоняя при этом дестабилизирующих, антитоталитарных мух и комаров свободы печати и демократии; другими словами — продолжать внимательно контролировать трансграничные операции Китая.

Прошло еще десять лет; еще десять благоприятных для Великой стены лет. Громада Берлинской стены пала, а китайская оставалась туристической достопримечательностью номер один и национальным символом. Во время празднеств, проводившихся в Пекине в связи с передачей Гонконга в 1997 году, показали театрализованное восстановление Великой стены из блестящих тел китайцев. Символизм разыгранного действия — китайский народ равняется Великой стене, равняется Родине и возвращает себе Гонконг после ста лет пребывания во внешнем мире — не мог быть более прозрачным.

В то время как китайцы, очевидцы силовой акции 1989 года, в душе ничего не забывали, правительство давало ясно понять: ни в чьих высших интересах вспоминать о ней публично. В результате к 1998 году многие китайские студенты даже не имели представления о требованиях их предшественников десятилетием раньше; и еще меньше о том, что

произошло в 1978 году. Ключевая фраза на устах в 1990-х годах звучала как «ван цянь кань» — «смотреть в будущее». В китайском языке она легко переводилась в каламбур, где «будущее» (цянь) менялось на «деньги» (цян). В глазах правительства такая тактика себя оправдывала. Несмотря на всю очевидность произошедшего весной 1989 года, через три года китайцы следовали данным в 1992 году директивам Дэн Сяопина, направленным на «ускорение, совершенствование, углубление» экономического роста и рыночных реформ. Официальная пресса настаивала на том, что рынки могут быть социалистическими, а Дэн заявлял: «Предприятия, основанные на иностранном капитале... хороши для социализма».

На какое-то время китайцы приняли то, что партия публично дозволила за своей собственной Великой стеной. Непрозрачное, однопартийное правительство продолжало держать в руках прессу, граждане внешне сфокусировали внимание на зарабатывании и потреблении. В начале 1980-х годов они довольствовались велосипедами, наручными часами и телевизорами. К концу тысячелетия они стали замахиваться на большее: на автомобили, дома и праздники за границей. А в 2004 году их мысли приобрели еще больший масштаб, когда некая китайская компьютерная компания пыталась купить филиал американской транснациональной Ай-би-эм. Супермаркеты (моллз), как и стены (уоллз), сделались после 1989 года определяющими, почитаемыми памятными знаками Китая. Вечный исторический долгожитель, Великая стена, без единого шва срослась со вспучившимся потребительским ландшафтом Китая, став торговой маркой широкого спектра товаров и услуг: достаточно логично — для строительных компаний, занятых строительством домов со стеной и воротами; менее логично — для названия вина, шин и кредитных карт.

И все же при всей умиротворенности вида Китая его отношения с внешним миром трансформировались тихим, но

радикальным нападением на его границы: нападением, где участвовали уже не всадники кочевников, а информация и техника и где наиболее важные границы Китая проходили не по земле, а в виртуальном пространстве.

Первое дыхание перемен пришло 20 сентября 1987 года, когда китайский профессор по компьютерной технике, выбрав своим девизом «Идти за Великую стену, двигаться в сторону мира», послал Китаю первое сообщение по электронной почте. В течение семи лет никто не обращал на это особого внимания, пока речь, с которой в 1994 году выступил Ал Гор, «Построение информационного суперпути», наконец не дошла до сознания китайцев. В том году основали первую китайскую компьютерную сеть. Первый публичный сервер Интернета появился в 1995 году. В следующие восемь лет число китайских пользователей Интернета в среднем ежегодно утраивалось, увеличившись с сорока тысяч до пятидесяти девяти миллионов ста тысяч человек. К началу 2005 года, по оценкам, оно преодолело планку в сто миллионов человек.

Как и в случаях с большинством изобретений и новшеств, проникших в Китай из-за границы, правительство стремится контролировать и определять пользование Интернетом. Интернет в соответствии с официальным положением является инструментом развития, призванным побуждать экономический рост, предоставляя удобства для делового общения и инвестирования. Признав в 2000 году за Интернетом «важную роль в обеспечении мирового экономического роста», преемник Дэна, Цзян Цзэминь, выражал надежду на «усиление администрирования здоровой информации» в сети, чтобы можно было, как всегда, надзирать за движением через Великую стену.

Не требовалось великой проницательности, чтобы в 1990-х годах предсказать — дела виртуальные не смогут быть полностью обрезаны и высушены, как того хотелось правительству, а Интернет станет во многих разных руках

потенциальным средством разрушения ментальности Великой стены и даст — по китайским стандартам неограниченную — свободу голоса неофициальным источникам новостей, активистам демократии, гражданским и правовым организациям, религиозным культам, футбольным фанатам и помещавшимся на сексе горожанам. США, несомненно, с удовольствием отметили — все это в докладе Пентагона в 1995 году они предсказали: Интернет будет представлять «стратегическую угрозу для авторитарных режимов». Бросая Пекину вызов, Билл Клинтон в 2000 году сказал журналистам: китайское правительство обнаружит — насилие в компьютерной сети организовать так же трудно, как «пытаться прибить к стене медузы». По заявлению кандидата в президенты Джорджа У. Буша в 1999 году, уже тогда оседлавшего нынешнего фирменного конька, если Интернет укоренится в Китае, то «джинн свободы будет выпущен из бутылки». В промежутке между 1990-ми годами, когда политическая свобода большинства региональных газет ограничивалась правом изменять очередность фотографий руководства, помещенных в национальной газете «Жэньминь жибао», и 2005 годом, когда телевизионные мыльные оперы стали пока лишь на пару тактов более психологически сложными, чем произведения социалистического реализма, китайское виртуальное пространство предложило людям очень нужный медийный форум, позволив им тем самым чувствовать себя комфортно.

Однако с того времени, как в Китае заработал Интернет, правительство доблестно борется с его опасным потенциалом увода информации из-под контроля и либерализации выражения мыслей. Вначале это достигалось старой коммунистической свирепостью: доступ в Интернет заворачивался в такое количество красной бюрократической пленки, что большинство людей, стремившихся прописаться в сети, бросали это дело и обращались к «Жэньминь жибао» или ее местному эквиваленту. В 1996 году лица, желавшие

стать пользователями Интернета, должны были заполнять полицейские формуляры в трех экземплярах для местного управления общественной безопасности, подписывать заявление в связи с доступом в Интернет об обязательстве не читать и не пересылать материалы, «угрожающие государству, нарушающие общественную безопасность или являющиеся непристойными или порнографическими», и предоставлять интернет-провайдеру практически всю мыслимую информацию о себе (чуть ли не о необычной формы родимых пятнах).

К концу тысячелетия, когда провайдеры начали снимать с подключения к сети красную обертку, правительство усилило технические меры в своем стремлении контролировать Интернет. Коммунистическая партия поняла: если она намерена ответить на вызов Клинтона по поводу «прибывания медузы к стене», то прежде всего ей понадобится стена, на которой придется работать. С 1996 по 1997 год новый департамент в Управлении общественной безопасности, призванный нарушить свободы Интернета, принялся создавать «Великую огненную стену Китая»: блаженное сочетание китайской традиции с высокоточными технологиями. Масса серверов, стерегущих пять выходов китайского Интернета во внешний мир, «Файерволл» был запрограммирован блокировать сомнительные заграничные сайты — иностранных газет, организаций, выступающих за независимость Тибета или Тайваня, религиозных культов, «Плейбоя» и так далее — по списку, обновлявшемуся каждые две недели. Через пять лет «Огненную стену» довооружили «почтовыми нюхачами» — программным обеспечением, способным определять с официальной точки зрения проблемные слова и фразы на индивидуальных веб-страницах и в электронных сообщениях из списка, который включал такие вещи, как «Фалунгун», «свобода», «половой акт», «секс» и «Цзян Цзэминь». Достаточно, например, упоминания слова «секс», и «почтовый нюхач» заморозит соответствующий терминал. В 2002

году правительство полностью заблокировало поисковую систему «Гугл» из-за того, что его практика вылова каждого веб-сайта, который проиндексирован в нем, давала китайским пользователям возможность выхода на запрещенные страницы. Хотя после громкого возмущения общественности и обращения из «Гугл» правительство отозвало запрет, оно продолжает тихо и селективно проверять при помощи «почтовых нюхачей» каше «Гугл».

Главной преградой подрывному использованию Интернета является, конечно же, закон или то, что в Народной Республике проходит под этим названием. «Репортеры без границ», организация, выступающая за свободу Интернета, подсчитала: к 2004 году в Китае был арестован шестьдесят один кибер-диссидент. В 2003 году Лю ди, студентка психологического факультета, стала международной знаменитостью, будучи задержанной за свои протесты в чатах против арестов политических диссидентов.

Однако, как и в Великой стене из кирпича и земли, в «Огненной стене» имеются дыры. В самом Китае «Огненная стена» известна под названием сетевая стена, позволяющим легко представить пористую природу ее поверхности. Установка блокировки на запрещенные веб-сайты всегда в лучшем случае была сродни латанию дыр: не все ворота в «Огненной стене» одинаково прилежно выполняют волю коммунистов. Или же, подобно Алтан-хану, решительно настроенные интернет-пользователи могут обойти стену, используя уполномоченные серверы в зарубежных странах вместо официальных выходов в Мировую сеть. Возмущенные китайские пользователи «Гугл» в 2004 году получали результаты у поисковой машины, используя «Элгуг»: зеркальную версию оригинального названия сайта, изначально построенную как компьютерная шутка. Столкнувшись с лингвистическим вызовом, правительственные фильтры не смогли сообразить, что китайские пользователи, способные печатать английские слова наоборот, могут выходить на такие за-

преценные сайты, как «Swen СВВ» (Би-би-си ньюс). В любом случае постоянно появляется слишком много новых веб-сайтов, и правительство не в состоянии контролировать их все.

Другой революционной чертой китайского Интернета является его способность убирать стены не только между Китаем и остальным миром, но и внутри самого Китая. Последние несколько лет Интернет играет главную роль в открытии закрытой системы управления Китаем для широкой публики: вскрывая злоупотребления полиции (как в случае молодого человека, умершего в полицейском участке в Гуанчжоу), официальные попытки замалчивания фактов (эпидемия СПИДа в Хэнани, возникшая из-за коррупционного скандала вокруг продажи крови) и помогая в организации антиправительственных акций (некоторые самые крупные массовые протесты после 1989 года координировались запрещенной религиозной сектой «Фалуьнгун», чьи приверженцы группировались вокруг организаторов благодаря электронной почте и Интернету). Главным событием китайского Интернета в 2003 году стал блоггерский бум: примерно за год число китайских блоггеров выросло с двух тысяч до ста шестидесяти тысяч, часть которых составляют журналисты, пишущие в свои блоги материалы и информационные сообщения, слишком чувствительные для опубликования в старомодной прессе. Две особенности блогов работают в их пользу как механизма распространения чувствительной информации. Прежде всего их слишком много, чтобы официальная цензура могла их контролировать, и слишком много возможных выходов, чтобы правительство могло не дать писать решительно настроенному блоггеру. Во-вторых, блоги имеют participatory характер — информация может быть сделана доступной только для зарегистрировавшихся пользователей, — а потому, похоже, считаются официальными цензорами не столь опасными, как полностью открытые для доступа форумы вроде «досок



объявлений» или «чатов». В октябре 2004 года до блогов стал доходить их подрывной потенциал, когда группа крестьян на северо-западе воспользовалась блогом, чтобы заявить протест по поводу конфискации правительством их земли. Местные чиновники не стали отгораживаться от своего критика каменной стеной и сочли себя обязанными ответить через собственный блог.

Но такое применение Интернета все еще является скорее исключением, чем правилом, и прямая цензура со стороны правительства не единственная тому причина. Открытые, официальные меры по контролю за китайским киберпространством составляют лишь половину картины. Вторая половина — самоцензура со стороны пользователей и администраторов. Китайский Интернет — и это совершенно логично — чересчур громоздок и аморфен, чтобы какое-либо правительство могло прямо контролировать его сверху. Понимая это, правительство в борьбе с бесконтрольной свободой слова использует столь же аморфную силу, кстати, помогающую ему удерживать власть: неуверенность. Маниакальная приверженность Мао к идеологической ортодоксальности породила карательную политическую культуру, при которой страх подсматривания со стороны таких же китайцев и ужас перед разоблачениями на массовых собраниях заставляли людей либо признаваться добровольно во все более незначительных или даже воображаемых преступлениях, либо заниматься жесткой самоцензурой. Они всегда поступали с крайней осторожностью, никогда не позволяли себе поведения, хоть отдаленно затрагивающего политически чувствительные или сомнительные вопросы. Естественно, жизнь в Китае сегодня более не является политическим минным полем, как при Мао, но в повседневной политической культуре продолжают существовать две характерные черты его наследия: ощущение — порой смутное, порой явное — того, что во время публичных мероприятий находишься под постоянным наблюдением, и неуверенность

в том, где проведена линия дозволенного в свободе выражения мнения на публике. Такой проблемы в сфере личных отношений не существует. Китайцы могут говорить все, что им вздумается, людям, которым доверяют, но это жестко ограничивает свободу действий на публике и при легкодоступном посреднике, таком как Интернет. Правительство ясно проводит свою позицию, создавая культуру страха — проверяя сайты, накладывая аресты, закрывая интернет-кафе. Натянутые нервы администраторов и пользователей делают остальную работу. «Путь, которым мы предпочитаем осуществлять контроль, сводится к децентрализованной системе ответственности, — заявил в 1997 году один из архитекторов «Великой огненной реки». — Пользователь, провайдер и «Чайна телеком» — все отвечают за информацию, к которой получает доступ пользователь. Люди привыкли к осторожности, и всеобщее чувство, будто находишься под наблюдением, действует как сдерживающее средство. Ключ к контролю над Интернетом в Китае находится в управлении людьми, а это процесс, начинающий с приобретения модема». В современном Китае, где доходность является не меньшей заботой, чем политическая ортодоксальность, в глазах большинства владельцев интернет-кафе вопрос о цене допуска к сомнительным сайтам, а значит, риска быть закрытыми силами безопасности, не является тривиальным. В 2003 году под предлогом ужесточения стандартов здоровья и безопасности правительство закрыло половину из двухсот тысяч интернет-кафе в стране. В интернет-кафе, переживших отбраковку, установили программы наблюдения для отслеживания индивидуальных привычек пользователей.

Пользование Интернетом заражено страхом наблюдения: какой-нибудь чат или электронная доска объявлений может находиться и часто находится под неусыпным оком стражей политической ортодоксальности. Китай изобилует людьми, нуждающимися в работе. Для значительного числа людей (по недавней оценке, тридцати тысяч) занятие

цензурой Интернета является ничем не хуже любой другой работы. Пока какие-нибудь пользователи сети пишут крайне смелые вещи, раскольническое предприятие из-за них пребывает в состоянии риска и неопределенности. Случай с Лю ди, просидевшей в камере с обвиненной в убийстве женщиной в течение года без предъявления обвинения, не зная, кто донес на нее, типичен.

Сухой остаток в том, что многие пользователи Интернета предпочитают действовать в киберпространстве осмотрительно. Подавляющее большинство блоггеров — которые сами являются в основном городским меньшинством среди сельского большинства Китая, не охваченного сетью, — пользуются Интернетом ради того, чтобы копаться в «личных вещах»: в любовной жизни, поездках за покупками, в том, что они ели на обед в уик-энд. Не случайно блог, запустивший движение блоггеров в Китае, — дневник сексуальной жизни редактора журнала мод из Гуанчжоу по имени Му Цзымэй за 2003 год. «Я очень занята на работе, — писала она, — но когда выдается свободное время, я трачу его на очень гуманное хобби — занятие любовью». К ноябрю того года ее сайт посетили сто шестьдесят тысяч человек. К ним ежедневно присоединялись по шесть тысяч читателей. Пятнадцать лет назад за такую откровенность про секс преследовали бы как за моральную распущенность. Однако теперь рассказы размером с книгу о жарких сексуальных оргиях — хоть ими и не зачитываются перед сном члены политбюро — вполне заурядная вещь, и секс на публике рассматривается правительством как относительно безвредный побочный продукт экономической либерализации. Хоть и трудно расценить подобное явление как «духовную социалистическую цивилизацию», которую партия пытается построить с начала 1980-х годов, но по крайней мере китайцы нашли способ выпустить пар без упоминания ужасных слов «политическая транспарентность» или «демократия».

Другим политически безопасным способом расслабиться на китайском Интернете является отправление обрядов в кумирне государственной религии, не позволяющей разваливаться капиталистическо-коммунистическому Китаю: злобный, ксенофобский национализм. Почти столько же времени, сколько в Китае существует Интернет, его периодически доводят до состояния националистической истерии вокруг тем и инцидентов, видящихся как ущемление китайского национального достоинства: демократические выборы на Тайване, натовская бомбардировка посольства в Белграде, отказ Японии извиняться за зверства во время Второй мировой войны (почувствуйте накал злобы: некоторые кибернационалисты выступали за ядерную войну против Японии и США). И хотя после 1989 года государство опасается любого всплеска массового сознания, оно терпит выражения гневного национализма, поскольку они дают все возрастающим в числе, но при этом все более запутывающимся молодым китайцам в городах выплескивать ярость, отвлекают внимание от прошлых и нынешних неудач коммунистической партии и совпадают с определенными целями государства: противодействие независимости Тайваня, критика вмешательства США в дела Восточной Азии и отметание претензий Японии на острова Дяоюйтай. Пока коммунистические власти получают основную выгоду от кибернационализма, ксенофобские настроения расплываются, превращаясь в определенный государством патриотизм, когда интернет-патриоты называют активистов движения за демократию, живущих в изгнании за границей, беглыми собаками иностранцев. В Китае даже сообщество хакеров (почти везде в мире шайка индивидуалистов, асоциальных элементов) страстно патриотично. С 1997 года китайские хакеры ведут виртуальную войну со всеми странами, обвиненными в оскорблении Китая: весной 2001 года, когда американский самолет-шпион столкнулся с китайским истребителем в китайском воздушном пространстве, хакеры

разместили изображения китайского флага по всей веб-странице, посвященной истории Белого дома, и повесили лозунг «*Beat down imperialism of American!*» (искаженное «Долой американский империализм!») на сайте Национального делового центра США. Как стало известно, когда некий успешный хакер устал от хулиганства в киберпространстве США и переключился на сайты собственного правительства — покрыв домашние страницы местного правительства неприличными картинками и подменив поздравительное послание правительства словами «Мы стадо борзых», — его арестовали через сорок восемь часов.

Старинный афоризм Чингисхана сейчас кажется как никогда верным: прочность стен зависит от тех, кто их обороняет. В жесткой идеологической общности, какой по-прежнему является Народная Республика, большинство пользователей Интернета, осознанно или нет, временно привлечены в качестве стражей границы. Однако в отличие от практически всех династий, строивших стены, коммунистическое правительство пытается обеспечивать лояльность своих стражей, значительно лучше оплачивая их, чем любую другую социальную группу в империи.

Китайские диссиденты настаивают: они видят в Интернете семена разрушения упругой китайской авторитарной традиции — последнего рубежа ментальности Великой стены. Однако в настоящее время кажется вполне правдоподобным, что китайские правила для сети станут еще одним эпизодом в тысячелетней истории стеностроительства в Китае, истории, где правители коммунистического Китая показали себя не хуже — если не лучше — любого из своих имперских предшественников в строительстве, содержании, восстановлении и охране стен.

Мы не утверждаем, будто «Огненная река» с ее набором заградительных мер в конце концов окажется сколько-нибудь менее пористой, чем самый прочный из пограничных рубежей старого Китая, а их нынешние стражи не обязательно

будут более лояльны своим авторитарным архитекторам, чем многие несчастные, которых веками ссылали служить на стены на пустынных северных границах Китая. Весной 2005 года по крупным городам Китая прошли антияпонские демонстрации, протестное движение начало жизнь, смыкающуюся с ксенофобскими, националистическими целями государства. Его раздули и организовали активисты Интернета, чья злоба частично является порождением глубоко укоренившегося напряжения в китайском обществе, возникшего в силу ограниченных возможностей для публичного политического волеизъявления.

В настоящее время важные аспекты подобных демонстраций остаются неясными: в какой степени они были организованными или находились под влиянием политического центра и до какой степени вышли из-под официального контроля и оказались в руках народных организаций. Естественно, прежний вывод вытекал из плотного полицейского надзора над началом демонстраций, из факта предоставления правительством автобусов для развоза студентов назад в кампусы, когда руководство общественной безопасности сообщило им, что они уже достаточно долго «изливают свой гнев», из категоричного отказа Пекина на требования Японии публичных извинений. Но когда протесты продолжились и в третий уик-энд, в упреждающих обращениях властей появились нотки беспокойства. «Выражайте свои чувства, не нарушая порядка», — инструктировала полиция будущих демонстрантов через Интернет, предупреждая: все уличные демонстрации должны быть согласованы с властями — и приказывая: примелькавшиеся активисты из масс должны оставаться дома. После событий весны 1989 года китайская коммунистическая партия не может себе позволить разрешить общенациональный публичный протест, чей размах способен далеко уйти из-под ее контроля. Нет сомнения, она держит в уме тот факт, что масштабные демонстрации в поддержку ведущего либерального политика в

1980-е годы выросли из антияпонских демонстраций. Получилось так, что недавние протестные мероприятия, направленные против Японии, совпали с антиправительственными демонстрациями, устроенными организованными группами по интересам: в ходе их тысячи ветеранов армии протестовали в столице с требованиями повышения пенсий, вооруженные мачете крестьяне на юго-востоке Китая отбивались от тысяч бойцов полиции особого назначения. Через несколько дней главная правительственная газета объявила антияпонские демонстрации «зловещим планом» с «тайными целями» ниспровержения коммунистической партии — явный признак того, что протестное движение, вначале примерно совпадавшее с официальной политической линией, быстро перешло в гораздо более опасную плоскость гражданских неофициальных действий. Способны ли сформированное в Интернете общественное мнение и гнев подогреться настолько, чтобы в конечном счете соединиться с многочисленными недовольными в современном Китае и выйти за пределы, установленные «Великой рекой»?

Кажется, с большой уверенностью можно предсказать: прекратится или нет активная служба самой новой стены Китая, а вместе с ней и режима, который она защищает, политическое и культурное мировоззрение, издавна выражавшееся китайским стеностроительством, в той или иной форме сохранится. Знакомые по сегодняшнему дню колебания политики — между наступлением и обороной, между открытостью и изоляционизмом, между жадной иностранной экзотики и заблуждением о самодостаточности, — за которыми стоят тысячелетние споры о рубежных стенах, тоже сохранятся.

Видимо, будет честно сказать — просуществовав весь XX век и выйдя за его пределы, устойчивая любовь китайцев к стенам (воплощение имперского китаецентристского отношения к внешнему миру) выдержала величайшую проверку и доказала способность выживать практически в любых

геополитических условиях. Возникнув в виде небывалого национального памятника Китая, по мере того как страна старалась впервые в истории протиснуться в современную систему международных отношений за границами возможностей диктовать свои условия, приспособлявая себя к глобализирующемуся миру и его новым виртуальным потокам информации, идея рубежной стены за многие века доказала свою особую, универсальную притягательность для китайцев. Странный коктейль из культурных и политических элементов, в настоящее время присутствующих в современном Китае — где необоримое стремление к международному «лицу» (Нобелевские премии, Олимпиада в Пекине, вступление во Всемирную торговую организацию), к иностранным товарам и обучению за границей сосуществует с периодически выбросами ксенофобских чувств и злобой к Америке, старающейся, как считают, сдержать поднимающийся Китай, — является, вероятно, всего лишь очередной, хоть и более радикальной, версией противоречия между замкнутостью и открытостью, которое проявляло себя по крайней мере с того времени, когда правитель государства Чжоу Улин начал при своем дворе спор о хороших качествах куртки кочевника.

Как признано, явная противоречивость и ненормальность этой версии усугубляются ускоряющимся процессом глобализации, нарастающей и вынужденной подверженностью Китая международному влиянию и выдвиганием более узких, четче определенных и законодательно оформленных выражений национальной идентичности. Но мы видим, как в течение тысячелетия все та же самая напряженность между иностранным и китайским появляется снова и снова, слишком часто, чтобы ее современное проявление спутали с новым феноменом: в почти одновременном принятии у варваров кавалерии и стеностроительства как военных стратегий в период Воюющих Царств; в открытии в период Хань Шелкового пути, прикрытого стенами и снабженного до на-



чала пустыни Такламакан башнями и валами из тростника и глины; в переходе Северной Вэй от кочевого образа жизни своих предков к обнесенным стенами китайским городам за рубежными стенами; в восторге суйского императора Яна в отношении степных шатров, баранины и вина, при том что он отправил миллион китайцев отгородить стеной его желтые равнины от тюркских варваров; в развороте от авантюрных плаваний «драгоценных» кораблей в начале династии Мин к тысячам километров укрепленной стеной из земли и кирпича границы, установленной к моменту падения династии в 1644 году.

Интернационализм и изоляционизм, часто сталкивавшиеся вокруг китайского стеностроительства, заставляют также вспомнить двойственный характер функции стен в течение тысячелетия китайской истории и сегодня на примере израильской «оборонительной» стены: не только защищать (порой насильно) народы, находящиеся под управлением стеностроителей, но и — в зависимости от расстояния до стены от тех, кого она предположительно защищает, — поддерживать стратегию империалистической экспансии, контролировать и надзирать за иностранными соседями, чей образ жизни угрожающе отличается от образа жизни самих стеностроителей.

Если мы отойдем от ультранационалистических целей, ради которых некоторые современные китайские пропагандисты используют стену, если мы не позволим ее полному противоречий и часто бесславному прошлому скрыться за современной помпезностью коммунистической туристической индустрии, некоторые имеющие многослойный подтекст, явно противоречивые заявления, делающиеся в отношении стены, будут наконец выглядеть более обоснованно. Хотя сейчас по-прежнему тянутся споры о том, что китайские рубежные стены определяли границы единого Китая и в то же время возвращали поликультурный интернационализм, можно сказать: эти два противоположных импульса часто сосу-

шествуют или сменяют друг друга на протяжении всей истории Китая, сплетаясь и расплетаясь из подъемов, спадов и новых подъемов в стеностроительстве. И настойчивое появление все новых стен на китайских границах — несмотря на их ответственность за несостоятельность своих строителей, за подпитку и обострение внутреннего недовольства, за поощрение китайских правителей к отказу от разного рода дипломатических компромиссов, которые исторически были бы более эффективными, чем высокомерный, близорукий изоляционизм, за неспособность сыграть роль оборонительного сооружения, когда перед ней (неизбежно) появились мобильные, решительные, закаленные в боях противники, за падение, — превратили их в константу истории Китая, в почти бездумный, неопровержимый культурный обычай. И китайские правители, и часть их народа, похоже, не в состоянии его отшвырнуть и явно не желают этого делать.

В грядущем столетии, когда китайский национализм и интернационализм обещают стать ключевыми геополитическими силами в мире, понимание тысячелетних колебаний Китая между открытостью и закрытостью и его уверенности в своей способности привлечь и цивилизовать иностранных прислужников, продолжая при этом контролировать то, что им разрешено в собственных границах, станет все более важным для видения подходов Китая в будущем и к внутренним, и к глобальным проблемам. В этой книге сделана попытка подать историю китайского мировоззрения, показать его успехи и неудачи, объяснить отношение к внешнему миру, которое может показаться запутанным (а часто и является таким), противоречивым и резким и которое никак не проявляет готовности исчезнуть перед лицом глобализации, всемирного крестового похода Интернета и Америки во имя свободы и демократии. Даже если бы в течение следующих десятилетий Народной Республике однозначно предстояло трансформироваться в демократическое государство по открытой, западной, либеральной модели или

модели Дж. У. Буша (предположение, выглядящее, мягко говоря, притянутым за уши), у китайской империи слишком много истории и слишком много исторического опыта, чтобы отказаться от своих тысячелетних поведенческих традиций, утратить веру в собственную культурную и политическую уникальность или потребность удерживать линию отторжения и активный пограничный контроль, физический или психологический, предназначенный для наблюдения за неизбежным движением визитеров, будь то восхищенные подносители дани, полные надежд торговцы или зеленоглазые агрессоры. Китай, видимо, всегда будет иметь свои великие стены.

## **Хронология династий**

Шан: прим. 1700—1025 гг. до н.э.  
Западная Чжоу: 1025—771 гг. до н.э.  
Восточная Чжоу: 771—256 гг. до н.э.  
Цинь: 221—206 гг. до н.э.  
Ранняя Хань: 202 г. до н.э. — 8 г.  
Междоусобица Ван Мана: 9—23 гг.  
Поздняя Хань: 25—220 гг.  
Период Троецарствия: 220—280 гг.  
Западная Цзинь: 265—316 гг.

### **Период раздробленности**

#### *Южный Китай*

Восточная Цзинь: 317—430 гг.  
(Лю-) Сун: 420—479 гг.  
Южная Ци: 479—502 гг.  
Лян: 502—557 гг.  
Чэнь: 557—589 гг.

#### *Северный Китай*

Период Шестнадцати Царств: 317—439 гг.  
Северная Вэй: 386—534 гг.  
Восточная Вэй: 534—550 гг.  
Западная Вэй: 535—557 гг.  
Северная Ци: 550—577 гг.  
Северная Чжоу: 557—581 гг.  
Суй 581—618 гг.  
Тан 618—907 гг.

**Период Пяти Династий и Десяти Царств:  
907—960 гг.**

Ляо: 947—1115 гг.

Северная Сун: 960—1127 гг.

Цзинь: 1115—1234 гг.

Южная Сун: 1127—1279 гг.

Юань: 1260—1368 гг.

Мин: 1368—1644 гг.

Цин: 1644—1911 гг.

## **Знаменательные даты в истории Китая**

8000 г. до н.э. Начало развития земледелия в северном Китае.

1384—1025 гг. до н.э. Надписи на Шанских гадальных костях дают первые изображения иероглифов.

1045—1025 гг. до н.э. Чжоу разрушает Шан.

1000 г. до н.э. Распространение в западной Азии езды верхом на лошадях.

1000—900 гг. до н.э. Самые ранние религиозные гимны в канонической «Книге песен» («Шицзин»).

900—800 гг. до н.э. Первые набеги на Китай со стороны северных племен.

841 г. до н.э. Начало ведения исторической хронологии.

771 г. до н.э. Чжоу вынуждена из-за вторжений варваров оставить свою западную столицу.

656 г. до н.э. Государство Чу строит первую стену.

551—479 гг. до н.э. Жизнь Конфуция.

Прим. 481—221 гг. до н.э. Период Воюющих Царств.

Прим. 356—348 гг. до н.э. Легистские реформы Шан Яна в государстве Цинь.

338 г. до н.э. Казнь Шан Яна.

307 г. до н.э. Государство Чжао вводит кавалерию по образцу кочевников.

Прим. 300 г. до н.э. Начало возведения северными государствами рубежных стен против иностранных «варваров»; смерть даосского философа Чжуан Чжоу, автора трактата «Чжуанцзы».

256 г. до н.э. Цинь уничтожает дом Чжоу.

246 г. до н.э. Восшествие на престол правителя Чжэна, будущего первого императора Цинь.

230—221 гг. до н.э. Цинь завоевывает государства Хань, Чжао, Вэй, Чу, Янь и Ци.

221 г. до н.э. Основание империи Цинь.

220 г. до н.э. Начало реализации имперской программы строительства дорог.

215—214 гг. до н.э. Ши-хуанди направляет своего генерала Мэн Тяня на север бороться с сюнну и строить Длинную стену.

212 г. до н.э. Строительство императорских дворцов.

210 г. до н.э. Смерть Ши-хуанди; воцарение его сына, Хухая.

209 г. до н.э. Начало народного восстания против Цинь.

Прим. 209 г. до н.э. Восстание Маодуня, вождя сюнну.

207 г. до н.э. Смерть второго императора.

206 г. до н.э. Падение династии Цинь.

202 г. до н.э. Основание династии Хань после нескольких лет гражданской войны.

201—200 гг. до н.э. Унижение первого императора династии Хань от Маодуня и сюнну при Пинчэне.

166 г. до н.э. Первое появление в источниках упоминания о сигнальных кодах на северной границе.

141 г. до н.э. Восшествие на престол императора У.

Прим. 139—135 гг. до н.э. Чжан Цянь отправляется в Центральную Азию.

126 г. до н.э. Чжан Цянь возвращается в Китай.

121—102 гг. до н.э. Экспансия Хань в Монголию и строительство там стен вплоть до Яшмовых Ворот.

87 г. до н.э. Смерть императора У.

Прим. 60 г. до н.э. Начинает падать мощь сюнну.

9—23 гг. Междоусобица Ван Мана.

25 г. Восстановление династии Хань после периода междоусобной войны.

50 г. Вождя сюнну вынуждают совершить коутоу перед китайцами.

89 г. Разгром северных юнну китайцами.

140—180-е гг. Подъем сяньби.

184 г. Восстание «Желтых повязок».

190 г. Рост могущества военного диктатора Цао Цао.

220 г. Официальный конец династии Хань.

221 г. Основание в Сычуани империи Шу-Хань.

- 222 г. Основание империи У и начало периода Троецарствия.
- 265 г. Основание династии Цзинь.
- 280 г. Династия Цзинь номинально воссоединяет Китай.
- 281 г. Династия Цзинь начинает строить стены.
- 304 г. Основание первого государства сюнну в северном Китае.
- 310 г. Бегство китайской аристократии на юг.
- 311 г. Разгром китайской столицы Лояна армиями сюнну.
- 317 г. Основание Восточной Цзинь в Наньцзине.
- 386 г. Основание Северной Вэй.
- 410—439 гг. Период завоевания северного Китая Северной Вэй.
- 423 г. Строительство первой, «внешней» стены Северной Вэй.
- 446 г. Строительство второй, «внутренней» стены Северной Вэй.
- 494 г. Северная Вэй решает перевести столицу на юг, в Лоян.
- 525—527 гг. Мятежи и бунты на северных границах Северной Вэй.
- 528 г. Эрчжу Жун идет на Лоян и устраивает резню его чиновников.
- 534 г. Основание империи Восточная Вэй.
- 538 г. Столица Северной Вэй, Лоян, разрушена.
- 550 г. Основание династии Северная Ци.
- 552 г. Тюрки становятся мощной силой в степи.
- 552—564 гг. Северная Ци строит стены по северному Китаю.
- 557 г. Основание империи Северная Чжоу в Чанъане и империи Чэнь в Наньцзине.
- 577 г. Северная Чжоу вторгается в Ци и объединяет северный Китай.
- 581 г. Ян Цзянь основывает династию Суй.
- 581—587 гг. Ян Цзянь возводит Длинные стены в северном Китае.
- 589 г. Ян Цзянь уничтожает династию Чэнь и объединяет Китай.
- 604 г. Ян Цзянь умирает; Ян Гуан становится вторым императором династии Суй.
- 605 г. Завершение строительства Великого канала.



607—608 гг. Ян Гуан предпринимает поездки на север и приказывает строить его стену.

612—614 гг. Неудачные походы Ян Гуана на Корею.

617 г. Ли Юань поднимает мятеж против Суй.

618 г. Убийство Ян Гуана; Ли Юань основывает династию Тан.

626 г. Ли Шиминь убивает своих братьев, «уговаривает» отца, Ли Юаня, отречься и становится императором Тайцзуном.

630 г. Вождь восточных тюрков подчиняется Тан; остальные тюркские вожди просят Тайцзуна принять титул «Небесного кагана».

640—649 гг. Распространение власти Тан на запад вплоть до Кучи, в сердце пустыни Такламакан.

684 г. Узурпация власти императрицей У.

712 г. Восшествие на престол императора Сюаньцзуна.

755—763 гг. Восстание Ань Лушаня.

762 г. Смерть поэта Ли Бо.

770 г. Смерть поэта Цэнь Шэня.

790 г. Тан утрачивает контроль над землями к западу от Яшмовых Ворот.

907 г. Традиционная дата конца династии Тан; китайская империя разваливается на независимые царства; Абаоцзи, основатель киданьской династии Ляо, устанавливает власть над киданями.

908 г. Ляо начинает строить стены в Маньчжурии.

960 г. Основание династии Сун.

1115 г. Чжурчжэни основывают империю Цзинь в Маньчжурии.

1125 г. Цзинь наносит поражение Ляо и изгоняет ее из северного Китая.

1127 г. Цзинь устанавливает власть во всем северном Китае; династия Сун вытесняется в столицу на юг, в Ханчжоу; начало Южной Сун.

1162 г. Рождение Чингисхана.

1166—1201 гг. Цзинь возводит стены в Маньчжурии и Монголии.

1194 г. Желтая река меняет русло.

1206 г. Чингисхана провозглашают верховным вождем монгольских племен.

1211 г. Чингисхан совершает первое нашествие на империю Цзинь.

1215 г. Монголы устраивают резню в столице Цзинь, на месте современного Пекина.

1234 г. Конец династии Цзинь.

1260 г. Переход власти к хану Хубилаю.

1271—1295 гг. Возможные даты пребывания в Китае Марко Поло.

1279 г. Смерть последнего императора Сун; весь Китай оказывается под властью монголов.

1294 г. Смерть хана Хубилая.

1330—1350-е гг. Чума в Китае.

1351 г. Первое упоминание о мятеже «Красных повязок».

1368 г. Основание династии Мин Чжу Юаньчжаном, вождем восстания «Красных повязок».

1368—1397 гг. Чжу Юаньчжан устраивает укрепления и гарнизоны вдоль границы и в глубине территории Монголии.

1402 г. Чжу Ди узурпирует власть и объявляет себя императором Юнлэ.

1403—1430 гг. Оставление гарнизонов Чжу Юаньчжана в Монголии.

1405—1433 гг. Морские экспедиции в Юго-Восточную Азию и к восточному побережью Африки.

1421 г. Официальное объявление Пекина столицей династии Мин.

1429 г. Первое упоминание старого циньского термина «Длинная стена» в минском трактате «Истинные записки».

1430-е гг. Эсэн объединяет монгольские племена.

1448 г. После того как его данническое посольство было подвергнуто остракизму в Пекине, Эсэн мобилизует силы для борьбы с районами к северу от столицы.

1449 г. Китайский император попадает в плен к Эсэну после страшного поражения от монголов при Туму.

1450 г. Эсэн возвращает захваченного императора в Пекин.

1470-е гг. После успешной военной кампании Ван Юэ Юй Цзыцзюнь руководит строительством стен в Ордосе.

1489 г. Смерть Юй Цзыцзюня после ссоры с евнухами при дворе.

1500 г. Регулярная торговля с монголами прервана.

1507 г. Рождение Чжу Хоуцуна, будущего императора Китая, и Алтан-хана, будущего правителя Монгольской степи.

1522 г. Вступление на престол Чжу Хоуцуна под именем императора Цзяцзина.

1541—1547 гг. Просьбы Алтан-хана разрешить принести дань отвергнуты китайским двором; последовали массированные нападения.

1540-е гг. Возведение двойной линии укреплений к северо-западу от Пекина.

1550 г. Алтан-хан обходит восточную оконечность минских стен и осаждает Пекин; Цзяцзин казнит своего военного министра.

1551—1552 гг. Цзяцзин дает временное разрешение на открытие торговых рынков с монголами.

Прим. 1557 г. Португальцы начинают торговлю в Макао.

1560—1570-е гг. Возведение стен и башен к северо-востоку от Пекина.

1570-е гг. Начинается обкладка кирпичом земляных укреплений вокруг Датуна.

1601 г. Иезуит Маттео Риччи прибывает в Пекин.

1616 г. Нурхаци объявляет основание династии Поздняя Цзинь; посмертная публикация в Европе дневника Маттео Риччи.

1618 г. Первый северо-восточный гарнизон Фушунь капитулирует перед маньчжурами.

1619 г. Нурхаци официально объявляет войну династии Мин.

1621 г. Нурхаци захватывает Шэньян и Ляоян.

1627 г. Начало народных восстаний в последние годы Мин.

1629 г. Маньчжуры доходят до самого Пекина, а затем отступают из-за нехватки артиллерии.

1635 г. Маньчжуры меняют название своей династии на Цин.

1644 г. Мятежник Ли Цзычэн захватывает Пекин; последний минский император вешается; У Саньгуй капитулирует перед маньчжурами и наносит поражение Ли Цзычэну у Шанхайгуаня; маньчжуры входят в Пекин и основывают в Китае Цинскую империю.

1659 г. Иезуит Фердинанд Вербист приезжает в Макао.

- 1661 г. Император Канси восходит на трон.
- 1668 г. Китайцам закрыт проход в Маньчжурию.
- 1669 г. Вербиста назначают начальником управления астрономии в Пекине.
- 1673 г. У Саньгуй восстает против Цинов.
- 1683 г. Цины оккупируют Тайвань.
- 1697—1759 гг. Цинны завоевывают Внешнюю Монголию, Джунгарию, долину реки Или и Таримский бассейн.
- 1719 г. Издание романа «Новые приключения Робинзона Крузо» Даниеля Дефо.
- 1735 г. На трон приходит император Цяньлун.
- 1735—1738 гг. В Европе опубликовывают историю и описания Китая Жана Баптиста дю Хальде.
- 1748 г. Командор Джордж Энсон публикует дневник неудачной остановки в Китае в 1743 году.
- 1792—1793 гг. Георг III направляет торговую миссию в Китай под руководством лорда Макартни.
- 1816 г. Ост-Индская компания начинает в Китае торговлю опиумом.
- 1839—1842 гг. Первая «опиумная война».
- 1842 г. По Наньцзискому договору Гонконг отходит Британии, пять портов открываются для торговли опиумом.
- 1850—1864 гг. Жертвами тайпинского восстания становятся миллионы людей.
- 1856—1858 гг. Вторая «опиумная война».
- 1858 г. Тяньцзиньский договор легализует опиумную торговлю.
- 1860 г. Англо-французские войска разграбляют Пекин и Летний дворец.
- 1861 г. Джордж Флеминг отправляется из Тяньцзиня в Маньчжурию.
- 1860—1890-е гг. Китай пытается модернизировать свою армию и флот при помощи западных знаний.
- 1893 г. Журнал «Сенчури иллюстрейтед мансли мэгэзин» впервые заявляет о том, что Великую стену можно увидеть из космоса.
- 1894—1895 гг. Первая китайско-японская война; Китай уступает Японии Тайвань.

1898 г. Прозападные, направленные на модернизацию реформы «Ста дней» кроваво подавлены цинскими консерваторами.

1900 г. Мятежники-боксеры занимают Пекин.

1901 г. Союзные державы требуют 450 млн серебряных долларов в качестве компенсации убытков от Боксерского восстания.

1905 г. Отмена конфуцианской экзаменационной системы.

1911 г. Республиканская революция свержает цинскую династию.

1912 г. Сунь Ятсен возвращается в Китай, чтобы стать первым президентом новой республики.

1913 г. Сунь Ятсен оставляет пост в пользу бывшего цинского генерала Юань Шикая.

1914 г. Юань Шикай распускает парламент.

1915 г. Японцы предъявляют Юань Шикаю «Двадцать одно требование».

1916 г. Юань Шикай провозглашает себя императором; после того как провинции Китая объявляют в знак протеста независимость от Пекина, Юань умирает; начало периода военных диктаторов.

1917—1919 гг. Сунь Ятсен работает над «Планом национального возрождения» и выступает в пользу Великой стены.

1919 г. Версальский договор передает Японии бывшие германские владения в Китае; начинается протестное движение Четвертого мая.

1921 г. Основание коммунистической партии Китая в Шанхае; Сунь Ятсен создает правительство Националистической партии в Кантоне.

1923 г. Получив обещание поддержки от Советского Союза, Националистическая партия вступает в Единый фронт с коммунистической партией.

1925 г. Смерть Сунь Ятсена.

1926 г. Начало Северного похода против милитаристов.

1927 г. «Белый террор»; Чан Кайши подавляет коммунистическую революцию в Шанхае и начинает преследование коммунистов по всей стране.

1929 г. Основание советского района в Цзянси.

1930—1934 гг. Чан Кайши проводит кампании по окружению и уничтожению коммунистов в Цзянси.

1931—1932 гг. Японцы создают в Маньчжурии независимое государство (Маньчжоуго).

1933 г. Японцы атакуют Шаньхайгуань и провинции Чже-хол; японская и китайская делегации подписывают Тангуский договор, установивший демилитаризованную зону к югу от Великой стены.

1934 г. Коммунистические войска прорывают окружение Чан Кайши в Цзянси и начинают Великий поход в Шэньси.

1935 г. Мао Цзэдун становится вождем коммунистической партии; сочиняет строку «Если мы не сможем достичь Великой стены, то мы не настоящие мужчины».

1936 г. Чан Кайши содержится в плену в Сиане, пока не соглашается воссоздать Единый фронт против японского вторжения.

1937 г. После инцидента на мосту Марко Поло формально объявлена война между Китаем и Японией; до трехсот тысяч китайского гражданского населения было убито во время Наньцзинской резни.

1945 г. Япония потерпела поражение во Второй мировой войне.

1949 г. Коммунисты одерживают победу в гражданской войне; националистическое правительство бежит на Тайвань; Мао Цзэдун провозглашает образование Китайской Народной Республики.

1950 г. Народно-освободительная армия совершает поход в Тибет.

1951 г. Кампания по подавлению контрреволюции.

1956—1957 гг. Короткий период политической открытости во время кампании «Ста цветов».

1957 г. Кампания против правых заставляет прекратить критику правительства.

1957—1958 гг. «Большой скачок» — маоистский утопический план в расчете на то, что Китай в течение нескольких лет догонит индустриальный Запад и построит коммунизм.

1959—1961 гг. Голод, ставший результатом утопической политики «Большого скачка»; по оценкам, унес жизни тридцати миллионов китайцев.

1966 г. Мао начинает «культурную революцию».

1971 г. Китайская Республика (Тайвань) изгнана из ООН, ее место заняла Китайская Народная Республика (континентальный Китай).

1972 г. Визит Никсона в Китай.

1975 г. Смерть Чан Кайши на Тайване.

1976 г. Смерть Мао Цзэдуна положила конец политике «культурной революции».

1978 г. Дэн Сяопин становится преемником Мао; начало движения «Стены демократии».

1979 г. Дэн посещает с визитом Соединенные Штаты; запрет протестов у стены демократии; Вэй Цзиншэн приговорен к пятнадцати годам тюрьмы.

1983 г. Кампания «против духовного загрязнения» нацелена на разлагающее влияние Запада.

1984 г. Дэн Сяопин начинает кампанию «Любить нашу страну, восстановить нашу Великую стену».

1986 г. Студенческие демонстрации.

1987 г. Кампания против буржуазной либерализации; в Китае послано первое электронное сообщение.

1988 г. Трансляция «Элегии реки».

1989 г. Продемократические демонстрации жестоко подавлены Народно-освободительной армией; Цзян Цзэминь встает во главе Китайской Народной Республики, однако Дэн Сяопин продолжает охранять верховную власть.

1992 г. Во время своей «Поездки на Юг» Дэн Сяопин призывает ускорить рыночные реформы в китайской экономике.

1994 г. Введена в действие первая китайская сеть Интернета.

1996—1997 гг. Создание Великой китайской «огненной реки».

1997 г. Дэн Сяопин умирает; Цзян Цзэминь получает верховную власть; Гонконг возвращается к Китаю.

1999 г. Масштабные антиамериканские протесты следуют за наговской бомбардировкой китайского посольства в Белграде; китайское правительство запрещает Фалуньгун.

2001 г. Столкновение американского самолета-шпиона с китайским истребителем в воздушном пространстве Китая становится причиной крупного дипломатического инцидента между Китаем и Соединенными Штатами и повсеместного возмущения китайцев.

2002 г. Китайское правительство временно блокирует «Гугл».

2002–2003 г. Цзян Цзэминь начинает передачу власти своему преемнику, Ху Цзиньтао.

2003 г. Дневник сексуальной жизни Му Цзымэй помогает разжечь в Китае блогерский бум.

2005 г. В городах по всему Китаю проходят антияпонские демонстрации.



## Содержание

Выражение признательности .....	7
Примечание о латинской записи и фонетической транскрипции .....	9
Примечание об именах .....	11
<i>Вступление.</i> Кто сотворил Великую Китайскую стену? .....	13
<i>Глава первая.</i> Почему стены? .....	43
<i>Глава вторая.</i> Длинная стена .....	68
<i>Глава третья.</i> Ханьские стены: Plus ça change .....	90
<i>Глава четвертая.</i> Меняющиеся границы и разложившиеся варвары .....	122
<i>Глава пятая.</i> Вновь объединившийся Китай .....	151
<i>Глава шестая.</i> Без стен: китайские границы раздвигаются ....	174
<i>Глава седьмая.</i> Возвращение варваров .....	199
<i>Глава восьмая.</i> История Открытости и Изоляции: граница при ранней Мин .....	224
<i>Глава девятая.</i> Стена растет .....	260
<i>Глава десятая.</i> Великое падение Китая .....	287
<i>Глава одиннадцатая.</i> Как варвары создавали Великую стену .....	323
<i>Глава двенадцатая.</i> Перевод Великой стены на китайский язык .....	364
<i>Заключение.</i> Великая стена, Великий супермаркет и Великая «огненная река» .....	397
<i>Приложение 1.</i> Хронология династий .....	432
<i>Приложение 2.</i> Знаменательные даты в истории Китая .....	434

УЖЕ В ПРОДАЖЕ

ЭНРИКЕ ДЕ ВИСЕНТЕ

**ОККУЛЬТНЫЕ КОРНИ  
«КОДА ДА ВИНЧИ»**

«Код да Винчи»

Книга, открывающая МИЛЛИОНАМ читателей мир мистических учений, тайных обществ и древних оккультных практик.

Но — ГДЕ в этой легендарной книге истина и где вымысел?

И правда ли, что за текстом романа кроется иной — СКРЫТЫЙ — ТЕКСТ таинственных символов и эзотерических посланий, доступных лишь НЕМНОГИМ ПОСВЯЩЕННЫМ?!

Энрике де Висенте — известный исследователь астрологического, алхимического и герметического символизма — поможет вам сорвать покров неизвестности с ПОСЛЕДНЕЙ ТАЙНЫ романа Дэна Брауна!

АЛЕН ДЕЗГРИ

## **ЭЗОТЕРИЗМ ТАМПЛИЕРОВ КНИГА ЧУДЕС И ОТКРОВЕНИЙ**

Двадцать шесть лет кропотливых исследований потребовалось французскому ученому Алену Дезгри, чтобы на основании самых разнообразных источников: документов ордена, исторических свидетельств, символов, запечатленных в архитектуре и искусстве, материалов процесса над тамплиерами, изображений на печатях ордена и даже местоположения орденских обитателей составить наиболее полное описание символической системы эзотерических знаний ордена Храма. Знаний столь сокровенных, что их сохранение значило для тамплиеров больше, чем собственная участь и судьба самого ордена.

**Исключительные права на публикацию книги на русском языке принадлежат издательству АСТ. Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.**

Научно-популярное издание

**Ловелл Джулия**  
**Великая Китайская стена**

Научный редактор Н.Л. Зайцева  
Редактор С.Н. Ярославцева  
Художественный редактор О.Н. Адаскина  
Компьютерная верстка: Р.В. Рыдалин  
Технический редактор О.В. Панкрашина  
Младший редактор Е.А. Лазарев

Подписано в печать 20.06.08.  
Формат 84x108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Усл. печ. л. 23,52.  
С.: Истор.библ.(новая). Тираж 2 000 экз. Заказ № 8640.  
С.: Истор.библ.(84). Тираж 2 000 экз. Заказ № 8640.

Общероссийский классификатор продукции ОК-005-93,  
том 2; 953004 – научная и производственная литература

Санитарно-эпидемиологическое заключение  
№ 77.99.60.953.Д.007027.06.07 от 20.06.2007 г.

ООО «Издательство АСТ».  
141100, Россия, Московская обл., г. Щелково, ул. Заречная, д. 96.  
Наши электронные адреса: WWW.AST.RU E-mail: astpub@aha.ru

ООО Издательство «АСТ МОСКВА».  
129085, г. Москва, Звездный б-р, 21, стр. 1

ОАО «Владимирская книжная типография»  
600000, г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 7.  
Качество печати соответствует качеству  
предоставленных диалозитивов



Преподаватель Кембриджского университета Джулия Ловелл — известный переводчик с китайского, ученый-синолог и публицист. Ее статьи об истории и современности Китая публикуются в журналах «Таймс», «Гардиан» и «Экономист».

Великая Китайская стена...

Согласно легендам, она была построена 2200 лет назад.

За нею веками скрывалась от европейцев Поднебесная Империя — таинственная, древняя страна высочайшей культуры и огромной мощи, считавшая себя единственным оплотом истинной цивилизации.

Что же это — древний и средневековый Китай?

Родина высокой литературы и живописи, прекрасной музыки и несравненных боевых искусств?

Страна безжалостных тиранов, самую печальную славу среди которых снискал гениальный и чудовищно жестокий император Цинь Ши-хуанди?

Почему периоды бурного расцвета Китая снова и снова перемежались периодами голода и бед, иноземных нашествий, кровавых мятежей и гражданских войн?

Каковы уроки пестрой и неоднозначной истории Поднебесной?

И усвоил ли Китай эти уроки прошлого?..



ISBN 978-5-17-049408-8



9 785170 494088